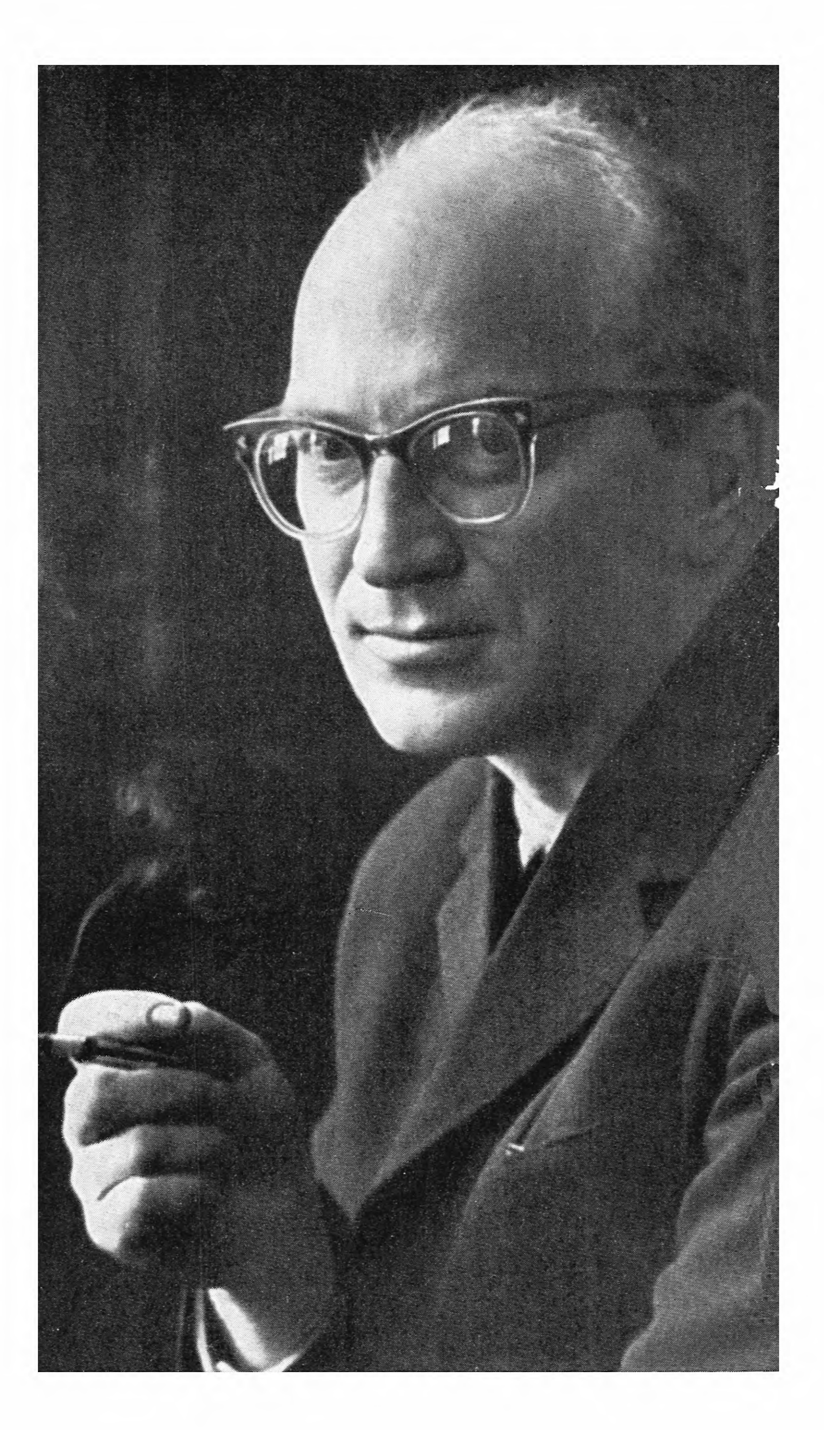
юрий казаков

двое в декабре

юрий казаков



ЮРИЙ КАЗАКОВ

Двое в декабре

РАССКАЗЫ

ОСЕНЬ В ДУБОВЫХ ЛЕСАХ

НИКИШКИНЫ ТАЙНЫ

ТРАЛИ-ВАЛИ

ПО ДОРОГЕ

ЗВОН БРЕГЕТА

АДАМ И ЕВА

ПЛАЧУ И РЫДАЮ...

НА ОСТРОВЕ

ДВОЕ В ДЕКАБРЕ

ПРОКЛЯТЫЙ СЕВЕР

КАБИАСЫ

„ВОН БЕЖИТ СОБАКА!“

ЗАПАХ ХЛЕБА

ГОЛУБОЕ И ЗЕЛЕНОЕ

НЕКРАСИВАЯ

ТЕДДИ

АРКТУР — ГОНЧИЙ ПЕС

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 1966

Р2
К14

В 1959 году в издательстве «Советский писатель» вышел сборник рассказов Ю. Казакова «На полустанке», сразу привлекший к себе внимание читателей и критики.

Читателю полюбились чистота языка, стилистическая отточенность, глубокий лиризм молодого автора.

В последующие годы вышли: «Северный дневник», «По дороге», «Голубое и зеленое».

Юрию Казакову 38 лет. Родился он в Москве, окончил Литературный институт имени М. Горького и вскоре начал печататься в различных журналах.

В книге «Двое в декабре» собраны лучшие рассказы Ю. Казакова.

осень в дубовых лесах

Я взял ведро, чтобы набрать в роднике воды. Я был счастлив в ту ночь, потому что ночным катером приезжала она. Но я знал, что такое счастье, знал его переменчивость и поэтому нарочно взял ведро, будто я вовсе не надеюсь на ее приезд, а иду просто за водой. Что-то слишком уж хорошо складывалось все у меня в ту осень.

Аспидно-черной была эта ночь поздней осени, и не хотелось выходить из дому, но я все-таки вышел. Долго я устанавливал свечку в фонаре, а когда установил и зажег, стекла на минуту затуманились и слабое пятнышко света мигало, мигало, пока, наконец, свеча не разгорелась, стекла обсохли и стали прозрачными.

Свет в доме я нарочно не погасил, и освещенное окно было хорошо видно, пока я спускался по лиственничной аллее к Оке. Фонарь мой бросал вздрагивающий свет вперед и по сторонам, и я, наверное, похож был на стрелочника, только под сапогами у меня глухо шумели отсыревшие к ночи вороха кленовых листьев и хвоя лиственниц, которая даже при смутном свете фонаря была золотистой, а на голых кустах рдели ягоды барбариса.

Жутко идти ночью одному с фонарем! Один ты шуршишь сапогами, один ты освещен и на виду, все остальное, притаившись, молча созерцает тебя.

Аллея круто уходила вниз по скату, свет в окне моего дома скоро пропал, потом и аллея кончилась, пошли беспорядочные кусты, дубняк и елки. По ведру щелкали последние высокие ромашки, кончики еловых лап, какие-то голые прутики, и то глухо, то звонко раздавалось: «Бум! Бум!» — и далеко было слышно в тишине.

Тропа становилась круче и извилистей, пошли частые березы, их белые стволы поминутно высту-

пали из мрака. Потом кончились и березы, на тропе стали попадаться камни, дохнуло свежестью, и, хоть за пятном света от фонаря ничего не было видно, впереди почудилось мне широкое пространство — я вышел к реке.

Тут уж увидал я далекий бакен справа. Красный огонек его двоился, отражаясь в воде. Потом показался бакен на моей стороне, гораздо ближе, и слегка мигнуло тоже, и река обозначилась.

По мокрой траве между кустами ивняка пошел я вниз по реке к тому месту, где обычно приставал катер, если кто-нибудь сходил на нашей глухой стороне. В темноте однотонно лопотал и булькал родничок. Я поставил фонарь, пошел к родничку, зачерпнул воды, напился и утерся рукавом. Потом поставил мокрое ведро рядом с фонарем и стал смотреть в сторону далекой пристани.

Катер уже стоял возле пристани, слабо видны были его красный и зеленый огни по бортам. Я сел и закурил. Руки у меня дрожали и были холодны. Я вдруг подумал, что́ если ее нет на катере, а с катера заметят мой фонарь, подумают, что я хочу ехать, и пристанут к берегу. Тогда я погасил фонарь.

Сразу стало темно, только, будто проколотые иглой, горели бакены по всей реке. Тишина стояла звенящая; в этот поздний час, верно, один я был на многие километры на берегу. А наверху, за дубовым лесом, лежала темная деревенька, все давно спали, и только в моем доме на краю горел свет.

Я представил вдруг весь ее длинный путь ко мне, как она ехала из Архангельска, спала или сидела у окна в вагоне и с кем-то говорила. Как она, так же как и я, все эти дни думала о встрече со мной. И как она едет теперь по Оке и видит берега, о которых я ей писал, когда звал к себе. Как она выходит на палубу и в лицо ей дует ветер, несущий запах сырых дубовых лесов. И какие разговоры внизу всю дорогу, в тепле, за запотевшими стеклами, как ей объясняют, где сойти и где переночевать, если никто не встретит.

Потом я вспомнил север, свои скитания по нему и то, как я жил на тоне и мы с ней били зубаток в белые ночи. Рыбаки тяжко спали, всхрапывая и постанывая, а мы дожидались отлива и выходили на карбасе в море. Она беззвучно гребла, а я вгля-

дывался в глубину, в клубки водорослей, разыскивая между ними очертания рыб. Я тихо подводил острогу и вонзал белое острие зубатке в затылок, напрягаясь, вынимал ее из воды, и она, брызгая нам в лицо, хищно билась на остроге, разевала ужасную пасть, свертывалась в кольцо и пружинисто распрямлялась, похожая на тритона. И потом, уже на дне карбаса, долго шуршала еще, вздрагивала и вцеплялась во что попало мертвой хваткой.

И я вспомнил весь этот год, какой он был для меня счастливый, как много успел я написать рассказов и еще, наверное, напишу за оставшиеся глухие, тихие дни на этой реке, среди этой природы, уже погасшей и предзимней...

Ночь была вокруг меня, и папироса, когда я затягивался, ярко освещала мои руки, и лицо, и сапоги, но не мешала мне видеть звезды, — а их было в эту осень такое ярчайшее множество, что виден был их пепельный свет, видна была освещенная звездами река, и деревья, и белые камни на берегу, темные четырехугольники полей на холмах, и в оврагах было гораздо темнее и душистее, чем в полях.

И я подумал тут же, что главное в жизни — не сколько ты проживешь: тридцать, пятьдесят или восемьдесят лет, — потому что этого все равно мало и умирать будет все равно ужасно, — а главное, сколько в жизни у каждого будет таких ночей.

Катер уже отошел от пристани. Он был так далек еще, что движения его нельзя было уловить. Казалось, он стоял на месте, но от пристани отделился, и это значило, что он шел теперь вверх, ко мне. Скоро послышался высокий звук дизеля, и мне вдруг стало страшно, что она не приедет, что ее нет на катере и я напрасно жду. Я увидел внезапно расстояние и дни, которые ей надо преодолеть, чтобы добраться до меня, и понял, как это непрочно все — какие-то мои планы счастливой жизни здесь вдвоем.

— Что же это! — сказал я вслух и поднялся. Я не мог уже сидеть и стал ходить по берегу. — Что же это! — время от времени беспомощно повторял я и все поглядывал на катер, а сам думал, как дико будет идти мне одному наверх со своей водой и как пусто станет в моем доме. И неужели нам не повезет, наконец, и после стольких дней и

наших неудач мы не встретимся и так все пойдет прахом?

Я вспомнил, как уезжал три месяца назад с севера домой, как она неожиданно приехала в деревню с тони проводить меня, как стояла на мостках, пока я садился в мотобот, чтобы плыть к пароходу на далеком рейде, и как говорила все одно и то же: «Куда же ты едешь? Ты ничего не понимаешь! Ты ничего не понимаешь! Куда ты едешь?» А я уже на мотоботе среди прощаний, слез женщин, криков парней и всякого шума понимал, что делаю что-то ребяческое, уезжая и слабо надеясь как-то все поправить в будущем.

Катер был теперь близко, а я уже не ходил, а стоял на самом краю, на самом обрыве над черной водой и смотрел на него не отрываясь, щурясь и громко дыша от возбуждения и надежды.

Звук мотора внезапно стал ниже по тону, на рубке сверкнул прожектор, и дымный косой луч секанул по берегу, перескакивая с дерева на дерево. Катер искал место, где пристать. Он забирал все вправо, напряженный луч прожектора ударил мне в лицо, я отвернулся, потом опять поглядел. На верхней палубе стоял матрос и уже открывал бортик, чтобы сойти вниз и перекинуть на берег трап. А рядом с ним в чем-то светлом стояла она.

Нос катера мягко и глубоко вонзился в берег, матрос сдвинул трап, помог ей сойти, а я перехватил чемодан, отнес его подальше, поставил рядом с ведром и тогда только медленно обернулся. Свет прожектора слепил меня, и я никак не мог ее рассмотреть. Отбрасывая громадную зыбкую тень на лесистый откос наверху, она подходила ко мне. Я хотел ее поцеловать, но потом раздумал, мне не хотелось этого под светом прожектора. И мы просто встали рядом, прикрываясь руками от света, и, напряженно улыбаясь, стали смотреть на катер. Катер дал задний ход, луч прожектора пополз в сторону, потом и вовсе погас, дизель внизу опять запел, и катер — с длинным рядом освещенных окон в нижних салонах — быстро стал удаляться вверх по реке. Мы остались одни.

— Ну, здравствуй! — сказал я смущенно.

Она поднялась на цыпочки, больно взяла меня за плечи и поцеловала в глаза.

— Пойдем! — сказал я и покашлял. — Черт, как темно, погоди, я фонарь зажгу...

Я зажег фонарь, и он опять сначала затуманился, и пришлось подождать, пока разгорится свеча и обсохнут, станут прозрачными стекла. Потом мы пошли: я — впереди с чемоданом и фонарем, она — сзади с ведром воды.

— Тебе не тяжело? — спросил я через минуту.

— Иди, иди! — сипло сказала она.

У нее всегда был сиплый, низкий голос, и вообще она была жесткая и сильная, и я долго не любил в ней этого. Потому что я любил в женщинах нежность. Но сейчас, здесь, на берегу реки, ночью, когда мы шли друг за другом к дому, после стольких дней злости, разлуки, писем и странных угрожающих снов, ее голос, и крепкое тело, и шершавые руки, ее северный выговор были как дыхание нездешней птицы — дикой, сероперой, отставшей от осенней стаи.

Мы свернули направо в овраг, по которому вверх шла неизвестно кем и когда мощенная короткая дорога — узкая, заросшая орешником, соснами и рябиной. Мы стали подниматься по ней во тьме, едва светя себе фонарем, а над нами текла узкая звездная река, по ней плыли сосновые черные ветви и по очереди закрывали и открывали звезды.

Еле переводя дух, мы вышли на лиственничную аллею и пошли рядом.

Мне вдруг захотелось ей все показать и рассказать о здешнем, о народе, о разных маленьких происшествиях.

— Понюхай, — сказал я, — как пахнет!

— Вином, — ответила она, слегка задыхаясь от ходьбы. — Я давно почуяла, еще на пароходе...

— Это листья. А вот пойди сюда!

Мы оставили на аллее вещи, перепрыгнули через канавку и полезли в кусты, светя себе фонарем.

— Это где-то должно быть тут... — бормотал я.

— Грибы, — изумленно сказала она сзади. — Сыроежки.

Наконец я нашел то, что искал. Это были белые перья от цыпленка, рассеянные по траве, хвое и желтым листьям.

— Посмотри, — сказал я и стал светить. — У нас здесь птицеферма в деревушке. Цыплята подросли, их начали выпускать. И вот лиса приходит

теперь каждый день и сидит в кустах. Когда цыплята разбредутся по лесу, она ловит какого-нибудь. И тут же жрет.

Я представил себе эту лису с сединой на темной морде, как она облизывается и фукает, чтобы сдуть с носа пух.

— Ее надо убить! — сказала она.

— У меня ружье, мы с тобой походим по лесам, и, может быть, нам повезет.

Мы выбрались опять на аллею и пошли дальше. Показалось освещенное окно моего дома, и я стал думать о том, что́ сейчас будет, когда мы придем. Мне сразу захотелось выпить, а у меня была рябиновка. Я ее делал сам; хорошо было рвать в лесу рябину, приносить домой, давить ее в соковыжималке, чтобы текла желтая пена, а потом цедить сок в бутылку с водкой.

— А у нас зима! — сказала она как будто удивленно. — Двина замерзла, только посередке ледоколы проделали проход. Все белое, а проход черный... И пар идет. А когда корабль идет по черной воде, то по льду рядом собаки бегут. И почему-то бегут троем.

Она так и сказала по-северному: «троем», а я представил Двину, и пароходы, и Архангельск, и деревню на Белом море, откуда она приехала. Высокие двухэтажные пустые избы, черные стены, безмолвие и уединенность.

— Лед уже появился? — спросил я. — В море?

— Нагоняет, — сказала она и тоже о чем-то подумала, может быть, о том, что оставила там. — Обратно на оленях придется добираться, если...

Она замолчала, я подождал, прислушиваясь к ее дыханию и шагам, потом спросил:

— Что — если?

— Ничего, — особенно сипло и медленно сказала она. — Если еще льду нагонит, вот что!

Потопав по крыльцу, мы вошли в дом.

— У-у! — сказала она, оглядываясь и снимая платок. Она всегда, когда удивлялась или радовалась, говорила это свое низкое и медленное «у».

Дом был мал и стар, я снял его у москвича, который жил в нем только летом. Мебели почти не было, только старые кровати, стол да стулья... Стены точил жучок, и все они были обсыпаны белой мукой. Зато в доме были приемник, электрический

свет, печка и несколько толстых старых книг, которые я любил читать по вечерам.

— Раздевайся! — сказал я. — Сейчас печку растопим...

И пошел на двор рубить хворост для печки. Но мне было что-то не по себе от счастья, в голове звенело, руки тряслись, вообще весь я как-то ослаб и хотелось посидеть. Звезды сверкали мелко и остро. «Будет мороз, — подумал я. — И, значит, утром слетят все листья. Скоро зазимок!»

На Оке медленно возник певучий трехтоновый гудок и долго отдавался, перекатываясь по холмам. Где-то внизу шел буксир, один из тех старых паровых буксиров, которых мало уж теперь. Новые катера и водометы-толкачи гудят коротко, высоко и гнусаво. Разбуженные гудком, на птичнике прокричали фальцетом несколько петушков...

Я нарубил сучьев, набрал дров и пошел в дом. Она сняла пальто, стояла спиной ко мне и шелестела газетами: доставала что-то из чемодана. Была она в цветистом платьице, оно было тесно ей, и, приведи я ее в Москве куда-нибудь в гости, в клуб, все бы незаметно улыбались, а это, наверное, было ее лучшее платье. И я вспомнил, что обычно она ходит в спортивных брюках, заправленных в сапоги, а поверх какая-нибудь старая, выгоревшая юбка, и это очень там было здорово.

Я поставил чайник и стал растапливать печь. В печи скоро загудело, хворост затрещал, запахло дымом и дровами.

— Это тебе! — сказала она сзади.

Я обернулся и увидел на столе семгу — великолепную, тускло-серебряную, с широкой темной спиной, с загнутой кверху нижней челюстью. В доме запахло рыбой, и тоска по странствиям опять охватила меня.

Она была поморкой, она даже родилась в море на мотоботе летом в золотую ночь. Но к ночам она была равнодушна. Ведь только приезжий видит их и сходит с ума от тишины и одиночества. Только когда ты там гость, оторван от всех и как бы всеми забыт, только тогда ты не спишь ночью и все думаешь, думаешь и говоришь себе: «Ну-ну! Это ничего, это просто ночь, а ты здесь не навсегда, и что тебе до ночи, пусть солнце крадется краем моря. Спи, спи...»

А она? Она крепко спала ночами на тонях за ситцевой занавеской, потому что на рассвете ей надо было вставать и вместе с дюжими рыбаками грести, доставать из ловушек рыбу, а потом варить уху, мыть посуду... И это было всегда, каждое лето, пока не приехал я.

И вот теперь на Оке мы пьем рябиновку, едим семгу и говорим, вспоминаем разные разности. И то, как мы выезжали белыми ночами в море бить зубаток, и как тянули в шторм с рыбаками ловушки и захлебывались горькой водой, и нас мутило, и как ходили на маяк за хлебом, и как сидели однажды ночью в деревенской библиотечке и, разувшись, скинув телогрейки, читали все газеты и журналы, вышедшие за те дни, когда мы были на тоне.

Я бросил на пол к печке шубу мехом вверх, мы поставили рядом чайник и конфеты, взяли чашки и легли на эту шубу, глядя попеременно то друг на друга, то в розовую топку, на угли, как по ним перебегали огоньки, и, чтобы так подольше лежать, я иногда вставал и подбрасывал в печь хворосту, и он начинал трещать, а мы отодвигались от жара.

Часа в два ночи я встал в темноте, потому что не мог спать. Мне казалось: если я усну, она куда-то уйдет от меня, я не буду ее ощущать, а мне хотелось, чтобы она была все время со мной и я бы это знал. «Возьми меня в свои сны, чтобы я был всегда с тобой! — хотелось мне сказать. — Потому что нельзя расставаться надолго». Потом я подумал, что люди, которые уходят от нас и мы их не встречаем больше, эти люди для нас умирают. А мы для них. Странные мысли приходят в голову ночью, когда не можешь спать от радости или от тоски.

— Ты спишь? — спросил я тихо.

— Нет, — отозвалась она с постели. — Мне хорошо. Не гляди, я оденусь...

Тогда я пошел в угол, где на ремнях на стене висел приемник, и включил его. Среди треска и бормотания дикторов я искал музыку. Я знал, что она должна быть, и нашел ее. Низкий мужской голос что-то сказал по-английски, потом была пауза, и я понял, что сейчас станут играть.

Я вздрогнул, потому что с первого же звука узнал мелодию. Когда мне хорошо или, наоборот, больно, я всегда вспоминаю эту джазовую мелодию. Она чужда мне, но в ней звучит какая-то тайная мысль,

и не понять, печальна она или радостна. Я часто вспоминал ее, когда ехал куда-нибудь, когда что-нибудь меня радовало или, наоборот, угнетало. Напомнила она мне и ту московскую ночь, когда мы все ездили, ездили и ходили, одинокие и несчастные, и во всю ночь ни слова упрека не услыхал я от нее, и мне было стыдно.

Она уезжала в Архангельск после пяти каких-то пустых дней, проведенных в Москве. Все было точно так же, как всегда бывает на московских вокзалах: катили свои тележки носильщики, зудели автокары, кругом торопились, прощались, оставались считанные минуты... Она уезжала, хотя могла бы и не ехать еще, у нее было время — несколько свободных дней. А мне было досадно, горько, я злился и на себя и на нее. Я думал, как пусто мне станет без нее и опять придется пить, чтобы как-то справиться с тоской.

— Не уезжай! — сказал я.

Она только усмехнулась и дрожащими глазами снизу посмотрела на меня. Глаза у нее были темные, с зелеными искорками, нельзя было понять — зеленые они у нее или черные. Но когда она на меня там смотрела, они были черные, это я хорошо помню.

— Как глупо! — говорил я. — То я уехал с севера, ничего не поняв, а теперь ты, и опять ничего... Как глупо! Не уезжай!

— Чего теперь говорить, — пробормотала она со злостью.

— Не нужно было останавливаться у каких-то родных, которые всегда дома!

— А у кого? У тебя, что ли? Все равно, — сказала она упрямо. — Чего теперь говорить...

— Поедем сейчас в гостиницу, ты поживешь там эти дни.

— Поезд сейчас пойдет, — сказала она, отворачиваясь.

— Да нет, погоди, подумай! После стольких писем мы будем вместе, одни, подумай!

Она долго молчала, поводя глазами по моему лицу, прикусив губу, наконец спросила жалко, подстреленно:

— А ты будешь рад, если я останусь?

Мне стало трудно дышать, комок подступил к горлу, я повернулся, быстро вошел в вагон, наталкиваясь на кого-то, протискиваясь, отыскал ее

купе, взял чемодан и вышел. До сих пор помню, как смотрели на нас проводники и все, кто был около вагона в ту минуту.

— Поедем, — сказал я.

— А билет? — сияя глазами, спросила она.

— Плевать на билет! — сказал я и взял ее за руку.

Мы вышли на площадь и сели в такси.

— В гостиницу, — сказал я.

— В какую? — спросил шофер.

— Все равно в какую!

Машина тронулась, понеслась навстречу светофорам, уже горящим неоновым вывескам, мимо вокзалов, людей и домов.

— Постой, старик, — сказал я шоферу возле какого-то магазина, вышел и купил бутылку вина. Я вернулся, засунув ее в боковой карман. Я воображал, как мы пьем это вино одни, поднимая бокалы и глядя друг другу в глаза. Я ощущал уже его вкус во рту, когда мы подъехали к гостинице и я пошел к администратору.

— Мест нет, — сообщил он мне спокойно.

— Любой номер. Понимаете — любой номер, самый плохой или самый лучший!

— Мест нет, — кисло повторил он и с досадой взял трубку беспрерывно звонившего телефона.

Она дожидалась меня в вестибюле, робко глядя на великолепие колонн и зеркал. Она и на меня взглянула робко, будто я был владыкой всего этого! Мы вышли к стоянке такси.

— Поедем в другую, — сказал я огорченно.

Она безропотно села в машину, и мы понеслись по Москве. Я заехал к другу занять денег и чуть было не попросил приютить нас, но у сестры его были гости, я посмотрел на них, на стол с вином, на тахту, на задранные ноги в узких мокасинах и ничего не попросил. Зато денег взял побольше.

— Выпей! — сказал мне друг, перехватив мой взгляд.

— Нет, меня ждут, спасибо!

Прошел час и два, а мы все ездили, и везде нам говорили одно и то же: «Мест нет!» Выходя на улицу, я оглядывал огромные здания гостиниц и домов, все эти многоэтажные ряды окон, многие из которых были уже погашены, и думал обо всех, кто в этот час может спокойно сидеть и лежать у себя в ком-

нате, и слушать радио, и читать что-нибудь на сон или обнимать женщину, и у меня начинало болеть сердце.

Наконец, измученные, мы отвезли ее чемодан на вокзал, сдали его в камеру хранения и медленно пошли к Сокольникам. Был двенадцатый час ночи.

— Что ж будем делать? — со смехом спросил я.

— Не знаю, — сказала она устало. — Может, в ресторан зайдем? Я есть хочу...

— Рестораны закрыты, — сказал я, посмотрев на часы, и опять глупо засмеялся. — Пошли в центр, на бульвары.

Мы шли быстрым шагом, как ходили на севере по берегу моря, когда нам нужно было не опоздать в кино в клубе за двадцать километров. Фонари погасили, горели только через один и на одной стороне. Людей почти не стало на улицах. Наконец мы пришли на Тверской бульвар и сели на скамейку.

— А к тебе никак нельзя? — спросила она с надеждой.

— А то бы я ходил с тобой! Отец, мать — куда!

— Ну ладно, — сказала она. — Не горюй, завтра я уеду, есть еще утренний поезд. А потом... — она вздохнула, — потом ты опять когда-нибудь приедешь к нам.

Я обнял ее, она прижалась ко мне, закрыла глаза.

— Мы и так посидим, правда? — бормотала она, шевелясь на скамейке и устраиваясь поудобней. — Ты хороший, я тебя люблю, дурачок, я тебя там еще полюбила, а ты не знал... Бедный ты, бедный!

Посидев минуту неподвижно, она скинула туфли и подобрала ноги, укрыв их юбкой.

— Ноги болят, — сонно бормотала она. — Туфли эти... Без привычки...

По боковой аллее шли два милиционера. Увидав нас, один из них вышел на свет и пошел к нам.

— Пройдите, гражданин! — сказал он почему-то только мне. — Это не разрешается.

— Что не разрешается? — спросил я в то время, пока она смущенно надевала туфли на опухшие ноги.

 — Нечего разговаривать! Сказано — пройдите!

Мы встали и пошли. Я снова стал разглядывать дома и окна, и мне все время представлялась комната с тахтой. Больше в этой комнате ничего не было, только слабый розовый свет и тахта.

— Слушай, зайдем в подъезд, — сказал я неуверенно.

— Пойдем, — согласилась она и слабо улыбнулась. — Я там туфли сниму, на ступеньке посидим.

Мы вошли в какой-то темный двор, пошли в угол к самому дальнему подъезду, закрыли за собой дверь и сели на ступеньку. Она тотчас сняла туфли и стала растирать ступни.

— Устала? — спросил я и закурил. — Бедная, не повезло нам в Москве.

— Да, — она потерлась щекой о мое плечо. — Очень большой город.

Послышались шаги, дверь отворилась, в подъезд заглянула дворничиха и увидела нас.

— А ну, пошли отсюда! — закричала она. — Напасти на вас, чертей, нету, как кошки подворотние, шляются! Пошли, а то засвищу сейчас!

И она вытащила из кармана фартука блестящий свисток. Лицо у нее было злое, скуластое. Мы опять пошли двором, сзади шла дворничиха и ругалась. На улице мы посмотрели друг на друга и засмеялись.

— Это тебе не Белое море, — сказал я.

— Ничего, — опять успокоила она меня, — давай просто так ходить. Или поедем на вокзал, на лавках хоть поспим, а?

— Ладно, — согласился я и вдруг оживился: — Слушай, я дурак, давай поедем за город! Возьмем такси, деньги у меня есть, и поедем километров за тридцать — у нас так делают!

По улице медленно проезжало такси. Я любил раньше, возвращаясь поздно, смотреть на эти ночные такси. Как заколдованные, медленно блуждают они по спящему городу, мерцая зелеными огоньками, и, глядя на эти огоньки, всегда хочется уехать куда-нибудь далеко.

Мы остановили такси.

— За город? — переспросил таксист и сразу заметно понаглел. — Семь с полтиной — повезу.

— Ладно, — сказал я. Мне было уже все равно.

Пока ехали, мне захотелось спать. Дорога была пустынна, на западе держался еще сумрак, но во-

сток побелел, начинался рассвет. Ветер ровно гудел снаружи, а в такси сильно пахло бензином.

— Тут, что ли? — спросил шофер, замедляя ход возле какой-то рощицы. — Дальше у нас не ездят. Периферийная, что ли? — спросил он, глядя на нее.

Мы вышли, и нас тут же стало знобить от предрассветного холода.

— Полчаса хватит? — спросил шофер, оценивающе разглядывая меня. — Я вздремну, придете — разбудите. Сигаретка есть? Дай-ка закурю...

И стал разворачиваться на обочине, а мы пошли жесткой травой к лесу, и единственным моим ощущением тогда было ощущение сырости и озноба. Костюм мой задубел, отяжелел, ботинки стали мокры, а складка на брюках разгладилась. В лесу стоял сумеречный свет; я взглянул на нее, думая, что же я буду теперь делать. У нее был усталый вид, лицо осунулось, и под глазами лежали круги. Она вдруг откровенно зевнула и скучно посмотрела вокруг, как бы недоумевая, зачем мы сюда заехали.

— Тоже мне лес... — пробормотала она и вдруг враждебно поглядела на меня.

Я тоже зевнул, почувствовал скуку и злость, что я не дома в постели, а здесь, в сырости и холоде.

— Надоево, — сказала она, судорожно зевая, низко и сипло выговаривая «надоево» вместо «надоело». — О господи! Не надо ничего, я не хочу, поехали обратно...

— Назад так назад, — сказал я вяло и тоже зевнул. — Только давай выпьем, а то карман оттягивает.

Я вытащил бутылку, попробовал вышибить пробку, но пробка втиснута была очень плотно. Тогда я проткнул ее внутрь сучком.

— Пей, — сказал я, подавая ей теплую бутылку.

— Не хочу, — пробормотала она, но бутылку взяла и, вздохнув, стала пить. Две струйки, как кровь, пролились по ее подбородку, она закашлялась и отдала мне бутылку. Я допил ее и бросил.

— Пошли, — сказал я с облегчением.

Мы опять брели по сырому лесу, по папоротникам, потом по кочкам луговины, и она все приподнимала платье, чтобы не забрызгать росой подол.

— Чего так рано? — спросил шофер и насмешливо посмотрел на меня. — Характером не сошлись?

— Давай крути! — злобно сказал я, еле удерживаясь, чтобы не ударить его.

Мы ехали назад и дремали, приваливаясь друг к другу при крутых поворотах, и, помню, прикосновения к ней были неприятны мне, да и ей тоже, наверное... Было часов пять утра, а до поезда надо было болтаться где-то еще часа три. Мне было плохо, вино ударило в голову, но как-то тяжело, душно.

Три часа эти были мучением, а главное, что я не мог уйти, а должен был с ней быть до конца. Еле дождавшись поезда, я снова провожал ее и не знал, что сказать, голова у меня трещала.

— Ну ладно, пиши, — сказала она и взялась за поручень.

Я нашел в себе силы приостановить ее.

— Не сердись, — пробормотал я, поцеловал ее в лоб и пошел к выходу. Помню, мне стало так легко, когда я с ней расстался, что я даже удивился, но было и грустно; где-то глубоко какая-то ранка саднила в душе, и стыдно как-то было...

Я подтащил шубу к приемнику, и мы сели на нее рядом, обнявшись. Все эти месяцы в душе моей жило чувство потери, а теперь я все нашел, и найденное было даже лучше, чем я мог предполагать.

Элегически бормотал контрабас, отыскивая во тьме свои контрапунктические ходы, блуждая в неразрешимости, поднимаясь и опускаясь, и мне его медленный ход напоминал звездное небо. А прислушиваясь к нему, жаловался на что-то саксофон, снова и снова забиралась в неистовые верха труба, и рояль время от времени входил между ними со своими квинтовыми апокалипсическими аккордами. И как метроном, как время, раскладывая ритм на синкопы, мягкими пустыми ударами подчинял себе все ударник.

— Не будем зажигать света, ладно? — сказала она, глядя с пола вверх, на зеленоватую шкалу приемника, на его волчий глаз.

— Ладно, — согласился я и подумал, что, может быть, такой ночи у меня никогда больше не будет. И мне стало грустно, что прошло уже три часа, мне захотелось, чтобы все это началось сначала, чтобы я опять вышел с фонарем и ждал, чтобы мы снова

вспоминали, а потом опять боялись бы расстаться друг с другом во тьме.

Она поднялась на минуту за чем-то, заглянула в окно и сипло сказала:

— Снег...

Я тоже привстал и посмотрел в темноту за окном. Шел неслышный снег. Первый настоящий снег этой осенью. Я представил, как завтра днем обнаружатся мышиные следы вокруг куч хвороста в лесу и заячьи следы возле акации, которую они так любят глодать по ночам, вспомнил о своем ружье, мне стало весело, и пробрала дрожь. Как славно, что снег, и что приехала она, и мы одни, и с нами музыка, наше прошлое и будущее, которое, может быть, будет лучше прошлого, и что завтра я поведу ее на свои любимые места, покажу Оку, поля, холмы, лес и овраги... Ночь шла, а мы все не могли заснуть, говорили шепотом и обнимались, боясь потерять друг друга, и опять топили печку, смотрели в ее огненный зев, и красный свет пек наши лица. Заснули мы часов в семь утра, уж окна поголубели, и проспали долго, потому что нас никто не будил в нашем доме.

Пока мы спали, взошло солнце, и все подтаяло, но потом снова заморозило. Попив чаю, я взял ружье, и мы вышли из дому. Даже больно на секунду нам стало — такой белый зимний свет ударил нам в глаза и так чист и резок был воздух. Снег сошел, но всюду остались ледяные корки. Они были матовы, полупрозрачны. Из коровника шел душистый пар, телята толкались возле и громко топотали, как по деревянным мосткам. Это потому, что под верхними ледяными колчами еще не замерзла навозная жижа. А некоторые с наслаждением паслись на седых озимых и часто мочились, задирая хвосты и расставляя курчавые в паху ноги. И там, где они мочились, появлялись изумрудные пятна мокрой молодой ржи.

Мы шли сперва по дороге. Колеи затянулись матовым, но подо льдом стояла глинистая вода, и, когда сапоги наши проламывали корку, на лед коричнево брызгало. А в лесу из-подо льда торчали поздние, едва зажелтевшие одуванчики. Во льду видны были вмерзшие листья и хвоя, стояли заледеневшие последние грибы, и, когда мы ударяли по ним ногой, они сламывались и, гремя, подскакивая,

долго катились по льду. Лед под нашими ногами проседал, и далеко хрустело, и гремело кругом: спереди, сзади и по бокам.

Поля на холмах были дымно-зелены издали и будто пересыпаны мукой, стога почернели, лес сквозил, был черен и гол, только резко проступал березовый белый частокол, бархатились и лоснились зеленью стволы осин, да кое-где по лесистым холмам цвели, горели еще последние красные шапки неопавших деревьев. Река сквозь лес была видна на большое расстояние и была пустынна и холодна на взгляд. Мы спустились вниз по снежному оврагу, оставляя за собой глубокие, сперва грязные, а потом чистые следы и стали пить из родника возле срубленной осины. В неподвижном бочажке родника плотно опустились на дно почерневшие кленовые и дубовые листья, а срубленная осина пахла горько и холодно, и древесина на срубе была янтарной.

— Хорошо? — спросил я, посмотрев на нее, и изумился: глаза у нее были зеленые.

— Хорошо! — сказала она, жадно озираясь и облизывая губы.

— Лучше, чем на Белом море? — спросил я еще.

Она опять стала смотреть на реку и вверх по откосу, и глаза ее еще позеленели.

— Ну, Белое море... — сказала она неопределенно. — У нас... у нас... А тут дубы, — перебила она себя. — Как это ты нашел такое место?

Я был счастлив, но мне и странно как-то было и боязно: уж очень все хорошо выходило у меня в ту осень. Чтобы успокоиться, я закурил и стал весь куриться дымом и паром. На Оке со стороны Алексина показался буксирный катер, он шибко бежал вниз, гнал волну, и мы молча проводили его глазами. Из машины у него шел обильный пар и струей еще выскакивал на сторону из борта, из дырки над самой водой.

Когда катер скрылся за поворотом, мы, держась за руки, стали подниматься вверх среди редких деревьев в светлом лесу, чтобы посмотреть еще раз на Оку сверху. Мы шли тихо, молча, как в белом сне, в котором мы, наконец, были вместе.

НИКИШКИНЫ ТАЙНЫ

1

Бежали из лесу избы, выбежали на берег, некуда дальше бежать, остановились испуганные, сбились в кучу, глядят завороженно на море... Тесно стоит деревня! По узким проулкам деревянные мостки гулко отдают шаг. Идет человек — далеко слышно, приникают старухи к окошкам, глядят, слушают: семгу ли несет, с пестерем ли в лес идет или так... Ночью, белой, странной, погонится парень за девушкой, и опять слышно все, и знают все, кто погнался и за кем.

Чуткие избы в деревне, с поветями высокими, крепко строены, у каждой век долгий — все помнят, все знают. Уходит помор на карбасе, бежит по морю, видит деревня его темный широкий парус, знает: на тоню к себе побежал. Придут ли рыбаки на мотоботе с глубьевого лова, знает деревня и про них, с чем пришли и как ловилось. Помрет старик древний, отмолят его по-своему, отчитают по древним книгам, повалят на песчаном угрюмом кладбище, и опять все видит деревня и вопли женок принимает чутко.

Никишку в деревне любят все. Какой-то он не такой, как все, тихий, ласковый, а ребята в деревне все «зуйки», настырные, насмешники. Лет ему восемь, на голове вихор белый, лицо бледное в веснушках, уши большие, вялые, тонкие, а глаза разные: левый пожелтей, правый побирюзовей. Глянет — и вот младенец несмышленый, а другой раз глянет — вроде старик мудрый. Тих, задумчив Никишка, ребят сторонится, не играет, любит разговоры слушать, сам говорит редко и то вопросами: «А это что? А это почто?» — с отцом только разговорчив да с матерью. Голос у него тонкий, приятный, как свирель, а смеется басом, будто немой: «гы-гы-гы!» Ребята дразнят его; как чуть что, бегут, кричат:

«Никишка-молчун! Молчун, посмейся!» Сердится тогда Никишка, обидно ему, прячется в поветь, сидит там один, качается, шепчет что-то. А в повети хорошо: темно, не заходит никто, подумать о разном можно, и пахнет крепко сеном, да дегтем, да водорослями сухими.

Стоит конь оседланный возле Никишкиного крыльца. Грыз плетень, щепал крупным желтым зубом; надоело ему, глаза закрыл, голову свесил, осел, ногу заднюю поджал, только вздохнет другой раз глубоко, ноздри разымутся. Стоит конь, дремлет, а деревня знает уже: собрался Никишка к отцу на тоню ехать за двадцать верст по сухой воде, мимо гор и мимо леса.

Выходит Никишка с матерью на крыльцо. Через плечо киса, на ногах сапоги, на голове шапка, шея тонкая шарфом замотана: холодно уже, на дворе октябрь.

— Ступай все берегом, все берегом, — говорит мать. — В стороны не сворачивай, будут тебе по пути горы. Проедешь ты эти горы, а там тебе тропа сама покажет. Тут близко, не заблукай гляди-дак... Двадцать верст всего — близко!

Никишка молчит, сопит, мать плохо слушает, на коня лезет. Взбирается на седло, ноги в стремя, бровки сдвигает...

— Но-о!

Тронулся конь, просыпается на ходу, уши назад насторчил, хочет понять, что за седок на нем нынче. Закачались мимо избы, подковы по мосткам затукали: тук-ток. Кончились избы, высыпали навстречу бани. Много бань — у каждого двора своя, — и все разные: хозяин хорош — и банька хороша, плох хозяин — и банька похуже. Но вот и бани кончились, и огороды с овсом прошли, блеснуло справа море. Конь по песку захрупал, по сырым водорослям. На море косится, глаз выворачивает, не любит моря, хочет все левее забрать, подальше от воды. Но Никишка знай себе подергивает за правый повод, знай пятками по бокам коня колотит! Покоряется конь, по самому краю воды бежит, шею согнул, пофыркивает.

Недалеко от берега — камни. Их много, обнаженных отливом, они черны и мокры. Там, возле камней, разбиваются в пену волны, вскипают белыми бурунами, глухо, бессильно рокочут. Здесь, воз-

ле берега, совсем тихо, светлое дно видно, вспыхивают искры перламутровых раковин и пропадают, лижет песок прозрачная волна. Сидят на камнях чайки, сонно смотрят в море. Потихоньку слетают, когда Никишка близко подъедет, скользят стремительно над самой водой и вдруг — крылья вверх, хвост веером! — садятся на воду. Сильно светит низкое солнце, блестит под ним море и кажется выпуклым. Длинные мысы плавают впереди в голубой дымке, будто висят над морем.

Смотрит Никишка вокруг, сияет разноглазьем, в улыбку губы распускает. Глядит на солнце, на выпуклое, огненное море, смеется:

— Солнушко, гы-гы-гы!..

Перелетают вдоль берега кулички, кричат печально и стеклянно. Качаются на высоких ножках у моря, бегают у самой воды: волна отойдет, они по мокрому за ней, волна обратно, и они назад.

— Кули-кули... — лопочет Никишка, останавливает лошадь, смотрит, какие они подбористые, с клювами, как шило.

А чего только нет на песке у моря! Вон красные мокрые медузы, оставшиеся после отлива, похожие на окровавленную печенку. Есть медузы другие — с четырьмя фиолетовыми колечками посередине. Есть и звезды морские с пупырчатыми, искривленными лучами, а еще — следы чаек, долгие, запутанные, и тут же помет их сиренево-белый. Лежат грудами водоросли, тронутые тлением, тяжело и влажно пахнут. А то еще след босой ноги тянется у самой воды, сворачивает к лесу, топчется возле странной, вросшей в песок темной коряги. Кто это шел? Куда шел и зачем?

А слева все бревна да бревна: белые, вымытые дождями и волнами, выбеленные солнцем, промороженные и вновь прогретые, высушенные. Слышал Никишка, много лет тому назад на большой реке Двине запань прорвало. Весь лес, который был, в море убежал, не могли его поймать, а море выкинуло по берегам. Лежит с тех пор тут лес, никто его не берет, никому не нужно, рыбак разве только да охотник редкий — на костер...

Весело Никишке. А конь все копытами хрупает да фыркает. Ступит иногда с маху на медузу, разбрызгается она по песку, как редкий камень драгоценный. Пусто впереди, пусто назади, пусто слева,

пусто справа. Справа море, слева лес. А в лесу что? В лесу вереск да сосны кривые, маленькие, злые, да березы такие же. Еще в лесу ягоды есть сладкие: брусника да черника. И грибы: маслята липкие, рыжики крепкие, сыроежки с пленочкой, с торчащими на шляпках сосновыми иглами. Медведи в лесу ходят и другие звери, а птицы совсем нет, рябки одни тонко перекликаются. Дед Созон говорит: «Отлетела чегой-то птица. Бывало, побежишь с пестерем-то в лес, полон пестерь набьешь-дак. А ныне отлетела чегой-то птица, бог с ней, совсем ушла!»

Выбегают из лесу в море реки большие и маленькие. Через большие реки мосты положены. Мосты сгнили уже, нюхает конь бревна, слушает, как внизу вода вызванивает. Ступнет шаг, шею выгнет, назад оглядывается.

— Но! — скажет Никишка потихоньку.

Конь еще шагнет. А звук на таких мостах глухой, мертвый, как по гробу, и вода внизу темная, будто крепкий чай. Все реки из болот выбегают, нету чистой воды, вся такая, и море возле впадения рек желтую пену швыряет на песок.

А вон еще что-то темнеет впереди. Подъезжает ближе Никишка: шхуна в песок вросла. Мачт нет, и киля не видно, засосало. Лежит шхуна на боку, палуба сгнила, борта светятся, внутри водоросли с песком, больше ничего нет. Волна подходит, затопляет все, хлюпчит внутри, клокает, булькает, отходит — тонко струйки звенят, стекает вода на камни.

Воля, простор везде, воздух синий, резкий, и никого нет вокруг на много верст. Попадет когда тоня рыбачья пустая, заброшенная. Стены мхом поросли, окошки маленькие, голову только просунуть, крыша осела, прохудилась, да и сама тоня на один бок села, другой задрала, глядит окошками в пустое небо. Вешала повалены, все рушится, только крест старый поморский, черный, восьмиугольный, страшно торчит, будто страж, поставленный навечно, и нет ему смены. Жутко глядеть на такое, отвернись — и мимо, мимо...

Но Никишка не боится. Знает, в таких избушках лешаки живут, смирные, грустные. Скучно им, спят целый день. И теперь спали, да услыхали, едет мимо Никишка, проснулись, зевают, в окошки по-

тихоньку выглядывают. У одного борода черная, у другого — сивая, у третьего — вовсе не поймешь какая. Болбонят — любопытно им, куда это Никишка едет.

А то черное что-то в песок вросло, коряга там или, может, камень темный, бугристый. Конь издали еще заметит, насторчит уши, голову задерет и вот вбок норовит, боится.

— Ты уж вбок не ныряй, — говорит коню Никишка. — Это ничего. Это так, дерево росло, да сгнило, да в песок устряло. Вишь, коряга. Вишь, это тебе ничего.

Конь слушает внимательно, кожей передергивает, фыркает и несет Никишку дальше, все вперед и вперед. Слушается он Никишку, его все звери слушаются.

Вот и горы пошли. Высокие, черные, стеной в море обрываются; на обрывах сосенки да березки корявые лепятся, смотрят в море, ждут горя. А внизу осыпь каменная: камень воду лезет пить. Много камня, громоздко очень. Конь все осторожнее идет, принюхивается, выбирает, куда ногу поставить. Шел, шел и уперся, стал, ни вперед, ни назад, ни вбок — никуда. Слезает долой Никишка, коня берет за повод, шагает по мокрым камням. Вытягивает конь шею, уши прижимает, скачет за Никишкой, приседает, щелкают подковы, дрожат ноги. А под ноги ему накатываются со звоном волны. Шшшшу! — набегают; ссс! — откатываются; шшшшу! — снова набегают...

Нет, не может идти конь! Чудится ему, разверзается справа водяная бездна, прилпвает море, шумит, а под ногами камни — не уйти, не убежать! Останавливается он в ужасе, храпит, скалит желтые зубы. Сердится Никишка, дергает, тянет изо всех сил за повод. «Но-о!» — кричит. Не идет конь, глядит на Никишку фиолетово-дымчатыми дрожащими глазами. Стыдно становится Никишке, подходит он, гладит коня по щеке, шепчет ему что-то ласковое, тихое. Слушает конь Никишкин шепот, звон моря, слушает, дышит тяжело, носит боками. Куда идти? Справа море, слева горы, сзади камень и спереди камень. Набирается конь решимости, снова скачет вперед, и снова щелкают подковы.

 Наконец выбрались из осыпей, подвел Никишка

коня к большому камню, забрался в седло, и опять захрупали копыта по песку, по водорослям. А земля впереди все мысы в море выставляет, будто длинные жадные пальцы. Едет Никишка, впереди далекий голубой мыс, доезжает до него, любопытно: а что там, за ним? А за ним — новый мыс, еще дальше выпяченный в море, там еще и еще, и так без конца.

Началась незаметная тропа, конь сам на нее свернул. Никишка задумался, смотрит вокруг, хочет тайну такую понять, чтобы все, что видит, разом открылось ему. Да не понять этой тайны, смотри только с тоской, впитывай глазами, слушай ушами да нюхай. И смотрит Никишка зачарованный, думает, а тропа все дальше в лес забирается, тихо становится, золотисто. Под ногами коня языки желтые, красные, оранжевые. Мхом пахнет, грибами, янтарные рыжики везде, румяные волнушки. Весь лес горит, елочки только зеленые, да вереск стелется приплюснутыми островками. Красен лес, а из-под земли камни обомшелые, темные и бурые, выпирают, да стоят особняком серые, изуродованные, скрученные елки и березы, странно похожие на яблоню.

Попался бы кто-нибудь навстречу! Но никто не попадается, один Никишка в мертвом лесу. Скоро ли жилье? Не у кого спросить, молчат сосны и елки, загадочно смотрят на Никишку камни из-под земли. Все тут камень да сырость... Только тропа глубоко в земле выбита, старая, глухая. И вспоминает Никишка, рассказывала бабка, давно это было, шли по мертвым лесам странные люди, шли беглые, больные, несчастные, обиженные — всякий народ шел. И шли они все к одному месту, в одно место тропы глухие прокладывали, в пресветлую обитель — Соловецкий монастырь. А где этот монастырь, Никишка не знает, там где-то, где солнышко закатывается, а где, поди-ко узнай!

И вдруг среди этого безмолвия, тишины мертвой, звуков неживых — песня. И слышно, топором кто-то постукивает, слышно, дымком попахивает. Конь — уши торчком, заржал звонко, рысью, рысью вперед: жилье чует. Выезжает Никишка из лесу, перед ним избушка — тоня отцовская. Все новое, все крепко и ладно, из трубы дымок курится, на вешалах сети сушатся, рыбой пахнет, на катках кар-

бас лежит, черным боком маслится. На пороге отец сидит, топором постукивает, весло кормовое ладит да песню поет.

2

Увидел Никишку, встал отец — огромный, бородатый, в высоких сапогах, с ножом на поясе, в брезентовой робе. Руки у него красные, лицо бурое, борода светлая, а глаза резкие, пристальные, под густыми бровями.

— Сынок приехал! — говорит радостно отец. — То-то сон мне снился... Ну, как же дома у нас там? Все ли живы?

— Живы! — отвечает Никишка, слезает с коня, качается, ногами топает. — Председатель коня дяде Ивану дал, мамка меня послала, я и поехал... Ехал-ехал, весь заболел, спину больно.

— Ах ты, молодец у меня! — ласкает отец Никишку, волосенки льняные ручищей своей гладит. — А я слышу: топ какой-то, а кто такое, и не толкую. А это вон Никишка! Не боялся ехать-то?

— Не, ничего! Птиц видал, грибов видал, с конем говорил. Конь-то умный. На вот тебе, мамка наклала, — снимает Никишка кису. — А почто это камни на меня смотрели? Они тоже думают? Небось ночью-то переваливаются кому неловко лежать, за день-то вон как бок отлежишь!

— Камни-то? — задумывается отец. — Камни, они, надо думать, тоже живые. Все живое!

— А ты понимаешь, об чем березы говорят?

— Дак они по-своему, по-березьи небось говорят! Надо язык ихний знать. А то где понять!

— А дядя Иван где?

— Дядя Иван на соседнюю тоню поехал, на Керженку. Давеча рыбаки туда бежали на доре, так и его взяли, баня у них там, у нас-то нету ее, вот дядя Иван и поехал.

— А в деревню когда он поедет?

— В деревню завтра поедет, полечится. Ноги-то, вишь, совсем у него разломило, на лошади и поедет по сухой воде.

— А я как же?

— Ты со мной останешься. Останешься? Семгу будем ловить.

— Останусь!

— Ну вот! Пойду лошадь расседлаю...

Пошел отец, коня поймал, расседлал, потом веревку вынес, привязал коня к березе, чтобы в лес не ушел. А Никишка в избу заходит: сильно пахнет рыбой, в печке угли тлеют, на столе хлеб, миски да ложки. Стены плакатами оклеены, на полке газеты ворохом лежат, чисто в избе, подметено, на веревке рукавицы, портянки да штаны сохнут. Выходит Никишка, обходит избу вокруг, в сарай заглядывает, сарай открыт, не запирается, не от кого запирать. Только хотел было Никишка в сарай забраться, посидеть, подумать о сегодняшнем, вдруг... Что-то живое в сарае показалось, темно-рыжее, будто тусклый пламень. Глазами светит, в глазах блеск красноватый вспыхивает, как солнце предзакатное. Собака! Большая, лохматая...

Сел Никишка на корточки, смотрит во все глаза на собаку, оглянулся — отец не видит, — заговорил с ней:

— Адя... Ууууррр! Гу-гуррр... Гам!

Собака молчит, нюхает, голову набок склонила, одно ухо вверх, другое повисло, хвостом молотит — нравится ей Никишка. Наговорившись, выходит Никишка из сарая, собака за ним бежит, будто век его знает. Смотрит Никишка на отца, какой он большой, красный, солнцем освещенный, как царь лесной.

— Ну, сынок! — весело говорит отец. — Поедем сейчас за семгой! Только постой, весло доделаю.

Отходит Никишка немного, ложится на теплый песок, собака подбегает, рядом ложится тоже, дышит часто. Закрывает глаза Никишка, качает его, все кажется, на коне едет и чайки бесконечно над морем взлетают, а мимо горы, да леса, да кресты черные, лешаки из избушки выглядывают, болбонят: «Гляди ты! Никишка-то к отцу едет семгу ловить, чай-сахар везет!» И песню кто-то тонко поет, голос то распухнет, то утончится, баюкает, солнышко светит, а море все: «шшшшу!» — накатывает; «сссс!» — отходит. Тлеющие водоросли крепко пахнут, дурманят голову, а кулики стеклянно кричат: «пи-пии, пи-пии!»

Лежит Никишка, ни спит, ни дремлет... Песок теплый, собака теплая, смотрит на Никишку огненными глазами, говорит: «Пойдем, Никишка,

в лес!» — «Я в море пойду, семгу стеречь!» — Никишка отвечает. А собака свое: «Пойдем в лес, я тебе тайны открою! Об чем березы шепчут, послушаем, что камни думают, узнаем». Любопытно Никишке, сомневается он уже, то ли в море идти, то ли в лес, но тут отец как раз подошел с веслом новым в руке.

— Вставай, сынок, поедем!

Встал Никишка, идет с отцом на берег, а море радуется, вспыхнет, заиграет, заголубеет, так и манит, так и расстилается. Налег отец грудью на карбас, столкнул в воду, Никишку посадил в корму, сам сапогами по воде бухает. Но вот и сам в карбас залез, на веслах умостился, Никишке кормовое дал, от берега отвалили, развернулись, и пошло качать-покачивать — вверх-вниз, вверх-вниз. Берег качается, собака на берегу качается... А отец шибко гребет, волна по скулам карбаса шлепает, взлетает брызгами вверх.

Подплывают осторожно к ловушке, привязывают карбас к жерди, встает отец, чутко вниз глядит, в тайник, — нет ничего!

— Пусто... — шепчет отец и садится, спокойный.

Оглядывается Никишка, тихо кругом, ни звука, ветерок легкий ровно дует, солнце светит, слепит глаза море, а берег далеко, темный, в обе стороны уходит. И кажется Никишке, был он здесь, сидел давно годами, семгу ждал, думал о чем-то. Или снилось ему это?

— Прилив начался, — говорит отец. — Вода пошла, прибывает.

— Светла погода, — тихонько откликается Никишка. — Хорошо! Донушко видать...

— А как же! Она донушко светлое любит. Ей камни там или водоросли не надобны. Любит она по дну идти, в полводы. Полная вода или сухая вода — это ей неподходяще, не любит она этого, а идет, говорю, в полводы.

— А это колотушка?

— Это? Колотушка, сынок. Ее бить. Она здоровая, сильная, так не вытащишь, упаришься, вот и бьем мы ее колотушкой.

— А если она выскочит?

— Но! У нас ведь ловушка на то. Вишь, полотно-то? Сеть то есть. Это вот стенки на кольях с оттягами, а внизу... Глянь-ка, глянь!

Свешивается Никишка за борт, руками глаза свои разноцветные огородил, смотрит в воду, в глубину, видит блики зеленоватые на дне, тонкие ячейки сети видит.

— Вишь? Вишь, внизу тоже сеть — это доно. Стенки да доно, это вот тайник, а там ворота, эвон где жерди две рядом торчат, ворота там... Она идет, в ворота зайдет и в тайник, а в тайнике мы ее бьем. От ворот заезжам, выход загораживам, доно подымам и бьем.

— Знаю, — говорит Никишка, вспомнив что-то.

— Я и то говорю, знаешь, — соглашается отец. — Ты у меня все знаешь!

— А почто меня ребята дразнют?

— Они дурачки, не слушай их. Озорники они, все им баловство, а ты хороший, смирный да умный, вот они и дразнют. Не слушай их, ты всех умней.

— Это потому, что я думаю много.

— А ты много не думай и мало не думай, а так: захочется — думай, не захочется — не думай.

— А я думаю вот, куда это вода в море отливает, а после обратно приливает. Реки, те в море утекают, а море куда утекает?

— Море? Гм... — скребет отец бороду, на горизонт глядит, соображает. — Море, надо думать, в горло уходит, в Ледовитый океан. А из океана еще и в другие океаны переливается.

— А много других океанов?

— Много, сынок, и стран всяких много на земле.

— А ты был там?

— Был! В Италии, и во Франции был, и в Норвеге, когда моряком ходил.

— А какая Италия?

— Италия-то? Италия, сынок, хорошая. Жарко там, солнца много, фрукты всякие растут, сладкие да вкусные. Все там черные от солнца ходят, раздетые, а зимы вовсе нет.

— Как нет?

— А так, снегу нет, морозу нет, ничего. Солнце круглый год.

— Хорошо! — вздыхает Никишка. — Пожить бы там!

— И поживешь, — говорит отец. — Вырастешь, на капитана пойдешь учиться, дадут тебе пароход большой в Архангельске, и побежишь ты мимо Норвеги, вокруг земли, прямо в Средиземное море.

— А ты капитаном был?

— Нет, я был матросом. Всем я был: лесорубом, охотником, рыбаком, зверобоем...

— Ой, глянь-ко, что это?

— Где?

— Эвон кажется...

— А! То тюлень. Тюлень, сынок, подплыл на нас поглядеть.

— Знаю. А где он живет?

— В море живет. Днем рыбу промышляет, а ночью к берегу плывет, на камнях спит в местах глухих на съемных коргах.

— А почто его бьют? Его ведь не едят.

— Шкура у него хороша и жиру много. Его легко бить, глупый он; подкрадаются и бьют из винтовки. А ходим за ним всяко: другой раз на карбасах, другой раз на ледоколе. Теперь-то все больше на ледоколе.

— А если темна погода, страшно на карбасе?

— Ой, страшно! Вот вырастешь, возьму я тебя на зверобойку, узнаешь тогда наше северное морюшко. Эвон там, где блестки, — показывает отец рукой, — где солнушко стоит, там островок есть махонький, Жижгин называется. Тюлени там стадятся. На Жижгине этом поморы всегда промышляют. Стоит там избушка зверобойная на корге, прибегают туда поморы на карбасах, живут, хлеб жуют, поветрия ждут, погоды, значит. В хорошую погоду в море бегут, тюлешков стреляют, ночью на льдине спят. Быват, падет темна погода, так уж понесет, так понесет — заревишь на голос, с жизнью простишься. Кто посчастливей, того и отпустит скоро, ветер напеременку пойдет, утихнет, а кого и в горло вынесет, мимо Канина Носа пронесет — да в океан... А там только если с самолета заметят, спасут, а так...

— Семга! — шепчет вдруг Никишка.

— Но! — встал отец на носу на коленки, наклонился над тайником. — А и верно! Ну, господи благослови, я буду доно подымать, а ты карбас сдерживай...

Быстро отвязывает отец карбас, гребет по борту в объезд ловушки, к воротам. Заходят со стороны ворот, нагибается отец, руки в воду опускает, Никишка за жердь держится. А в глубине что-то беззвучно мечется — огромное, сильное, живое, —

вздрагивают жерди, как струны дрожат оттяги. Шуршит капроновая сеть, подтягивает ее отец к карбасу; Никишка шею вытянул, смотрит вниз. Вот все меньше семге места остается, вот она уже два раза поверху плеснула, держит отец одной рукой подобранное доно, другой колотушку шарит. Нашел, руку вымахнул, ждет, когда ударить можно, а семга бьется все яростней, все сильнее, гулко по дну карбаса стукает, не дается, водой рыбаков окатывает. Вот уже вся она на виду, как в чаше пенной, — могла бы кричать, закричала бы от ужаса. Бьет отец с размаху ее по голове, и сразу все обрывается, обмякает семга, заваливается набок. Хватает отец ее за жабры, с усилием втягивает в карбас, шлепает вниз, под ноги Никишке. Смотрит Никишка на нее остановившимися глазами, а она еще жива, еще жабры вздрагивают, чешуя еще сжимается — огромная, серебристая рыба, с темной спиной, с загнутой вверх нижней челюстью, с черным крупным глазом.

Опускает отец доно, выталкивает карбас из ловушки, рукавом лицо вытирает и руки, рыбой пахнущие, вытирает о штаны, весело смотрит на семгу, на Никишку.

— Вот как мы ее!

Никишка бледен, поражен, опомниться не может. И опять привязан карбас к жерди, качается на волне вверх-вниз, молчит отец, сложив на коленях могучие красные кисти рук, отдыхает. А Никишка, привыкнув немного к семге, вспоминает отцовские слова о тюленях...

— Не, я лучше капитаном буду! Не хочу тюленей бить, они смирные...

— Можно и капитаном, — соглашается отец и смотрит на небо. — Глянь, тучи натягиват, солнушко скрыват. Скоро домой поедем. Можно капитаном, а можно инженером тоже...

— А почто инженером?

— Как почто? Строить чего-нибудь будешь, это тоже дело! Да вот хоть бы у нас: выстроим дорогу по берегу асфальтовую, причалов настроишь, огни гореть будут, машины гудеть...

Никишка задумывается, глядит на далекий берег: какой он темный, безлюдный.

— Ладно, — решает, — буду инженером.

— Ну вот! Посидим еще и — домой. Там у меня

рыбка есть, давеча утром рюжу осматривал по сухой воде, так рыбки немного попало. Ухи мы с тобой наварим да чай вскипятим, оно и хорошо спать-то будет. А теперь давай-ко помолчим-дак... Семгу надо сторожить.

Молчит все: молчит море, карбас беззвучно качает, молчит берег, не доносится оттуда ни звука. Низкое уже солнце скрылось в облаках, потемнело все кругом, запечалилось. И никого нигде нет! Пусто везде, безлюдье, летают редкие чайки, на берегу в лесу рябки притаились, да качаются в карбасе два рыбака и с ними семга заснувшая.

3

Гудит печка, потрескивает, тепло в избушке, за окошками сумерки. Зажег отец лампу, между ног ведро поставил с водой, шкерает на уху пятнистую тресочку, темную, горбатую рявшу, тонкую навагу. А Никишка дремлет, наговорился за день, нагляделся, наслушался, накачался, устал — дремлется ему, думается бог знает о чем!

Круто меняется погода. Дует верховой обедник, шумит море, все зеленеет и зеленеет на западе, просинь открывается, воздух стекленеет: настает вечер необыкновенной чистоты, со звездами и смутным небесным светом.

Лежит рыжий пес у печки, спит, подрагивает во сне. Никишка встрепенется, слушает вполуха — отец чего-то говорит мирное, давно знакомое, родное: о рыбе говорит, о море, о ботах, о деревне, о ветрах — полуношнике, побережнике, шалонике, обеднике... Большой отец, склонился низко над ведром, волосы, как у Никишки, белесые на глаза свесились, борода распушилась, сам неподвижен, руки только двигаются, нож сверкает, рыба в ведро с плеском падает, тень отцовская на стене вздрагивает. Говорит, говорит отец низким голосом. Никишка глаза закроет, видит землю родную с морем, лесами, озерами, солнце видит, птиц молчаливых, зверей странных, кажется ему, вот-вот тайну какую-то узнает, никому не ведомую, слово заветное произнесет, и нарушится молчание, заговорят все с Никишкой, все ему разом понятным станет. Но нет слова, не раскрыта тайна, слышит Никишка ров-

ный отцовский голос, и еще многое видит он и слышит.

Видит он, что псу рыжему снится, — лес ему снится, звери страшные, неизвестные со всех сторон кидаются. Бежит пес, лает от страха, одно ему спасение — Никишка. Слышит, камни шептаться начинают, море шумит, деревья в лесу шевелятся, крикнет кто-то... Видит, вот отец в шторм на льдине качается, ревит; еще видит, семга огромная, сердитая бережает *, по дну плывет, по чистому донушку, а за ней другие — тайник отцов ищут.

Гудят в печке дрова, потрескивают... Отец из избы выходит воду вылить из ведра, слышно, за стенкой ходит, дрова собирает, потом в избу входит, грохает дрова у печки. Вскакивает пес рыжий, вздрагивает Никишка, глаза открывает.

— Спишь, сынок? — наклоняется к нему отец. — На воле-то не видал, что делается? Ясень какой! Глянь-ка, глянь поди...

Выходит Никишка — темно, холодно, ветер сырой дует. Солнце давно село, леса не видно, а вверху, между звезд, жемчужно светится продолговатое пятнышко. Будто облачко плывет на страшной высоте, озарено последним светом солнца. Но вот облачко медленно, неуверенно вытягивается в длину, пухнет в середине, выгибается мостом-радугой, между западом и востоком. Смотрит Никишка, закинув голову. Дверь хлопает, пес к Никишке подбегает, за псом отец выходит, тоже голову поднимает.

Неясные тени начинают ходить по облаку, цвета меняются, все синеют, все густеют — от молочного к синему. Кажется Никишке, напрягается облако, силится рубиновым огнем загореться, заполыхать вместо ушедшего солнца. Все сильнее мерцают краски, все больше света сверху льется, но напрасны усилия, все гаснет, и опять большие, смутные тени передвигаются печально по световому мосту.

Смотрит Никишка, смотрит отец и молчит, пес смотрит и тоже молчит. Молчит и лошадь, заснула возле березы, — все молчит, одно море светлеет от небесного огня и шумит, шумит...

Вот совсем гаснет свет, идет Никишка в теплую избу, забирается на кровать с ногами, пес у печки ложится, ставит отец уху на огонь и чайник ставит.

---

* Бережать — подходить к берегу *(поморск.)*.

Скоро Никишка спать ляжет, и приснятся ему необыкновенные сны. Обступит его деревня, избы с глазами-окошками, лес подойдет, камни и горы, конь явится, пес рыжий, чайки прилетят, кулики сбегутся на тонких ножках, семга из моря выйдет — все к Никишке сойдутся, смотреть на него станут и, бессловесные, будут ждать заветного слова Никишкиного, чтобы разом открыть ему все тайны немой души.

трали-вали

1

Разморенный жарким днем, наевшись недожаренной, недосоленной рыбы, бакенщик Егор спит у себя в сторожке.

Сторожка его нова и пуста. Даже печки нет, вырезана только половина пола, навалены в сенях кирпичи и сырая глина. По бревенчатым стенам висит из пазов пакля, рамы новые, стекла не замазаны, тонко звенят, отзываются пароходным гудкам, и ползают по подоконникам муравьи.

Просыпается Егор, когда садится солнце и все вокруг наполняется туманным блеском, а река становится неподвижно-золотой. Он зевает, зевает со сладкой мукой, замирая, выгибаясь, напрягаясь чуть не до судорог. Почти не открывая глаз, торопливо вялыми руками свертывает папиросу и закуривает. А закурив, страстно, глубоко затягивается, издавая губами всхлипывающий звук, с наслаждением кашляет со сна, крепко дерет твердыми ногтями грудь и бока под рубахой. Глаза его увлажняются, хмелеют, тело наливается бодрой мягкой истомой.

Накурившись, он идет в сени и так же жадно, как курил, пьет холодную воду, пахнущую листом, корнями, оставляющую во рту приятно-оскоменный вкус. Потом берет весла, керосиновые фонари и спускается вниз, к лодке.

Лодка его набита мятой осокой, набрала воды, осела кормой и отяжелела. Егор думает, что надо бы вылить воду, но выливать лень, и, вздохнув, поглядев на закат, потом вверх и вниз по реке, он раскорячивается, напрягается больше, чем нужно, и спихивает лодку с берега.

Плес у Егора небольшой. Ему нужно зажечь фонари на четырех бакенах, два из которых стоят наверху, два — внизу. Каждый раз он долго соображает, куда ловчее сначала грести: вверх или вниз.

Он и сейчас задумывается. Потом, устраиваясь, стучит веслами, уминает осоку, пихает ногами фонари и начинает выгребать против течения. «Все это трали-вали...» — думает он, разминаясь, разогреваясь, гребя резкими рывками, быстро валясь назад и выпрямляясь, поглядывая на темнеющие, розовеющие, отраженные в спокойной воде берега. Лодка оставляет за собой темный на золоте воды след и аккуратные завитки по бокам.

Воздух холодеет, ласточки носятся над самой водой, пронзительно визжат, под берегами всплескивает рыба, и при каждом всплеске Егор делает такое лицо, будто давно знает именно эту рыбу. С берегов тянет запахом земляники, сена, росистых кустов, из лодки — рыбой, керосином и осокой, а от воды уже поднимается едва заметный туман и пахнет глубиной, потаенностью.

По очереди зажигает и устанавливает Егор красные и белые фонари на бакенах, лениво, картинно, почти не огребаясь, спускается вниз и там зажигает. Бакены горят ярко и далеко видны в наступающих сумерках. А Егор уже торопливо выгребает вверх, пристает возле сторожки, моется, смотрится в зеркало, надевает сапоги, свежую рубаху, туго и набекрень натискивает морскую фуражку, переезжает на другой берег, зачаливает лодку у кустов, выходит на луг и зорко смотрит вперед, на закат.

На лугу уже туман и пахнет сыростью.

Туман так плотен и бел, что издали кажется разливом. Как во сне, идет, плывет Егор по плечи в тумане, и только верхушки стогов видны, только черная полоска леса вдали под беззвучным небом, под гаснущим уже закатом.

Егор поднимается на цыпочки, вытягивает шею и замечает, наконец, вдали розовую косынку над туманом.

— Э-ей! — звучным тенором окликает он.

— А-а... — слабо доносится издали.

Егор ускоряет шаг, потом пригибается и бежит, будто перепел, тропой. Свернув с тропы, он ложится, обзеленяя коленки и локти о траву, и с колотящимся сердцем всматривается в ту сторону, где показалась ему розовая косынка.

Проходит минута, две, но никого нет, звука шагов не слышно, и Егор не выдерживает, поднимается, глядит поверх тумана. По-прежнему видит он

3*

только закат, полоску леса, черные шапки стогов — смутно и сизо вокруг него. «Спряталась!» — с нетерпеливым восторгом думает он, опять ныряет в туман и опять крадется. Он надувается, сдерживая дыхание, лицо наливается кровью, фуражка начинает резать ему лоб. Вдруг он видит совсем рядом съежившуюся фигурку и вздрагивает от неожиданности.

— Стой! — дико вопит он. — Стой, убью!

И, топоча сапогами, гонится за ней, а она с визгом, со смехом убегает от него, роняя что-то из сумки. Он быстро догоняет ее, вместе валятся они на мягкие, пахнущие свежей землей и грибами кротовые кучи и крепко, счастливо обнимаются в тумане. Потом поднимаются, разыскивают уроненное из сумки и медленно бредут к лодке.

2

Егор очень молод, но уже пьяница.

Пьяницей была и его жена, распущенная потрепанная бабенка, гораздо старше его, утонувшая осенью в ледостав. Пошла в деревню за водкой, обратной дорогой выпила, опьянела, шла и пела песни, подошла к реке против сторожки, закричала:

— Егор, зараза, выходи, глянь на меня!

Егор вышел, радостный, в накинутом полушубке, в опорках на босу ногу, и видел, как она шла, помахивая сумкой, как принялась плясать посреди реки, хотел крикнуть, чтобы поскорее шла, и не успел: на его глазах проломился лед, и мгновенно ушла под воду жена.

В одной рубахе, скинув полушубок и опорки, побежал он босиком по льду, и, когда бежал, все потрескивал, мягко колыхался, подавался под ним лед, — упал, дополз на животе до полыньи и только посмотрел на черную дымящуюся воду, только завыл, зажмурился и пополз обратно. А через три дня заколотил сторожку и ушел на зиму к себе в деревню за три километра, на другую сторону.

Весной же, на разливе, перевозил он как-то молодую Аленку из Трубецкого, и, когда та стала доставать деньги, Егор вдруг торопливо сказал:

— Ну ладно, ладно... Это все трали-вали! А ты когда зайди ко мне-то: один живу, скучно. Да и по-

стирать там чего, а то завшивеешь без бабы, а я тебе рыбы дам.

А когда недели две спустя Аленка, возвращаясь откуда-то к себе в деревню, зашла под вечер к нему в сторожку, у Егора так забилось сердце, что он испугался. И первый раз в жизни засуетился Егор из-за девки, побежал на улицу, развел из щепок костерок между кирпичами, поставил закоптелый чайник, стал расспрашивать Аленку про жизнь, замолкая вдруг на полуслове, смущая ее до слез и сам смущаясь, вымылся и надел чистую рубаху в сенях, а через реку перевез ее уже ночью и далеко провожал лугами.

Теперь Аленка часто приходит к нему и каждый раз остается в сторожке дня на три. И когда она с ним, Егор небрежен и насмешлив. Когда ее нет, он скучает, места себе не находит, все валится у него из рук, он много спит, и сны снятся ему нехорошие, тревожные.

Егор крепок, кадыкаст, немного вял и слегка косолап. Лицо у него крупное, рыхлое, неподвижно-сонное и горбоносое. На летнем солнце, на ветру загорел он почти до черноты, и серые глаза его кажутся синими от этого. «Недоделанный я какой-то! — жалуется он, выпив. — Черт меня делал на пьяной козе!»

Этой весной он остается вдруг у себя в сторожке на Первое мая. Почему не пошел он в деревню, как сперва хотел, он и сам не знает. Валяется на сбитой, неприбранной постели, мрачно посвистывает. В полдень прибегает из деревни сестренка и тоненько вопит с того берега:

— Его-о-ор!..

Егор сумрачно выходит к воде.

— Его-орка, тебе велели иди-ить...

— Кто велел-то? — помолчав, кричит Егор.

— Дядя ...а-ася и дядя ...е-едя...

— А для чего они сами не пришли-и?

— Они не ...о-гут иди-ить, они пья-аныи-и...

Лицо Егора изображает тоску.

— Работа у меня, скажи, рабо-ота! — кричит он, хотя никакой работы у него, конечно, нет. «Эх, и гуляют сейчас в деревне!» — горько думает он и воображает пьяных родных, мать, столы с закуской, пироги, беспрерывную музыку, дрожжевой вкус браги, нарядных девок, флаги на избах, кино в клу-

бе, мрачно плюет в воду и лезет на обрыв, в сторожку.

— О-о-ор... иди-и... — звенит, манит его с того берега голос, но Егор не слушает.

Относится он ко всему с равнодушием, с насмешкой, ленив необыкновенно, денег у него бывает много, и достаются они ему легко. Моста поблизости нет, и Егор перевозит всех, беря за перевоз по рублю, а в раздражении — и по два. Работа бакенщика, легкая, стариковская, развратила, избаловала его окончательно.

Но иногда смутное беспокойство охватывает Егора. Чаще всего бывает это вечером. Лежа рядом со спящей Аленкой, вспоминает Егор, как служил во флоте на севере. Вспоминает корешей, с которыми, конечно, давно потерял всякую связь, вспоминает их голоса, их лица и даже разговоры, но неясно, лениво...

Вспоминает Егор низкий сумрачный берег, северное море, жуткое полярное сияние зимой, сизые маленькие изуродованные елки, мох, песок; вспоминает, как горел по ночам маяк, как ослепительно и дымно мерцал его свет, лучами скользя по мертвому лесу. Но думается ему обо всем этом равнодушно и отдаленно.

Иногда же его охватывает, бьет странная дрожь и странные, дикие мысли лезут в голову: что берег и сейчас такой же, и сейчас стоят на нем бараки с шиферными крышами, сверкает по ночам маяк, а в бараках моряки, койки в два яруса, треск радиоприемника, разговоры, писание писем, курево... Все-все такое же, а его нет там, как будто он умер, он даже как бы и не жил там, не служил, а все это так... наваждение, сон!

Тогда он встает, выходит на берег, садится или ложится под кустом, завернувшись в полушубок, и чутко слушает и смотрит в темноту на отраженные в реке звезды, на далекие яркие огоньки бакенов. Притворяться ему в такие минуты не перед кем, и лицо его становится грустным, задумчивым. Томно у него на сердце, хочется чего-то, хочется уехать куда-нибудь, хочется иной жизни.

На Трубецком плесе медленно возникает и так же медленно пропадает густой, бархатистый, трехтоновый гудок. Немного погодя показывается пароход, ярко озаренный светом, торопливо шлепает

плицами, шипит паром и снова гудит. И шум его, плеск, гудение гулко, знобяще отдаются в прибрежных лесах. Егор смотрит на пароход и еще сильнее тоскует.

Он воображает дальнюю дорогу, воображает, как спят по каютам молодые женщины, пахнущие духами и едущие неизвестно куда. Он воображает, как возле машинного отделения сладко, мягко пахнет паром, начищенной медью и утробным машинным теплом. Палубы и перила покрыты росой, на мостике стоят зевающие вахтенные, перекатывают руль. На верхней палубе сидят одинокие пассажиры, завернулись в пальто, смотрят в темноту, на огоньки бакенов, на редкие красные костры рыбаков, на зарево фабрики или электростанции — и все это им кажется прекрасным, чудным и так манит сойти где-нибудь на маленькой пристани, остаться в тишине, в росистом холоде. И обязательно спит кто-нибудь на лавке, натянув пиджак на голову, поджав ноги, и просыпается на секунду от гудков, от чистого воздуха, от толчка парохода о пристань...

Идет мимо него жизнь! Что за звон стоит в его сердце и над всей землей? Что так манит и будоражит его в глухой вечерний час? И почему так тоскует он и немилы ему росистые луга и тихий плес, немила легкая, вольная, редкая работа?

А ведь прекрасна же его родина — эти пыльные дороги, исхоженные, истоптанные с младенчества, эти деревни — каждая на особицу, каждая со своим говором, со своими девками, деревни, куда так часто ходил он вечерами, где он целовался, прячась во ржах, где дрался не раз до крови, до беспамятства; прекрасен же сизый дым костра над рекой, и огни бакенов, и весна с лиловым снегом на полях, с мутным необозримым разливом, с холодными закатами в полнеба, с ворохами шуршащих палых прошлогодних листьев по оврагам! Прекрасна и осень с ее скукой, с дождиком, с пахучим ночным ветром, с особенным в это время уютом сторожки!

Так почему же просыпается он, кто зовет по ночам его, будто звездный крик гудит по реке: «Его-о-ор!»? И смутно и знобко ему, какие-то дали зовут его, города, шум, свет. Тоска по работе, по настоящему труду — до смертной усталости, до счастья!

И, волоча полушубок, идет он в сторожку, ло-

жится к Аленке, будит ее и жалко и жадно приникает, прижимается к ней, чувствует только ее, как ребенок, готовый заплакать. Зажмурившись, трется он лицом о ее плечо, целует ее в шею, слабея от радости, от горячей любви и нежности к ней, чувствуя на лице ответные, быстрые и нежные ее поцелуи, уже не думая ни о чем и ничего не желая, а желая только, чтобы так продолжалось всегда.

Потом они шепчутся, хотя могут говорить громко. И Аленка, как всегда, уговаривает Егора остепениться, бросить пить, пожениться, поехать куда-нибудь, устроиться на настоящую работу, чтобы его уважали, чтобы писали про него в газетах.

И уже через полчаса — успокоенный, ленивый и насмешливый — через полчаса бормочет Егор свое любимое «трали-вали», но бормочет как-то рассеянно, не обидно, желая втайне, чтобы она еще и еще шептала, чтобы еще и еще уговаривала его начать новую жизнь.

3

Часто в сторожке у Егора ночуют проезжие, поднимающиеся и спускающиеся по реке на моторках, на байдарках и даже на плотах. Каждый раз при этом происходит одно и то же: проезжие глушат внизу мотор, и кто-нибудь поднимается к Егору в сторожку.

— Здорово, хозяин! — наигранно-бодро говорит проезжий.

Егор молчит, посапывая, ковыряет ивовую вершу.

— Здравствуйте! — уже слабее повторяет проезжий. — Переночевать нельзя ли у вас?

И опять ответом ему молчание. Егор даже дышать перестает, так занят вершей.

— А сколько вас? — спустя долгое время спрашивает он.

— Да трое только... Мы как-нибудь... — с робкой надеждой говорит проезжий. — Мы заплатим, не беспокойтесь...

Егор равнодушно, медленно, с паузами расспрашивает, кто такие, куда едут, откуда... И когда

спрашивать уже нечего, с видимой неохотой разрешает:

— Ну что ж, переночевать можно.

Тогда все вылезают из лодки, подыскивают место, складывают вещи, вытаскивают и переворачивают лодку, носят в сторожку рюкзаки, канистры, котелки, мотор. В сторожке начинает пахнуть бензином, дорогой, сапогами, делается тесно. Егор оживляется, подает каждому руку, чувствует прилив веселости, чувствует предстоящую выпивку. Начинает он суетиться, начинает говорить без умолку, преимущественно о погоде, покрикивает на Аленку, разводит возле сторожки большой яркий костер.

А когда разливают водку, Егор опускает ресницы, глаза его мерцают, дышит он редко и тихо, страдая и боясь, что ему недольют. Потом берет своей крепкой, темной рукой со сбитыми ногтями стакан, твердо и весело говорит: «Со знакомством!» — и выпивает, каменея лицом.

Пьянеет он быстро, радостно и легко. Пьянеет — и начинает врать складно, убежденно, с наслаждением. Врет он главным образом про рыбу, так как уверен почему-то, что проезжие интересуются только рыбой.

— Рыба, — говорит он, осторожно и как бы нехотя закусывая, — у нас всякая... Правда, мало ее стало, н-но... — он хакает, делает паузу и понижает голос, — но кто умеет... Я вчера, между прочим, щуку поймал. Щучка, правду сказать, небольшая — полтора пуда всего... Утром поехал по бакенам, слышу, под берегом плесканула. Я сразу закидуху в воду, пока с бакенами возился, она и села: крючок аж в пузо зашел!

— Где же щука-то? — спрашивают его.

— А я ее тогда же в рабочий поселок свез, продал, — не моргнув глазом отвечает Егор и подробно описывает, какая была щука.

И если кто-нибудь усомнится — а сомневаются постоянно, и Егор ждет этого с нетерпением, — он вспыхивает и уже, как хозяин, тянется к бутылке, наливает себе — ровно сто пятьдесят граммов, — быстро выпивает и тогда только поднимает на усомнившегося хмельные, бездумно-отчаянные глаза и говорит:

— А хочешь, завтра поедем? На чего спорим? У вас какой мотор-то?

— ЛМ-1, — отвечают ему.

Егор поворачивается и минуту смотрит на мотор, прислоненный к углу.

— Этот? Ну, это трали-вали! — пренебрежительно говорит он. — У Славки — болиндер, это у него мой, я ему привез с флота, сам собрал. Зверь, а не мотор: двадцать километров в час! Это еще против воды... Ну? Давай на мотор! Ставлю болиндер против твоей трали-вали! Ну? Один такой поспорил — ружье проспорил. Показать ружье? Заказная «тулка», бьет, как зверь, я на нее зимой, — он секунду думает, стекленея глазами, — триста пятьдесят зайцев взял! Ну?

И покоробленные, немного растерявшиеся гости, чтобы хоть как-то уколоть его, тотчас спросят о печке:

— Что ж, парень, без печки живешь?

— Печка? — уже кричит Егор. — А кто может скласть? Ты можешь? Склади! Глина, кирпич есть, матерьял, словом. Склади, полтораста сразу даю, как пить дать! Ну? Склади! — настаивает он упорно, зная, видя, что просьба его невыполнима, а раз невыполнима, то победа опять его. — Ну? Склади!

И в ту же минуту, заметив, что водка еще есть, что гости смеются, он выходит в сени, надевает там морскую свою фуражку с «крабом», распахивает ворот рубахи, чтобы видна была тельняшка, и входит снова.

— Разрешите? — спрашивает он с пьяной, нарочитой почтительностью и тут же докладывает: — Боцманмат Северного флота прибыл в ваше распоряжение! Дозвольте поздравить с годовщиной праздника коммунизма и социализма. Все силы мира на борьбу с врагом, мать его за ногу, и в честь этого поднесите!

Ему подносят, а Аленка, страдая от стыда за него, начинает стлать гостям, чувствуя на глазах горячие слезы, дожидаясь с нетерпением, почти с бешенством, когда же Егор начнет поражать гостей. И Егор поражает.

Совсем осоловевший, он садится вдруг на лавку, приваливается к стене, двигает лопатками, шебаршит ногами, устраиваясь поудобнее, откашливается, поднимает лицо и запевает.

И при первых же звуках его голоса мгновенно смолкают разговоры — непонятно, с испугом все

смотрят на него! Не частушки поет он и не современные песни, хоть все их знает и постоянно мурлычет, — поет он на старинный русский манер, врастяжку, как бы неохотно, как бы хрипловато, как, слышал он в детстве, певали старики. Поет песню старую, долгую, с бесконечными, за душу хватающими «о-о-о...» и «а-а...». Поет негромко, чуть играя, чуть кокетничая, но столько силы и пронзительности в его тихом голосе, столько настоящего русского, будто бы древне-былинного, что через минуту забыто все — грубость и глупость Егора, его пьянство и хвастовство, забыта дорога и усталость, будто сошлись вместе и прошлое и будущее, и только необычайный голос звенит, и вьется, и туманит голову, и хочется без конца слушать, подпершись рукой, согнувшись, закрыв глаза, и не дышать, и не сдерживать сладких слез.

— В Большой театр тебе надо! В Большой театр! — кричат все сразу, когда Егор кончает, и все возбужденно, блестя глазами, предлагают ему помощь, все хотят написать куда-то: на радио, в газету, позвонить кому-то... Всем радостно, празднично, а Егор, счастливый от похвал, уставший, уже слегка остывший, опять небрежен и насмешлив, и крупное лицо его опять ничего не выражает.

Смутно представляет он себе Большой театр, Москву, летящую четверку коней, свет между колоннами, сияющий зал, звуки оркестра — как все, видел он это в кино, — лениво потягивается и бормочет:

— Все это трали-вали... театры там всякие...

И на него даже не обижаются: так велика теперь его слава, таким непонятным и сильным кажется он теперь гостям.

Но это еще не вся слава его.

4

Это не вся слава его, а только четверть. А настоящая слава бывает у него, когда, как он сам говорит, его затянет. Затягивает же его раза два в месяц, когда особенно скучно и не по себе становится ему.

 Тогда хандрит он с самого утра, с самого же

утра и пьет. Пьет, правда, понемногу и время от времени лениво говорит:

— Ну чего... Давай, что ли, это... А?

— Чего? — притворяется непонимающей Аленка.

— Споем, что ли... дуетом, а? — вяло говорит Егор и вздыхает.

Аленка пренебрежительно усмехается и ничего не отвечает. Она знает, что время еще не пришло, что Егора еще не окончательно затянуло. И она ходит по сторожке, все что-то чистит, что-то моет, уходит на реку полоскать белье, снова возвращается...

Наконец наступает время. Случается это обычно к вечеру. И Егор уже не просит «дуета», он встает, нечесаный, хмурый, смотрит в одно окошко, в другое, выходит, пьет воду, потом сует в карман бутылку с водкой, берет полушубок.

— Далеко ль собрался? — невинно спрашивает Аленка, но все в ней начинает дрожать.

— Пошли! — грубо говорит Егор и косолапо перешагивает порог.

Лицо его бледнеет, ноздри разымаются, на висках обозначаются вены. Аленка, покашливая, стягивая у горла шерстяной платок, идет рядом. Она знает, что Егор выйдет сначала на обрыв, посмотрит вверх и вниз по реке, немного подумает, будто не зная, где приладиться, и пойдет потом к любимому своему месту — к перевернутой дырявой плоскодонке у самой воды, в березках. И там он будет петь с ней, но совсем не так петь, как пел гостям: им он пел немного небрежно, немного играя и далеко не в полный голос...

Егор и вправду останавливается на берегу и минуту думает, потом молча идет к плоскодонке. Он стелет здесь полушубок, садится, опираясь спиной о борт лодки, раскорячивает и подвертывает ноги и ставит меж ног бутылку.

А закат прекрасен, а на лугах туман, как разлив, и черна полоска леса на горизонте, черны верхушки стогов. А ветви берез над головой неподвижны, трава волгла, воздух спокоен и тепел, но Аленке уже зябко, прижимается она к Егору, а Егор берет дрожащей рукой бутылку и глотает из нее, передергиваясь и хакая. Рот его полон сладкой слюны.

— Ну... — говорит он, вертит шеей, покашливает и предупреждает шепотом: — Только втору давай смотри мне!..

Он набирает полную грудь воздуха, напрягается и начинает заунывно и дрожаще чистейшим и высочайшим тенором:

Вдо-о-оль по морю...
Мо-о-орю си-и-инему...

Аленка зажмуривается, мучительно сотрясается, выжидая время, и вступает низко, звучно и точно — дух в дух:

Плывет ле-ебедь со лебе-едушкой...

Но себя, но своего низкого, матового, страстного голоса она и не слышит уже — где уж там! Чувствует она только, как мягко, благодарно давит, сжимает ее плечо рука Егора, слышит только его голос.

Ах, что за сладость — песня, что за мука! А Егор, то обмякая, то напрягаясь, то подпуская сиплоты, то, наоборот, металлически-звучно, все выговаривает дивные слова, такие необыкновенные, такие простонародные, будто сотню лет петые:

Плывет ле-ебедь, не всколо-о-охнется,
Желтым мелким песком
Не взворо-о-охнется...

Ах да что же это? И как больно, как знакомо все это, будто уж и знала она всю-то свою жизнь заранее, будто уж и жила когда-то давным-давно, и пела вот так же, и дивный голос Егора слушала!

Откуль взялся сизо-о-ой орел...

Стонет и плачет Егор, с глубокой мукой отдается пению, приклонив ухо, приотвернувшись от Аленки. И дрожит его кадык, и скорбны губы.

Ах, этот сизый орел! Зачем, зачем кинулся он на лебедя белого, зачем поникла трава, подернулось все тьмою, зачем попадали звезды! Скорей бы конец этим слезам, этому голосу, скорей бы конец песне!

И они поют, чувствуя одно только — что сейчас разорвется сердце, сейчас упадут они на траву мертвыми, и не надо уж им живой воды, не воскреснуть им после такого счастья и такой муки.

А когда кончают, измученные, опустошенные, счастливые, когда Егор молча ложится головой ей на колени и тяжело дышит, она целует его бледное холодное лицо и шепчет задыхаясь:

— Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой...

«А! Трали-вали...» — хочет сказать Егор, но ничего не говорит. Во рту у него сладко и сухо.

по дороге

1

Зима отстояла сиротская, как и все прошлые. Снег сошел быстро — дымом, паром на солнцепеке. Бились жеребцы в стойлах, грызли руки конюхам. Потом стали сипеть, захлебываться ревом, сотрясать дубовые брусья прикованные на ферме быки. Затрюкали на опушках дрозды, засвистели на вечерних зорях угольные скворцы, дурманом зацвела черемуха по оврагам. Бесстыдно оголенная с зимы деревня начала прикрываться распустившейся рябиной, березами, сиренью по заборам.

И уж подернулись зеленым туманом поля, стала попыливать дорога, уж катило сухое лето, когда Илья Снегирев собрался опять в Сибирь.

Он решил уехать еще давно, в феврале.

Был вечер, когда Илья, замученный ездками, вышел из конторы леспромхоза на заваленную обрубленными сучьями просеку, к своей машине. От машины — так же как от его телогрейки, ватных штанов, от рук и от шапки — пахло бензином. И Снегирев никогда не различал никаких запахов, кроме запаха пыли летом и мороза — зимой.

Но в тот февральский вечер стояла оттепель. Небо зеленело поверху, смугло рдело за лесом, деревья были черными и набухли. В воздухе так явственно тянуло весной, что Илья почувствовал ее, подышал, высморкался и, забираясь в настывшую кабину, тогда же решил ехать.

Не впервые весна срывала его с места. Побывал он и в Сибири — промучился там все лето в прошлом году, а вернулся осенью в злом разочаровании. Не понравилась ему барачная жизнь, и возненавидел он Сибирь с гнусом в тайге, с тонким, напряженным звуком МАЗов на дорогах.

Черно-белой, исполосованной снегом была земля, когда вернулся Снегирев домой. Лес стоял голый,

мертвый, трава пожухла, дрожали на ветру былья, а по ночам мела крупой поземка. Потом повалил снег, морозило и оттаивало, и Снегирев радостно вошел в свою колею.

Он ездил днем и ночью — на станцию, в лес, даже в соседние районы, ночевал где придется, чтобы затемно нагреть воды, залить в радиатор, завести мотор и пить торопливо чай, переговариваясь о чем-нибудь незначительном с хозяином и с наслаждением слушая, как на улице мягко урчит машина.

Он любил ездить ночью по глухим дорогам, когда, кажется, один только ты не спишь на свете, когда машина валяется и клюет носом, а ослепительное пятно света впереди прыгает от колес чуть не к самому горизонту.

По ночам, в одиноких рейсах, легко думалось о прошлом, забывалась обида на Сибирь, меркло все плохое, будто и не было его никогда, а оставалась одна красота и мощь горных кряжей, неистовых нерусских рек, бетонных тяжелых контуров плотин...

И, решив однажды в феврале снова поехать туда, в мае, за неделю до отъезда, Снегирев взял расчет.

2

Днем он отсыпается, чувствуя себя, как в отпуску. Вечерами, нарядившись, ходит к соседям прощаться. Молчалив он и хорош, как именинник, но постепенно расходится и начинает говорить про Сибирь. Говорит он долго и складно, и у друзей его туманятся лица — им тоже хочется в Сибирь.

Домой Илья приходит поздно, снимает сапоги еще в сенях, ступает по избе в носках, думая, что мать спит. Напрощавшись и нагулявшись за неделю, последний вечер проводит он дома, собираясь в дорогу, и впервые замечает грустную нежность на лице матери и ее заплаканные глаза. Ложась спать, он думает о Сибири, о матери, которая остается одна, ему делается попеременно то грустно, то весело — он курит украдкой и никак не может заснуть.

А утром, но не рано, Илья выходит из дому. Его никто не провожает, он не любит проводов. Идет с ним только мать. Все утро она проплакала и теперь, идя с сыном по деревне, задыхается, но говорит о вещах неважных.

На выезде, там, где дорога круто уходит вправо и, минуя перелески, тянется полем, попадается навстречу им машина — везет кирпич со станции. Работает теперь на ней Мишка Фирсов, сосед и приятель Ильи.

Снегиревы сторонятся, их обдает весенней легкой пылью, Мишка кричит что-то на ходу, потом тормозит, выскакивает из кабины и возвращается к Илье.

— Едешь, значит? — спрашивает он, подавая Илье ладонь.

От Мишки теперь пахнет бензином.

— Еду, — говорит Илья.

— Гляди, может, опять не понравится?

— Не боись, понравится... — бормочет Илья и напряженно смотрит в поле. Он слышит, как мать сзади начинает неровно дышать.

— Эх!.. Отгуляли, значит, мы с тобой, — говорит Мишка и оглядывается на машину с работающим мотором. — Гляди, в общем... Закурим напоследок?

Они закуривают и некоторое время молчат.

— А как с Тамаркой? — вспоминает Мишка. — Улажено?

— Чего с Тамаркой! — отвечает Илья беспечно. — Захочет — приедет.

— Так... Ну, давай жми, в общем!

— Ладно, — говорит Илья.

Им хочется обняться, но чего-то стыдно, и они просто жмут друг другу руки.

— Прямо к поезду? — спрашивает Мишка.

— В самый обрез вышли, — говорит Илья, уже нетерпеливо переминаясь.

— А то я так часика через полтора опять на станцию, подвез бы... Ну, гуд бай!

Мишка бежит к машине, а Илья с матерью идут дальше. Через минуту они слышат, как Мишка дает газ и тяжело трогает.

Мать долго молчит, стянув платок на глаза, загородив лицо от солнца. Наконец говорит рассеянно:

— Я тебе скажу, Тамара совершенство против твоих девок, — она старательно выговаривает «со-

вершенство» и, видно, довольна, что так складно получилось. — Да и любит тебя Тамара по-настоящему, не как эти все льстят...

Илья молчит, но матери обязательно нужно говорить. И она говорит о Тамаре, о том, что будет перекрывать летом дом, о том, чтобы попала хорошая лошадь, когда настанет ее очередь распахивать огород на усадьбе, и опять о Тамаре. Илья смотрит на часы и прибавляет шагу. Мать начинает торопиться, семенить. Мысли ее путаются.

— Ну, сынок... — говорит она и останавливается.

Илья тоже останавливается, ловит на себе выцветший, близорукий, любящий взгляд матери и начинает тереть переносицу. Рот его ведет на сторону, все в нем замирает, но он выпячивает подбородок и приподнимает брови, делая спокойное лицо.

— Дай я тебя... тебе... — говорит мать и мелко крестит его. — Иди, иди, тебе ходчее надо идти, а я еще... я тоже... пойду потихоньку.

— Я вам напишу, мамаша! — говорит Илья высоким голосом и неумело целует ее. — Не хворайте!

— Не дерись там, одевайся теплей... Может, там холодно еще, в Сибири этой, — говорит мать, стараясь не заплакать.

— Да бросьте вы, мамаша! — слишком бодро отвечает Илья. — В первый раз еду, что ли? Вы себя берегите, пишите мне, как и чего. А денег вам я пришлю с первой же получки.

Он еще раз обнимает ее, потом поворачивается и быстро идет по дороге. Он сопит, глаза ему щиплет, в горле чешется. Шагов через двести он успокаивается, дышать начинает ровней, переносицу уже не трет, и лицо его принимает то сосредоточенно-мечтательное выражение, которое держалось на нем всю последнюю неделю.

Он смотрит на легкие слоистые облака, двигает скулами, сглатывает и видит почему-то уже северный Енисей между громадами скал, сопки, тайгу, бледные электрические огни рабочих поселков при свете белой ночи.

Еще шагов через двести он оборачивается. Мать потихоньку бредет следом, держа руку козырьком. Илья останавливается, вынимает платок и машет матери. Но мать не отвечает.

«Не видит!» — растроганно думает Илья, вздыхает и идет дальше.

В то время как он идет все быстрее, все шире и решительней, мать останавливается и с радостной улыбкой машет ему рукой. Ей кажется, что сын повернулся и смотрит на нее. Она даже различает его лицо. И ей удивительно, как это она сквозь слезы все хорошо видит.

Далеко в поле катится по меже точка — бежит какая-то девчонка в сторону леса. «А ведь так вот и мать моя бегала когда-то!» — думает Илья с любовью и печалью и оглядывается. Мать уже так далеко, что нельзя понять, остановилась она или еще бредет.

Но мать все идет, все не может повернуть назад. Слезы набегают ей на глаза, и она отирает их концами косынки. Ей теперь не нужно сдерживаться, одна она в поле... «Господи! — думает она. — Не нужен им дом родной! Ездют, ездют, вся земля поднялась — время какое ноне настало! В рубашоночке... бегал босый, беленький, царица небесная! А теперь эвон — полетел!..»

Она останавливается, всхлипывает, смотрит из-под руки вдаль. Давно скрылся Илья, растворился в струистой голубизне горизонта, а матери кажется, что видит она его: повернулся он тоже, машет ей, прощается.

Она глубоко, с перерывами, вздыхает и слабо помахивает ему в ответ.

звон брегета

1

Еще далеко было до солнца, еще в темноте скрипели и пищали возы, в немногих магазинах со скроготом отворялись двери и ставни, еще безжизненно-холодны были огромные окна дворцов и особняков.

Но по темным, с редкими пятнами тускнеющих фонарей улицам торопился уж мелкий чиновный люд. В подвалах, на чердаках, в обшарпанных бедных домах загорались слабые желтые огни, и свет из окон сквозь замороженные стекла туманно падал на снег, а по лиловому небу летели первые черные галки и всё в одну сторону, всё молча. И колебался над городом — далеко и близко, явственно, густо и отдаленно, еле различимо, — колебался ровно и ритмично колокольный звон: звонили к заутрене.

Чуть ли не к десяти часам взошло, наконец, солнце, и поднималось оно медленно — свирепо-холодное, дымное, к десяти часам только засияли под ним разовым серебром купол и колонны Исаакия, замглилась тусклой иглой Петропавловская крепость, неестественно выпрямился Медный всадник, восстал Зимний дворец, и бросила на Дворцовую площадь тень свою шестерка коней на арке Главного штаба.

Солнце взошло будто затем только, чтобы взглянуть, не исчезла ли, не рассыпалась ли прахом за ночь великолепная столица. И, увидев, что не исчезла, тут же подернулось мглой облаков. Так начинался этот ослепительный с утра и тотчас померкнувший зимний петербургский день.

В день этот Лермонтов положил себе ехать к Пушкину.

Давно уж болел он смертельной тоской бесцельности жизни. Да и что было любить ему! Парады

и разводы для военных? Придворные балы и выходы для кавалеров и дам? Награды в торжественные сроки именин государя, на Новый год и на пасху, производство в гвардейских полках и пожалование девиц во фрейлины, а молодых людей в камер-юнкеры?

Мерный шаг учений, пустой пронзительный звук флейты, дробь барабанов, однообразные выкрики команды, наигранная ярость генералов, муштровка и запах лошадиного пота в манеже, холостые офицерские пирушки — это была одна жизнь.

А другая — женщины, молодые и не очень молодые, с обнаженными припудренными плечами, с запахом кремов, духов и подмышек, карточная игра, балы с их исступленной оживленностью, покупная нагло-утомительная любовь и притворно-печальные похороны — и так всю жизнь!

Одно он любил еще, мучительно и жарко, — поэзию. А в поэзии царствовал Пушкин — не тот, маленький и вертлявый, уже лысеющий Пушкин, которого можно было видеть на раутах и о жене которого последнее время дурно говорили, а другой — о котором нельзя было думать без слез.

Болезненно завидовал он людям, знакомым с ним, и краснел при одном только имени его. Он тоже мог бы познакомиться — и уж давно! — но не хотел светского пустого знакомства. Он хотел прийти к нему как поэт и не мог еще, не смел, не был уготован.

И только сегодня, наконец, какой-то вещий голос сказал ему: «Иди!» — и чувство веселости и страха охватило его. Было что-то странное в его решении, будто вдруг лопнула со звоном, распрямилась и повелительно засвистала стальная пружина — резкий, жаркий толчок ощутил он в сердце: ехать!

И он встал, хоть был болен, велел заложить лошадь, выбежал на снег, на мороз, сел и поскакал — пустился в роковой свой путь.

Встреча должна была произойти, и казалось, ничто не могло предотвратить ее, но случиться должно это было не тотчас — еще не пора было! — а потом, позже, к вечеру.

А теперь, в час пополудни, похудевший от решительности, от тайной лихорадки, сжигавшей его, с пятнами румянца на скулах, Лермонтов был в ресторации Дюме, на углу Гороховой и Морской.

2

В час пополудни приехал он туда, закиданный снегом, румяный с холоду. И едва взошел, едва разделся, как его обдало горячим запахом соусов, жаркого, вина и душистого табака. Сквозь стеклянные двери видел он великолепие зала с низкими овальными окнами, крахмальные скатерти, внушительных лакеев, блеск хрусталя, синий воздух и слышал гул говора.

— Пожалуйсте-с! Давно изволили не быть. Ваши в кабинете! — сообщил метрдотель и отечески пошел впереди Лермонтова.

Вытирая влажные брови, ресницы и усы, оправляя ментик, подрагивая ногами в синих рейтузах, бренча шпорами, Лермонтов шел за ним и только дергал головой, только мгновенно улыбался, когда его окликали. Метрдотель открыл дверь, откинул бархатную занавесь, согнулся в поклоне, и Лермонтов вошел в кабинет.

— А! Майошка! — разом вскричали гусары. — Ты ли это?

Кабинет был полон дыма и озарен блеском свечей. Здесь был Монго-Столыпин и еще два-три гусара. Все сидели с расстегнутыми воротами, все курили, у всех были раскрасневшиеся лица и блестящие глаза.

Увидев Лермонтова, красавец Монго вскочил и поцеловал его холодное лицо.

— Уже выезжаешь? — радостно спросил он. — Господа, место ему! Что будешь пить?

Все задвигались, потребовали шампанского, еще свечей и трубку. Маленький белокурый гусар с голубыми, туго выкаченными глазами кричал:

— Майошка! А мы сговариваемся ехать вечером к цыганам — нынче Стеша петь будет! Ах, прелесть! — он зажмурился и помотал головой. — Смерть моя! Едешь с нами, Майошка?

— Еду, хоть к черту! — быстро отвечал Лермонтов, принимая от Монго стакан лафита. — Если только лихорадка не уложит меня до вечера.

— Ерунда! — прохрипел мрачный черный гусар и выпустил облако дыма. — У меня тоже лихорадка, но в постель она уложит меня только с цыганкой! Ха-ха...

Тотчас все торопливо отхлебнули по глотку,

усиленно затянулись из длинных чубуков, тотчас еще ярче заблестели у всех глаза, и продолжался разговор о женщинах, который за стаканом вина в холостой компании может длиться бесконечно.

А Лермонтову после приступа первой радости стало вдруг как-то не по себе, как-то скучно и одиноко. Он вздохнул и опустил глаза.

— Что с тобой? — спросил Монго, делая серьезное лицо, заглядывая Лермонтову в глаза, но в то же время невольно слушая, что говорили гусары. — Ты еще болен?

— Нет, просто я много думал это время, — тихо сказал Лермонтов.

— Ха-ха! — сказал, прислушавшись, мрачный черный гусар. — Гусар не должен думать. Все дело в случае. А как выпадет случай, сразу сорвешь банк. И любовь — тоже случай! — сказал он уже всем. — Выпьем за случай!

— Случай? — Лермонтов обвел всех глазами. — А кто порукою, что наша воля...

— Ах, опять философия! — уныло сказал гусар с тугими глазами. — Ты делаешься несносным, Майошка! Может быть, ты уж и женщин не любишь? А?

Все захохотали, засмеялся и Лермонтов.

— Нет! С вами невозможно хоть минуту побыть серьезным, — сказал он, весело приподнимая усы и блестя зубами. — Дайте мне трубку, давно не курил... И стакан шампанского! Ах, Монго, — понижая голос, быстро добавил он, — как я рад тебя видеть, если бы ты знал! Сегодня ты мне приснился. Я потом тебе расскажу, как ты мне приснился. Вообще со мной случалось много странных вещей, и я сам не знаю, какой путь изберу — путь порока или путь глупости. И тот и другой в наш век имеют одинаковый конец! Значит, господа, едем нынче к цыганам?

Он заговорил, засмеялся, поворачивая во все стороны желтое лицо, расстегнул ворот, стал потягивать вино, стал пускать кольца голубого дыма.

Свечи трепетали, маленький камин жарко топился, трещал, и Лермонтов с больным наслаждением чувствовал этот свет и это тепло. Мигом стали ему известны все полковые новости, и что сказал позавчера великий князь, и что давали и будут

 давать в опере. Мигом включился он в этот бес-

связный разговор и начал по обыкновению своему острить и неприятно хохотать, закидывая лицо.

Вдруг он вспомнил о Пушкине и смолк на полуслове. Торопливо посмотрел в окно, вынул брегет и нажал. Брегет прозвонил два часа. Лермонтов встал.

— Куда? Куда? — закричали гусары.

— Не могу, господа, у меня нынче свидание.

— Черт! — завистливо промолвил Монго. — Новая любовь? Когда же ты успел?

— Наоборот, старая! — сказал Лермонтов. — Значит, до вечера?

Быстро, ни на кого не глядя, прошел он залом, оделся, поправил саблю и вышел к саням. Он сел, приподнялся, запахнул шинель, отвалился — напряглась, округлилась ватная спина кучера, визгнули полозья, глухо, дробно застукало впереди, — и навстречу ему полетел Петербург.

Надвинув на лоб кивер, уткнув лицо в воротник, дыша морозным ветром, помаргивая, он думал о Пушкине. Он воображал его точно таким, каким видел издали во время дежурств своих во дворце.

Горели окна, ярко сияли фонари вокруг Александрийской колонны и у подъезда. Подъезжали и подъезжали по снегу кареты, возки, вкатывались с плотным скрипом по торцовому подъему, останавливались на минуту возле дверей — новые, на рессорах, блещущие лаком, и старые, низкие, покойные... Широко распахивались двери вовнутрь, в пышущую светом и жаром глубину и высоту, проходили генералы с плюмажами, посланники, екатерининские старухи, сенаторы.

Но вот подъезжала еще карета, и камер-юнкер Пушкин — в шубе, в высоком лоснящемся цилиндре с загнутыми спереди и сзади полями — высаживал жену свою, закутанную в меха. Особенно блистательна, молода и ошеломляюще красива была в такие вечера Натали Пушкина, но почти не смотрел на нее Лермонтов, а смотрел во все глаза на маленького ловкого человека с желчным цветом лица и серыми губами.

Он воображал все это сейчас, днем, под шум города, под мягкие рывки лошади, под крики кучера, и ему делалось страшно.

А в небе было борение: серые, сумрачные облака то расходились слегка, то сходились, и город на-

полнялся по очереди то фантастически-смуглым, то буднично-зимним светом.

В половине третьего Лермонтов подъехал к дому Ростопчиной. Зачем он к ней ездил? Он и сам не знал — так, по привычке, на всякий случай... Ростопчина была стройна и молода — с обнаженными плечами, с узким лицом и серыми большими глазами, которые она царственно переводила с предмета на предмет и которые одинаково ничего не выражали ни при виде замерзшей Невы за окнами, ни при виде дворецкого, или матери, или теток, или неслышных старух-приживалок.

И только при взгляде на Лермонтова глаза эти темнели, в них появлялся трепет и разгоралось тайное сияние. А Лермонтов был в эту минуту особенно смугл, некрасив, низок, сутул и большеголов — будто нарочно выказывал все свои недостатки. Был он особенно нервен, быстр и небрежен — и не сидел на месте, а все ходил, замирая возле окон и взглядывая на Неву, все переступал своими кривыми ногами в рейтузах, прихрамывал и позвякивал шпорами.

— Вы, верно, не оправились еще от болезни и потому злы, — сказала, наконец, Ростопчина и вздохнула. — У вас припасены новые стихи? Доставьте мне удовольствие — почитайте...

Лермонтов подошел к окну и стал смотреть на Неву. Он сложил на груди руки, и плечи его приподнялись.

— Вы любите разгадывать сны, графиня... — сказал он.

— Молчите! — прервала его Ростопчина. — Что же стихи, Мишель? Вы будто нарочно заехали расстроить меня!

— Разгадайте мой сон, — настаивал Лермонтов. — Я отворил дверь и вошел в большую комнату, но за ней была другая, третья. Я шел по комнатам, каждую минуту ожидая увидеть что-то, что меня поразит, боясь увидеть и, кажется, уже нетерпеливо желая. Наконец я дошел до комнаты, в которой стоял гроб. Я увидел бабушку. Она лежала в гробу и смотрела на меня. Я подошел и заговорил с ней — уж не помню о чем, — она села, и мы обнялись. Она жадно смотрела на меня, а я целовал ей холодные руки. Она тоже стала целовать мне руку. Я почувствовал, как она старается про-

кусить мне кожу — вот здесь!.. Почему вы побледнели? — спокойно спросил вдруг Лермонтов. — Бабушка — вурдалак? Этот сон предвещает дурное?

— Я убеждена в том, что дурные сны всегда к счастью! Но обещайте мне никогда не рассказывать такие ужасные и неинтересные сны. Я вас прощаю только по одной причине.

— По какой?

— Я знаю, вы стремитесь к бедному Пушкину.

— Откуда вы знаете?

— Женщина угадывает не тогда, когда она любит, а когда ее любят.

— Вы правы, графиня. Пусть свет зол, но сегодня я счастливее, чем когда-либо! — Лермонтов притопнул ногой. — Я веселее любого пьяницы, распевающего на улице.

И он чуть не бегом пустился вниз, в швейцарскую, пахнущую кофеем и шубами.

При поворотах, на раскатах казалось ему временами, что сани застывают, хотя и заваливался вбок зад кучера, хотя храпела и мелькала ногами лошадь, хотя и неслись по сторонам дома, блистающие витрины, фронтоны с колоннами, львы, решетки, народ, сани, вывески, хотя и заводил с верхов и все понижал неудержимо, со звериным восторгом и сладострастием, свой крик его кучер: «Пади-пади-и-и!..»

— Стой! — закричал он кучеру после третьего или четвертого визита и вынул брегет. — Поворачивай на Мойку, к Певческому мосту! Пошел!

И в пять часов он подъехал к дому княгини Волконской на Мойке.

3

В пять приехал он на Мойку, в пять, жарко покраснев, будто мальчик, зацепив шпорой за полость, выскочил у ворот дома Волконской.

— Нет дома! — сказали ему, а на вопрос: «Скоро ли будет?» — отвечали: — Скоро!

Он вышел опять на мороз, вытирая лицо платком, испытывая даже некоторое облегчение от того, что еще не сейчас произойдет встреча, опять сел в сани и медленно тронулся, раздумывая, к кому бы еще заехать.

Но, перевалив Певческий мост, поворотив было

на Миллионную, он вдруг велел остановиться и ждать, а сам вылез и стал медленно ходить по Зимней канавке, выходя каждый раз на Мойку.

Думал ли он о поэзии?

Или думал о том, как поедет вечером в Павловск, как будет мчаться на тройке по пустынной дороге, а потом в красном жару свечей и лампад слушать песни цыган?

Стало темнеть, стало все блекнуть, мертветь, глохнуть — и пошел редкий, медленный пушистый снег. Лермонтов миновал Миллионную и прошел далее к Неве. Он увидел черные стены Эрмитажа, синюю прямую полосу льда и снега на Зимней канавке, уходящую под мост, на Неву, и прощальную последнюю светлоту на западе, пересеченную чернотой горбатого моста и аркой перехода в Эрмитаж.

Фонарщики уже зажигали фонари на улицах. В окнах загорались огни, и теплым и милым был их желтый свет на всем холодном и синем.

Ветер, несколько раз задувавший днем, улегся совсем. Снег падал отвесно и был так пушист и сух, что не держался на кивере, на шинели, слетал от малейшего движения.

Отовсюду слышались визг и хруст снега, храп лошадей, покрики лихачей, голоса седоков, смех женщин... Раза два Лермонтова окликнули, но он не отозвался, не поворотил головы.

Опять подошел он к Мойке и взглянул на дом Волконской. В квартире Пушкина тоже зажигали свет. Золотистое пятно свечи плавало из комнаты в комнату, из окна в окно, и они начинали светиться от разгорающихся канделябров. Но шторы тотчас задернули, окна погасли и стали отливать синим холодом.

В последний раз он вынул брегет и нажал замерзшей рукой. Брегет прозвонил шесть. В ту же минуту Лермонтов увидел черную карету, переезжавшую Певческий мост со стороны Дворцовой площади. Он вздрогнул. Это была карета барона Геккерена, он сразу узнал ее, и у него занялся дух. Мигом вспомнились ему все разговоры последних дней о предстоящей дуэли Пушкина и Дантеса.

Карета показалась ему катафалком. Он двинулся к мосту. Он пошел сперва нерешительно, затем все быстрее, путаясь в полах шинели.

 Он почти бежал, когда перешел на другую сто-

рону, и все-таки опоздал! Подъезд в подворотне был уже открыт, люди что-то проносили, что-то тяжелое, неудобное — слышалось их надсадное дыхание, слышен был слабый, прерывающийся голос, виден был колеблющийся свет изнутри. А из-за спин людей видна была еще короткий миг откинутая, пытающаяся держаться прямо, дрожащая голова Пушкина.

— Что? — как сквозь сон спросил Лермонтов у высокого военного, торопливо что-то делающего возле кареты. — Убит? Скажите, ради бога!

Секундант Пушкина Данзас ничего не ответил.

— А! — хрипло сказал Лермонтов, схватил Данзаса за отвороты шинели и потряс так, что у того покачнулась шляпа. — Убили!.. — и увидел лицо Данзаса.

Данзас плакал, тряслось все его большое тело, прыгали щеки обезображенного болью, потерявшего облик человеческий лица.

Лермонтов, хромая, пошел прочь. Не доходя до моста, он остановился, положил руки на перила и стал смотреть вниз, на лед Мойки. «Так вот оно что! — как будто произнес кто-то в нем. — Так вот оно что!»

Он пошел дальше, через мост, к лошади, скользя на ослабших ногах, глядя прямо перед собой. Один раз он упал и долго и неловко поднимался потом. Он облизывал усы — они были холодные и соленые. Обросший снегом кучер взглянул в лицо ему, торопливо свалился с саней и стал усаживать его, испуганно подтыкая тяжелую полость.

— Домой! — низко и хрипло сказал Лермонтов, откидываясь, яростно толкая ногой тяжелые холодные ножны сабли — и сани понеслись. Кажется, никогда еще не было у него такой скачки, а ему все было мало — свет Невского слепил его, он закрывал глаза и сквозь зубы злобно и жалобно вскрикивал:

— Скорей! Скорей!

А прискакав, даже не взглянул на всю в морозном дыме запаленную лошадь; тяжелым неверным быстрым шагом пройдя к себе, едва успев раздеться, он стащил ментик, дернул ворот и повалился на диван.

Зажмурившись, он молча лежал в неудобной позе, дышал редко и, не желая, все-таки воображал весь

свой сегодняшний день: ресторацию Дюме, все визиты, все залы, и лестницы, и разговоры, и смех, и улицы, и себя среди всего этого.

И опять вспомнил он Зимний дворец, дальнюю свистящую музыку, повторяющую неестественно-радостный однообразный мотив мазурки, и шумящую толпу, идущую все в одном направлении с мягким и почтительным шумом, шелестом и говором.

И среди всех, точно такой же, как и все, так же отдавший руку чему-то яркому, бледному, сверкающему, что было искусно одето во что-то светлое и пышное и что было женой его, так же шел, как шли впереди и сзади него, в глубь дворца по бесчисленным анфиладам залов — шел камер-юнкер с усталым лицом и пепельными африканскими губами.

Стихи на смерть Пушкина Лермонтов написал в ту же ночь.

А спустя полтора месяца, отсидев уже под арестом в Ордонансхаузе, допрошенный военно-судной комиссией, сосланный на Кавказ, — в новой драгунской форме, в мохнатой бараньей шапке, ехал он на перекладных.

Звенели бубенцы под дугой коренника, чернели и серели по сторонам деревни, торчали вытаявшие из-под снега голые лозины, дрожали на ветру. Дорога вспухла, снег на ней был темен и зернист, кибитка осаживалась, двигалась тяжело, медленно.

Позади оставался Петербург, совсем уже пустой без Пушкина. И было у Лермонтова смутно на душе. Он ехал далеко, ехал, чтобы через пять лет, точно так же, как и Пушкин, предсказав и описав смерть свою, быть убитым из пистолета выстрелом в сердце.

адам и ева

Художник Агеев жил в гостинице в северном городе, приехал сюда писать рыбаков. Город был широк. Широки были его площади, улицы, бульвары, и от этого казался он пустым.

Стояла осень. Над городом, над сизо-бурыми заволоченными изморосью лесами неслись с запада низкие, свисающие лохмотьями облака, по десять раз на день начинало дождить, и озеро поднималось над городом свинцовой стеной. Утром Агеев подолгу лежал, курил натощак, смотрел в окно. Струились исполосованные дождем стекла, крыши домов внизу сумрачно блестели, отражая небо. В номере тяжело пахло табаком и еще чем-то гостиничным. Голова у Агеева болела, в ушах не проходил звон, и сердце покалывало...

С детства был Агеев талантлив, и теперь, в двадцать пять лет, презрительно было его лицо, презрительны, тяжелы набрякшие коричневые веки и нижняя губа, ленив и высокомерен был взгляд темных глаз. Носил он бархатную куртку и берет, ходил сутулясь, руки в карманы, на встречных смотрел мельком, как бы не замечая их, так же посматривал на все вообще, что попадалось ему на глаза, но запоминал все с такой неистребимой яркостью, что даже в груди ломило.

Делать ему в городе было нечего, и он то присаживался к столу в номере и держался за голову, то опять ложился, дожидаясь двенадцати часов, когда внизу открывался буфет. А дождавшись, нетвердой походкой спускался по лестнице, каждый раз с ненавистью глядя на картину в холле. Картина изображала местное озеро, фиорды, неестественно лиловые скалы с неестественно оранжевой порослью низких березок на уступах. На картине тоже была осень.

В буфете Агеев брал коньяку и, сведя глаза к переносью, боясь пролить, медленно выпивал. Выпивал — и, закурив, оглядывал случившихся в буфете, нетерпеливо ждал первого горячего толчка. Знал, что тут же станет ему хорошо и он будет все любить. Жизнь, людей, город и даже дождь.

Потом выходил на улицу и бродил по городу, раздумывая, куда бы ему поехать с Викой, и что вообще делать, и как дальше жить. Часа через два он приходил в гостиницу, и уж ему хотелось спать, он ложился и засыпал. А проснувшись, снова спускался вниз, в ресторан.

День уже кончался, за окном меркло, наступал вечер, в ресторане начинал играть джаз. Приходили крашеные девочки, садились парами за столики, жадно ели воскообразные отбивные, пили вермут, пахнувший горелой пробкой, танцевали, когда приглашал кто-нибудь, и на лицах их было написано счастье и упоение роскошной жизнью. Агеев с тоской оглядывал знакомый огромный и чадный зал. Он ненавидел этих девочек, и пижонов, и скверных музыкантов, которые пронзительно дудели и стучали по барабану, и скверную еду, и здешнюю водку-сучок, которую буфетчица всегда недоливала.

В двенадцать ресторан закрывался, Агеев еле взбирался к себе на третий этаж, сопел, не попадая ключом в замочную скважину, раздевался, мычал, скрипел зубами и проваливался в черноту до следующего дня.

Так провел Агеев и этот день, а на другой, к двум часам, пошел на вокзал встречать Вику. Он пришел раньше, чем надо, глянул мельком на перрон, на пассажиров с чемоданами и пошел в буфет. А ведь когда-то у него начиналась бродяжья тоска и сердцебиение от одного вида перрона и рельсов.

Водку в буфете принесла ему высокая рыжая официантка.

— Гениальная баба! — пробормотал Агеев, восхищенно и жадно провожая ее взглядом. А когда она опять подошла, он сказал: — Хелло, старуха! Вы как раз то, что я искал всю жизнь.

Официантка равнодушно улыбалась. Это говорили ей почти все. Заходили в буфет на полчаса и бормотали что-то, по обыкновению пошлое, и уходили,

чтобы никогда уже больше не увидеть ни этой станции, ни рыжей официантки.

— Я должен вас писать, — сказал Агеев, пьянея. — Я художник.

Официантка улыбалась, переставляя рюмки на его столе. Ей было все-таки приятно.

— Слышишь, ты! Я гениальный художник, меня Европа знает, ну?

— Художники нас не рисуют, — немного не по-русски выговорила официантка.

— Откуда ты знаешь! — Агеев посмотрел на ее грудь.

— О! Им надобятся рыбаки. И рабочие, стрел... стрелочники. Или у нас ярви имеет островок и деревянная церковь. Они все едут туда, еду-ут... Москва и Ленинград. И все вот так, в беретах — да?

— Они идиоты. Так мы еще встретимся, а? — добавил он торопливо, слыша шум подходящего поезда. — Как тебя звать?

— Пожалуйста. Жанна, — сказала официантка.

— Ты что, не русская?

— Нет, я финка. Юоналайнен.

— Ух, черт! — пробормотал Агеев, допивая водку и кашляя.

Расплатившись, помяв Жанне плечо, он весело пошел на перрон. «Какая баба пропадает!» — думал он. И, прищурившись, смотрел на голубой экспресс, мелькавший вагонами уже мимо него. От напряжения, от мелькания вагонов у Агеева закружилась голова, и он отвернулся. «Не надо было пить», — рассеянно подумал он и вдруг испугался, что приезжает Вика, и закурил.

Народ шел уже с поезда на выход, Агеев вздохнул, бросил сигарету и стал искать Вику. Она первая увидала его и крикнула. Он оборотился и стал смотреть, как она подходит в черном ворсистом пальто. Пальто было расстегнуто, и коленки ее, когда она шла, толчками округляли подол платья.

Застенчиво подала она ему руку в сетчатой перчатке. Волосы ее выгорели за лето, были пострижены, спутаны и падали на лоб. Из-под волос на Агеева испуганно глядели с татарским разрезом глаза, а рот был ал, туг, губы потресканы, сухи и полуоткрыты, как у ребенка.

— Здравствуй! — слегка задыхаясь, сказала она, хотела что-то добавить, может быть заранее

приготовленное, веселое, но запнулась, так и не выговорила ничего.

Агеев поглядел почему-то на прозрачный шарфик вокруг ее шеи, лицо его стало испуганно-мальчишеским, торопливо взял он у нее из рук лакированный чемодан, и они пошли от вокзала по широкой улице.

— Ты опух как-то... Как ты живешь? — спросила она и осмотрелась. — Мне тут нравится.

— А! — горловым неприятным звуком сказал он, как всегда говорил, когда хотел выразить свое презрение к чему-нибудь.

— Ты пьян? — Она сунула руки в карманы и наклонила голову. Волосы свалились ей на лоб.

— А! — опять сказал он и покосился на нее.

Вика была очень хороша, а в одежде ее, в спутанных волосах, в манере говорить было что-то неуловимое, московское, от чего Агеев уже отвык на севере. В Москве они встречались раза два, знакомы как следует, в сущности, не были, и приезд ее и отпуск, который — Агеев знал — нелегко ей достался, ее готовность — это он тоже чувствовал — ко всему самому плохому были как-то неожиданны и странны.

«Везет мне с бабами!» — с грубо-радостным удивлением подумал Агеев и нарочно остановился, будто надеть перчатки, чтобы посмотреть на Вику сзади. Она замедлила шаги, полуобернувшись к нему, посматривая вопросительно на него и в то же время оглядывая рассеянно прохожих и витрины магазинов.

Она была хороша и сзади, и то, что она не пошла вперед, а задержалась, вопросительно взглядывая на него и этим взглядом как бы выражая уже свою зависимость от него, — все это страшно обрадовало Агеева, хотя минуту назад он испытывал стыд и неловкость оттого, что она приехала. Он понимал отдаленно, что и выпил только потому, чтобы не было так неловко.

— Я тебе привезла газеты... — сказала Вика, когда Агеев догнал ее. — Тебя ругают, знаешь? На выставке страшный шум, я ходила.

— А! — опять сказал он, испытывая в то же время глубокое удовольствие. — «Колхозницу» не сняли? — тут же с тревогой спросил он.

 — Нет, висит... — Вика засмеялась. — Никто

ничего не понимает, кричат, спорят — ребята с бородками, в джинсах, посоловели, кругами ходят...

— Тебе-то понравилась? — спросил Агеев.

Вика неопределенно улыбнулась, а Агеев вдруг разозлился, нахмурился и засопел, нижняя губа его выпятилась, темные глаза запухли, поленивели. «Напьюсь!» — решил он.

И весь день уже, как чужой, ходил с Викой по городу, зевал, на вопросы ее мычал что-то невнятное, ждал на пристани, пока она справлялась о расписании пароходов, а вечером, как ни просила его Вика, снова напился, заперся у себя в номере и, чувствуя с тонкой глубокой болью, что Вика одна у себя, что она расстроена, не знает, что делать, только курил и усмехался. И думал о рыжей Жанне.

Раза два принимался звонить телефон. Агеев знал, что это Вика, и трубку не снимал. «Иди пасись!» — злобно думал он.

На другой день Вика разбудила Агеева рано, заставила умыться и одеться, сама укладывала его рюкзак, вытаскивала из-под кровати этюдник и спиннинг, заглядывала в ящики стола, звенела пустыми бутылками и была решительна и бесстрастна. На Агеева она не обращала внимания.

«Прямо как жена!» — с изумлением думал Агеев, следя за ней. Морщась, он стал думать, как быстро приживаются женщины и как они умеют быть властными и холодными, будто сто лет с ней прожил.

Голова у него болела, он хотел спуститься в буфет, но вспомнил, что буфет закрыт еще, покашлял, покряхтел и закурил натощак. Ему было худо. Вика между тем успела расплатиться внизу и вызвала такси. «Черт с ним! — вяло думал Агеев, выходя на улицу и залезая в машину. — Пускай!» Он сел и закрыл глаза. Начинался утренний дождь, и это значило, что на весь день. Пошел даже снег. Мокрый и тяжелый, он падал быстро и темнел, едва успев коснуться мокрых крыш и тротуаров.

На пристани Агееву стало совсем плохо. Он задремал, изнемогая от тоски, не понимая, куда и зачем ему нужно ехать, слыша сквозь дрему, как свистит, погукивает ветер, шлепает о причал вода,

как возникают на высокой ноте, долго трещат и затихают потом моторки. Вика тоже погрустнела и озябла. От недавней ее решительности не осталось и следа, она сидела рядом с Агеевым, беспомощно осматривалась — поникшая, в узких коротких брюках, по-прежнему с непокрытой головой. Ветер трепал, сваливал на лоб ей волосы, и было похоже, будто она получила телеграмму и едет на похороны.

«Брючки надела, — желчно думал Агеев и закрывал глаза, стараясь поудобней приладиться у фанерной стены. — Ну куда меня черт несет? Ай-яй-яй, до чего плохо!»

Они еле дождались своего парохода, с нетерпением смотрели, как он подваливает, шипит паром, стукает, скрипит о причал, отдирая от причального бруса белую щепу.

Но и на пароходе Агееву не стало легче. Где-то внизу благодатно клокотало и бурлило, ходили в горячем масле желтые поршни, было тепло, а каюта на носу была мрачна, холодна и застарело пахла. За стеной гудел ветер, волна плескала в борт, стекло нервно звякало, пароход покачивало. За окном смутно, медленно тянулись бурые, уже сквозящие леса, деревни, потемневшие от дождей, бакены и растрепанные вешки. Агеева знобило, и он вышел из каюты.

Побродив по железному рубчатому настилу нижней палубы, он примостился возле машинного отделения, недалеко от буфета. Этот буфет тоже не открылся еще, хотя на камбузе варили уже соленую треску и оттуда вонюче пахло. Агеев забрался с ногами на теплый железный рундук, облокотился на березовые дрова с лоснящейся атласной корой и стал слушать мерные вздохи машин, шум плиц за бортом, нестройный говор пассажиров. Как всегда, те, кого недавно провожали, не затихли еще, не успокоились, горланили, острили, а в корме играли на гармошке, громко топали по железу палубы, вскрикивали: «Эх! Эх!»

У крана с кипятком заваривали чай в кружках и чайниках и пили, отламывая от батонов, сидя прямо на узлах, на чемоданах, в тепле, покойно поглядывая на озеро, по которому ветер гнал беспорядочную темную волну. Женщины разматывали

платки, причесывались, ребятишки играли уже, бегали и возились.

Желто засветились лампы в матовых колпаках, и сразу снаружи стало еще темней и холодней. Агеев лениво поводил глазами, оглядывался. Проходы были завалены мешками с картошкой, корзинами, кадками с огурцами, какими-то тюками. И народ был все местный, добирающийся до какой-нибудь Малой Губы. И разговоры были тоже местные: о скотине, о новых постановлениях, о тещах, о рыбодобыче, о леспромхозах и о погоде.

«Ничего! — думал Агеев. — Один только день, а там остров, дом какой-нибудь, тишина, одиночество... Ничего!»

Буфет, наконец, открылся, и тотчас пробралась и подошла к Агееву Вика. Она печально посмотрела на него и улыбнулась.

— Хочешь выпить, бедный? — спросила она. — Ну, иди выпей!

Агеев пошел, принес четвертинку, хлеба и огурцов. Вика тоже забралась на рундук и встретила его внимательным, тревожным взглядом. Агеев сел рядом, отколупнул пробку, выпил и захрустел огурцом, чувствуя, как отмякает у него на душе, и с некоторым оживлением поглядывая на Вику.

— Ешь! — сказал он невнятно, и Вика тоже стала есть.

— Объясни мне, что с тобой? — спросила она немного погодя.

Агеев еще выпил и подумал. Потом закурил и поглядел на Викину свешенную замшевую туфельку.

— Просто грустно, старуха, — сказал он тихо. — Просто, наверно, я бездарь и дурак. Пишу, пишу, а все говорят: не так, не то... Как это? Незрелость мировоззрения! Шаткая стезя! Чуждое народу!.. Будто за их плечами весь народ стоит, одобрительно головой кивает, а?

— Глупый! — нежно сказала Вика, вдруг засмеялась и положила ему голову на плечо.

От волос ее пахло горько и непонятно. Агеев потерся щекой о ее волосы и зажмурился.

Она вдруг стала ему близка и дорога. Он вспомнил, как в первый раз поцеловал ее в Москве, в коридоре, в гостях у приятеля-художника. Он был тогда выпивши и весел, она как-то удивлена и ти-

ха, и они долго говорили на кухне, вернее, он говорил ей, что он гений, а все подонки, а потом пошли в комнаты, и в коридоре он ее поцеловал и сказал, что страшно любит.

Она не поверила, но задохнулась, покраснела, глаза ее потемнели, губы пошершавели, она заговорила, засмеялась с девчонками, которые там были, а на него больше не посмотрела. Он тоже пристал к ребятам, стал смотреть и говорить о рисунках, и они с Викой сидели в разных комнатах.

Вика говорила, смеялась с подругами, с кем-то, кто входил и выходил, и все время чувствовала, что счастлива, потому что в другой комнате сидел в кресле и тоже говорил с кем-то он. Она после призналась ему в этом.

Да, это хорошо вдруг потом, где-то на севере, вспомнить недавний, но в то же время уже навсегда ушедший вечер. Это значит, что у них есть история. Они еще не любят друг друга по-настоящему, ничем не связаны, еще встречаются с кем-то, кто был у них раньше, еще не знали ночей, неизвестны друг другу, но у них есть уже прошлое. Это очень хорошо.

— Серьезно! — сказал Агеев. — Я тут все думал о своей жизни. Знаешь, паршиво мне было без тебя тут, дождь льет, идти некуда, сидишь в номере или в ресторане пьяный, думаешь... Устал я. Студентом был, думал — все переверну, всех убью картинами, путешествовать стану, жить в скалах. Этакий, знаешь, бродяга Гоген. А как до диплома дошло, так и понеслось: и такой, и сякой, подлец! Как накинулись учить, собаки, так и не отстают. Чем дальше, тем хуже. Ты и абстракционист, и неореалист, и формалист, и шатания у тебя всякие... Ну-ка, погоди!

Он отодвинулся слегка от Вики и еще выпил. Голова болеть перестала, хотелось говорить, и думать, и сидеть так долго, потому что рядом сидела Вика и слушала. Агеев сбоку глянул ей в лицо — оно было оживленно и серьезно, глаза под пологом ресниц были длинны и черны. Агеев присмотрелся — они были все-таки черны, а губы шершавы, и у Агеева забилось сердце. А Вика совсем забралась с ногами на рундук, расстегнула пальто, оперлась подбородком на колени и стала снизу смотреть в лицо Агееву.

— Лицо у тебя плохое, — сказала она и потро-

гала его за подбородок. — Не брит, почернел весь.

— Занюханный я какой-то, — усмехнулся он и загляделся на озеро. — Все думаю о Ван-Гоге и о себе... Неужели же и мне надо подохнуть, чтобы обо мне заговорили серьезно? Неужели мой цвет, мой рисунок, мои люди хуже, чем у этих академиков. Надоело!

— Академики тебя не признáют, — быстро, как бы между прочим, сказала Вика.

— Ну?

— Так... Я знаю. Потому что признать тебя — значит признать, что сами они всю жизнь делали не то.

— А! — Агеев помолчал и стал закуривать. Он долго курил, глядя себе под ноги, растирая желтое лицо. Щетина трещала у него под пальцами. — Три года! — сказал он. — Иллюстрации беру, чтоб денег заработать. Три года как кончил институт, и всякие подонки завидуют: ах, слава, ах, Европа знает... Идиоты! Чему завидовать? Что я над каждой картиной... Что у меня мастерской до сих пор нет? Пишешь весну — говорят: не та весна! Биологическая, видишь ли, получается весна. А? На выставку не попадешь, комиссии заедают, а прорвался чем-то не главным — еще хуже. Критики! Кричат о современности, а современность понимают гнусно. И как врут, какая демагогия за верными словами!

— И ни одного верного слова о тебе не было? — задумчиво спросила Вика, отломила березовую щепку и стала грызть.

— Ты! — Агеев побледнел. — Студенточка! Ты еще в стороне, ты с ними не сталкивалась, книжечка, диамат, практика... А они, когда говорят «человек», то непременно с большой буквы. Ихнему проясненному взору представляется непременно весь человек — страна, тысячелетия, космос! Об одном человеке они не думают, им подавай миллионы. За миллионы прячутся, а мы, те, кто что-то делает, мы для них пижоны... Духовные стиляги — вот кто мы! Геро-оика! — противно произнес Агеев и засмеялся. — Ма-ассы! Вот они, массы. — Агеев кивнул на пассажиров. — А я их люблю, мне противно над ними слюни пускать восторженные. Я их во плоти люблю — их руки, их глаза, понятно? Потому что они землю на себе держат. В этом вся штука.

Если каждый хорош, тогда и общество хорошо, это я тебе говорю! Я об этом день и ночь думаю, мне плохо, заказов нет, денег нет, черт с ними, неважно, но я все равно прав, и пусть не учат меня. Меня жизнь учит — и насчет оптимизма и веры в будущее и вот в эти самые массы я всем критикам сто очков вперед дам!

Агеев засопел, ноздри у него раздувались, глаза помутились.

— Не надо бы тебе пить... — тихо сказала Вика, жалобно глядя на него снизу вверх.

— Погоди! — сипло попросил Агеев. — Что-то у меня... астма, что ли? До конца не вздохнуть никак.

Он раскурил погасший окурок, но, затянувшись, закашлялся, бросил окурок и, спустив ногу, растоптал его. Поглядел на Вику, поморщился.

— Пусти-ка, пойду спать! — Он злобно прищурился, слез с рундука и пошел в каюту.

Пока они говорили, на пароходе включили отопление, в каюте стало тепло, окно запотело. Агеев сел к окну, протер стекло рукавом, левое веко у него стало прыгать. Спасение его было сейчас в Вике, и он знал это. Но что-то в ней приводило его в бешенство. Приехала... Свежая, красивая, влюбленная — ах, черт! Зачем, зачем обязательно что-то доказывать? И кому — ей! А у нее небось ноги отнимались, к сердцу подкатывало, когда ехала — думала о первой ночи, о нем, прижаться к нему хотелось, к черту пьяному. Ай-яй-яй! И было бы, было — если бы сразу согласилась с ним, сказала бы: «Да! Ты прав!» С ума бы сошел, увез бы в фиорды, в избушку, у окошка бы посадил, а сам с холстом. Личико крохотное, глаза длинные, волосы выгоревшие, кулачком подперлась... Может, в жизни бы лучше ничего не написал! Ай-яй-яй!..

Он стал раздеваться, и ему стало до слез жалко себя и одиноко. «Ну ничего! — подумал он. — Ничего! Не впервые!» И даже передергивало всего, когда вспоминал, что наговорил ей. Молчать нужно, дело делать!

Раздевшись, залез на верхнюю полку, отвернулся к стене и долго ерзал по глянцевитой наволочке, стараясь лечь поудобней, но все никак не мог.

К острову пароход подходил вечером. Глухо и отдаленно сгорела кроткая заря, стало смеркаться,

пароход шел бесчисленными шхерами. Уже видна была темная многошатровая церковь, и пока пароход подходил к острову, церковь перекатывалась по горизонту то направо, то налево, а однажды оказалась даже сзади.

У Вики было упрямое, обиженное лицо. Агеев посвистывал и безразлично смотрел по сторонам на плоские островки, на деревни и с некоторым интересом рассматривал великолепные, похожие на варяжские ладьи лодки.

Когда совсем подошли к острову, стали видны ветряная мельница, прекрасная старинная изба, амбарные постройки — все пустое, неподвижное, музейное. Агеев усмехнулся.

— Как раз для меня, — пробормотал он и поглядел на Вику с веселой злостью. — Как раз, так сказать, на передний край семилетки, а?

Вика промолчала. Лицо у нее теперь было обтянутое, и будто она приехала сюда сама по себе, будто все это давно предполагалось и так и должно было быть.

Никто не сошел на этом островке, кроме них двоих. И никого не было на деревянной открытой пристани, одна сторожиха с зажженным фонарем, хоть было еще светло.

— Ну вот. Теперь мы с тобой как Адам и Ева,— опять усмехнулся Агеев, ступая на сырую дощатую пристань.

И опять Вика ничего не сказала в ответ.

На берегу показалась женщина в ватнике и сапогах, она еще издали заулыбалась.

— Только двое? — весело крикнула она и заспешила навстречу, переводя взгляд с Агеева на Вику. А когда подошла, взяла чемодан у Вики и заговорила — показалось, что она давно ждала их. — Вот и слава богу, — быстро и ласково говорила она, поднимаясь вверх по берегу. — А я уж думала, никого в этом году не будет, все кончилось. Зимовать собралась. А вот и вы. Пойдемте в нашу гостиницу.

— В гостиницу? — спросил Агеев неприятным своим голосом.

Хозяйка засмеялась.

— Вот и все удивляются, а я уж второй год тут живу. Мужик был, да помер, одна теперь. Гостини-

ца! Для экскурсантов, художников. Тут их много летом наезжает, живут себе, рисуют.

Агеев вспомнил свою гостиничную тоску, вздохнул, сморщился. Он хотел пожить в избе, в домишке каком-нибудь, где пахло бы коровой, сенями, чердаком.

Но гостиница оказалась уютной. Была печка на кухне, были три комнаты — все пустые, и была еще одна странная комната: резные в древнерусском стиле колонки посредине, поддерживающие потолок, и большие современные окна во всю стену до полу, на три стороны — как бы стеклянный холл.

Во всех комнатах стояли пустые кровати с голыми сетками и голые шершавые тумбочки.

Агеев и Вика поселились в комнате с печкой, окном на юг. На стенах висели акварели в рамках. Агеев глянул и повел губой. Акварели были ученические, старательные, на всех написаны были церковь или мельница.

Хозяйка начала носить в комнату простыни, подушки, наволочки, и хорошо запахло чистым бельем.

— Вот и живите! — с удовольствием говорила она. — Вот и хорошо! Надолго ли приехали? А то скучно. Летом хорошо, художники веселые, а теперь одна, считай, на всем острове.

— А как тут питаться? — спросила Вика.

— Не пропадете! — радостно отозвалась хозяйка откуда-то из коридора. — На другом конце острова у нас деревня, там молока или чего... А то магазин еще на Пог-Острове, на лодке можно. Вы откуда же, из Ленинграда?

— Нет, из Москвы, — сказала Вика.

— Ну и хорошо, а то у нас все ленинградцы. Дрова у меня есть, чурки, обрезки, этим летом церкву реставрировали, так много материалу осталось. И ключи у меня от церквы, когда захотите, скажете, я отомкну.

Хозяйка ушла, а Вика со счастливой усталостью повалилась на кровать.

— Нет, я не могу! — сказала она. — Это гениально! Милый ты мой Адам, это просто гениально! Ты любишь жареную картошку?

Агеев хмыкнул, повел губой и вышел. Он потихоньку обошел вокруг погоста, окружавшего церковь. Совсем стемнело, и, когда Агеев шел с восточ-

ной стороны, церковь великолепным силуэтом возвышалась над ним, светясь промежутками между луковицами куполов и пролетами колокольни. Однообразно, равномерно потрюкивали две птицы в разных местах. Пахло сильно травой и осенним холодом.

«Ну, вот и конец света!» — подумал Агеев, пройдя мимо церкви по берегу озера. Потом спустился на пристань, присел на сваю и стал смотреть на запад. Метрах в двухстах от этого был еще остров — низкий, поросший ивовыми кустами и совершенно пустой. А за ним еще остров, и там, видимо, была деревня: сквозь кусты просвечивал далекий случайный огонек. Немного погодя в той стороне возник высокий, напряженный звук моторки, долго не утихал и оборвался внезапно, несколько раз хлопнув.

Агееву было одиноко, но он сидел и сидел, покуривая, привыкая к тишине, к чистому запаху осенней свежести и воды, думая о себе, о своих картинах, о том, что он мессия, великий художник и что он сидит в одиночестве черт знает где, в то время как разные критики живут в Москве на улице Горького, сидят сейчас с девочками в ресторанах, пьют коньяк, едят цыплят-табака́ и, вытирая масляннистые рты, говорят разные красивые и высокие слова, и все у них лживо, потому что думают они не о высоком, а как бы поспать с этими девочками. А утром эти критики, перешибая похмелье кофеем и сердечными каплями, пишут про него статьи и опять врут, потому что никто не верит в то, что пишет, а думает только, сколько он за это получит, и никто из них никогда не сидел вот так в одиночестве на сырой свае и не смотрел на пустой темный остров, готовясь к творческому подвигу.

От этих мыслей Агееву становилось горько и приятно, в них была какая-то едкая сладость, и он любил так думать и думал часто.

То он принимался вдруг мысленно напевать неизвестно почему пришедший ему на память романс старухи графини из «Пиковой дамы». И эта мертвенная музыка, как он слышал ее где-то глубоко со всем оркестром, с мрачным тембром кларнетов и фаготов и томительными паузами, — музыка эта начинала ужасать его, потому что это была смерть.

То ему вдруг остро до боли, как воздуха, захотелось услышать запах чая — не заваренного, не

в стакане, а запах сухого чая. Ему тотчас вспомнилась, пришла из детства и чайница из матового стекла с трогательным пейзажиком вокруг, как он мечтал пожить в домике с красной крышей и как открывала и сыпала туда мать с тихим шуршанием чай, как пахло тогда и как опалово-мутная чайница наполнялась темным.

Тотчас вспомнил он и мать, ее к нему любовь, всю жизнь ее как бы в нем, для него. И себя самого — такого быстрого, подвижного, с такими приступами беспричинной радости и живости, что даже не верилось теперь, что он мог быть когда-то таким.

И с запоздалой болью он думал о том, как часто был груб с матерью, невнимателен, нечуток к ней, как часто не хотел слушать ее рассказы о детстве, о каком-то давно прошедшем, исчезнувшем времени, пока можно было слушать. Как часто в ребяческой эгоистичности не мог понять и оценить той постоянной любви, какой уж не испытал он ни от кого потом никогда в жизни.

А вспомнив все это, он тотчас усомнился в себе и подумал, что, может быть, и правы все его критики, а он не прав и делает вовсе не то, что нужно. Он думал, что всю жизнь не хватало, наверное, ему какой-то основной идеи — идеи в высшем смысле. Что слишком часто он был равнодушен, вял и высокомерен в своей талантливости ко всему, что не было его жизнью и его талантом. И это в такое-то время!

С бессильным ожесточением вспоминал он все свои споры еще со студенчества — с художниками, с искусствоведами, со всеми, кто не принимал его картин, его рисунка, его цвета. Он думал теперь, что потому не может убедить их, разбить и доказать свое мессианство, что не одухотворен идеей. И какой же пророк без идеи?

Так он долго сидел и слышал, как Вика вышла из дому, прошла немного к берегу по деревянным мосткам, постояла, осматриваясь, тихо позвала его. Он не отозвался и не шевельнулся. А ведь он уже любил ее, у него сердце билось, когда он думал о ней! Он и она, как Адам и Ева, на темном пустом острове, наедине со звездами и водой — и не просто же она приехала, и как, наверно, тосковала одна в номере гостиницы, когда он напился и ушел, бросил ее!

Горькая отчужденность, отрешенность от мира сошла на него, и он не хотел ничего и никого знать. Он вспомнил, что больные звери скрываются, забиваются в недоступную глушь и там лечатся какой-то таинственной травой или умирают. Он пожалел, что теперь осень и холодно, что он в сапогах, в свитере, а то найти бы уголок на этом или на другом острове, где скалы, и песочек, и прозрачная вода, лежать бы целыми днями на солнце и ни о чем не думать. И ходить босиком. И ловить рыбу. И смотреть на закаты. Он почувствовал, что безмерно устал — устал от себя, от мыслей, от разъедающих душу сомнений, от пьянства — и что совсем болен.

«На юг бы мне, на юг, к морю...» — тоскливо подумал он и встал. Сойдя с пристани, отвернувшись от озера, он опять увидал древнюю большую церковь и маленькую гостиницу, приютившуюся подле. В гостинице хорошо светились окна, тогда как церковь была темна, замкнута и чужда ему. Но что-то в церкви этой было властное, вызывающее мысли о гениальном народе, об истории — и еще о покое, уединении.

— Сег-Погост, — вспомнил Агеев название острова и церкви. — Сег-Погост!

Он поднялся к дому, взошел на крыльцо и еще постоял, оглядываясь, стараясь угадать во тьме то, что столько веков жило без него своей жизнью — настоящей жизнью земли, воды и людей. Но ничего не мог разглядеть, кроме тусклого сияния массы воды вокруг, кроме редких космически светящихся клоков неба в разрывах облаков. Тогда он вошел в дом.

Комната была озарена керосиновой лампой. Гудела, трещала печка, пахло жареной картошкой. Раскрасневшаяся Вика хозяйничала, комната приобрела милый, обжитой вид: во всем — в кофточках, в платьях, повешенных и брошенных на кровать, в черных перчатках на тумбочке, в пудренице с молнией — во всем чувствовалось присутствие молодой женщины, и пахло духами.

— Где ты был? — протяжно спросила Вика и подрожала бровью. — Я тебя искала.

Агеев промолчал и пошел на кухню мыться. На кухне он некоторое время разглядывал в зеркальце свою щетину, подумал и бриться не стал, умылся только, с удовольствием звякая умывальни-

ком, вытерся мохнатым теплым полотенцем, вернулся в комнату, лег на кровать, положил ноги в сапогах на спинку, потянулся и закурил.

— Садись есть, — сказала Вика.

Ели молча. Видно было, что Вике здесь страшно нравится, и только одно было неприятное — Агеев. На печке шумел, посвистывал чайник.

— У тебя большой отпуск? — спросил вдруг Агеев.

— Десять дней, — сказала Вика и вздохнула. — А что?

— Так...

«Три дня уже прошло», — подумал Агеев.

И снова надолго замолчали. Напившись чаю, стали ложиться. Вика горячо покраснела и отчаянно посмотрела на Агеева. Он отвел глаза и нахмурился. Потом встал, закурил и подошел к окну. Он тоже покраснел и рад был, что Вика не видит. Сзади что-то шелестело, шуршало, наконец, Вика не выдержала и попросила умоляюще:

— Погаси свет!

Не взглянув на нее, Агеев задул лампу, быстро разделся, лег на свою кровать и отвернулся к стене. «Попробуй приди!» — думал он. Но Вика не пришла, она легла и замерла, даже дыхания не стало слышно.

Прошло минут двадцать, а они не спали, и оба это знали. В комнате было темно, в окно виднелось черное небо. Стал задувать ветер за стеной. Вдруг занавеска на окне осветилась на короткое мгновение. Агеев подумал было, что кто-то снаружи провел по стене дома, по занавеске лучом фонарика, но еще через три-четыре секунды мягко заворчал гром.

— Гроза! — тихо сказала Вика, села и стала смотреть в темное окно. — Осенняя гроза.

Опять мигнуло и заворчало, потом ветер улегся, и тут же пошел сильный дождь, и в водосточной трубе загудело.

— Дождь, — сказала Вика. — Я люблю дождь. Я люблю думать, когда дождь.

— Ты можешь помолчать? — Агеев закурил и поморгал: глазам было горячо.

— А знаешь что? Я уеду, — сказала Вика, и Агеев почувствовал, как она ненавидит его. — С первым же пароходом уеду. Ты просто эгоист. Я эти два дня все думала: кто же ты? Кто? И что это

у тебя? А теперь знаю: эгоист. Говоришь о народе, об искусстве, а думаешь о себе — ни о ком, ни о ком, о себе... Никто тебе не нужен. Противно! Зачем ты меня звал, зачем? Знаю теперь: поддакивать тебе, гладить тебя, да? Ну нет, милый, поищи другую дуру. Мне и сейчас стыдно, как я бегала в деканат, как врала: папа болен...

Вика громко задышала.

— Замолчи, дура! — сказал Агеев с тоской, понимая, что все кончилось. — И пошла вон, и уезжай, катись отсюда!

Агеев поднялся, подсел к окну, уперся локтями в тумбочку. Дождь еще шел, под окном было что-то большое, темное, дрожащее, и Агеев долго вглядывался и соображал, пока не понял, что это лужа. Ему хотелось заплакать, поморгать, вытереть слезы рукавом, как в детстве, но плакать он давно не мог.

Вика легла, уткнулась в подушку, всхлипывала и задыхалась, а Агеев сидел не шевелясь, разминая, кроша в пепельнице окурки и спички. Сначала ему все было омерзительно и равнодушно. Его даже ломать начало от отвращения. Теперь это прошло, он как бы вознесся куда-то, отрешился от всего мелкого, и ему стало всех жалко, он стал тихий и грустный, потому что чувствовал непреоборимость всей людской массы. И все-таки в душе у него, очень глубоко, все кипело, было горячо и больно, и он не мог молчать, не мог снисходительно улыбаться или отделаться своим противным «А!» — он должен был сказать что-то.

Но он ничего не сказал, он подумал, хотя, в сущности, ничего не думал, а просто побыл в тишине, поглядывая за окно на темную дрожащую лужу. В нем пело и звенело что-то, как во время болезни, при температуре, он увидел перед собой бесчисленную вереницу зрителей, которые молча шли по залам и на лицах которых было написано что-то загадочное, что-то неуловимое и скорбное. Он еще остановился внутренним взглядом на этом, на скорбности, и подумал: «Почему скорбное, что-то я не так думаю», но тотчас отвлекся и стал думать о высшем, о самом высшем, о высочайшем, как ему казалось.

Он думал, что все равно будет делать то, что должен делать. И что его никто не остановит. И что это ему потом зачтется.

Он встал, не одеваясь, с набухшими на висках жилами, вышел на крыльцо. На крыльце он стоял и плевался, почему-то был полон рот сладкой слюны, она все собиралась во рту, и он плевался, а в горле стоял комок и душил его.

— Все кончено! — тихо бормотал он. — К чертовой матери! Все кончено!..

Весь следующий день Агеев провалялся, отвернувшись к стене. Он засыпал, просыпался, слышал, как ходила по комнате и вокруг дома Вика. Она звала его завтракать, обедать, но он лежал, злобно сжав зубы и не открывая глаз, пока не засыпал опять в каком-то отупении.

Но к вечеру стало уже невозможно лежать, заныло тело, и он поднялся. Вики не было, и Агеев пошел к хозяйке.

— Дай-ка, тетя, мне ключ от лодки, — попросил он. — В магазин надо сплавать за папиросами...

Хозяйка дала ему ключ, сказала, где взять весла, и показала, куда плыть.

Навстречу Агееву дул ветер, весла были тяжелые, неудобные, тяжелой была и лодка, такая красивая с виду, и Агеев успел стереть себе ладони, пока добрался до другого острова.

Он купил папирос, бутылку водки и закуски и пошел назад к мосткам. Он шел уже влажным лугом, когда догнал его приземистый кривоногий рыбак в зимней шапке, с красным лицом.

— Здорово, браток! — сказал рыбак, поравнявшись и оглядывая Агеева. — Художник? С Сег-Погоста?

Обеими руками рыбак осторожно нес газетные кульки, из карманов телогрейки торчало у него по бутылке водки.

— А мы сегодня гуляем! После бани, — радостно сообщил он, будто давний знакомый. — Выпьем на дорогу?

Рыбак косолапо перешагнул в свою лодку с ярко-зеленой крышкой подвесного мотора, положил там кульки, вынул бутылки, которых у него оказалось четыре — две были в карманах брюк,—три положил осторожно в нос на брезент; одну тут же открыл, нашел, пошарив, баночку, сполоснул ее за бортом и налил Агееву. Агеев тут же выпил и стал заку-

сывать печеньем. Рыбак налил себе и вылез на мостки.

— Будем знакомы! — весело сказал он. — Давно тут?

— Вчера приехал, — сказал Агеев, с наслаждением разглядывая рыбака.

— Церкву рисовать? — спросил рыбак и подмигнул.

— Чего придется.

— А то приезжай к нам в бригаду, — предложил рыбак, быстро хмелея. — Баба у тебя есть? Бабы у нас... — рыбак растопырил руки, — во! Понял? Всех перерисуешь, понял?

Он шагнул опять в лодку, достал недопитую бутылку, снова налил Агееву.

— Допьем?

— Да у меня своя есть, — сказал Агеев и достал тоже бутылку.

— Твою будем пить, когда приедешь, — сказал рыбак. — К нам недалече, ты только скажи, мы за тобой на моторке придем, мы художников любим, ребята ничего. У нас один профессор ленинградский жил, говорил, в жизни, говорит, таких людей, как у вас, нету! — Рыбак захохотал. — Мы тебя ухой кормить будем. Сиг рыба, знаешь? У нас весело, девки как загогочут, так на всю ночь, весело живем!

— А вы где ловите-то? — спросил Агеев, улыбаясь.

— Ловим на Кижме-Острове, да ты не боись, мы за тобой сами придем. А так, коли сам надумаешь, так спроси степановскую бригаду, это я, Степанов-то, понял? Как из салмы выйдешь, налево забирай, мимо маяка, увидишь остров, к нему и правь. А там скажут.

— Обязательно приеду! — радостно сказал Агеев.

— Во-во! Валяй! Ты меня уважаешь? По человечеству! А? Ну и все! И все... Договорились? И все! Прощай покуда, побегу, ребята дожидают...

Он перелез в свою лодку, отвязал ее, оттолкнулся, завел мотор. Мотор тонко зажужжал, рыбак кинулся в нос, но нос все равно задрался. Шпагатом, привязанным к румпелю, рыбак выправил лодку на глубокое и полетел, оставляя за собой белопенную дугу на воде.

Посмеиваясь, Агеев сел в свою лодку и тронулся обратно. Теперь он сидел лицом к закату и невольно приостанавливался, отдыхал, рассматривал краски на воде и в небе. На полпути к Сег-Погосту был маленький островок, и, когда Агеев обогнул его, ветер улегся и вода приняла вид тяжелого неподвижного золота.

В полной тишине, в безветрии Агеев положил весла и оглянулся на церковь. С востока почти черной стеной встала дождевая туча, с запада солнце лило свой последний свет, и все освещенное им — остров, церковь, старинная изба, мельница — казалось по сравнению с тучей особенно зловеще красным. Далеко на горизонте, откуда шла туча, темными лохмами повисал дождь, и там траурно светилась огромная радуга.

Агеев поудобнее устроился в лодке, еще выпил, и, закусывая, смотрел на церковь. Солнце садилось, туча надвигалась, почти все было закрыто ею, дождь приблизился и шел уже над Сег-Погостом. Лодка едва заметно подвигалась по течению.

Но вокруг Агеева еще было все тихо и неподвижно, а на западе горело небо, широкой полосой туманной красноты раскинувшееся вокруг заходящего солнца.

Агеев рассматривал церковь, и ему хотелось рисовать. Он думал, что, конечно, ей не триста лет, а неизмеримо больше, что она так же стара, как земля, как камни. И еще у него из головы не выходил веселый рыбак, и его тоже хотелось Агееву рисовать.

Когда же он повернулся к западу, солнце уже село. Пошел, наконец, дождь, Агеев натянул на голову капюшон и взялся за весла. Дождь почему-то принялся теплый, крупный, веселый, и сильно играла рыба, пока Агеев греб.

Подойдя на всем ходу к пристани, Агеев увидал Вику. Она неподвижно стояла под дождем в накинутом прозрачном плаще и смотрела, как Агеев зачаливает и замыкает на замок лодку, как берет весла и сумку с покупками, как сует в карман початую бутылку.

«Смотри, смотри!» — весело думал Агеев, молча направляясь к гостинице.

Вика осталась на пристани. Она не оглянулась на Агеева, смотрела на озеро, на закат под дождем.

Войдя в теплую комнату, Агеев увидал, что вещи Вики убраны и у порога стоит чемодан. «А-а!» — сказал Агеев и лег на кровать. По крыше шумел дождь. Агееву было приятно и равнодушно после выпивки, он закрыл глаза и задремал. Очнулся он скоро, еще не стемнело, но дождь кончился, небо очистилось и холодно, высоко сияло.

Агеев позевал и пошел к хозяйке. Взяв у нее ключи от церкви, он вошел за деревянную стену, окружавшую погост, прошел между старыми могилами, отпер дверь колокольни и стал подниматься по темной, узкой, скрипучей лестнице.

Пахло галочьим пометом и сухим деревом, было темно, но тем выше, тем становилось светлее и воздух чище. Наконец Агеев выбрался на площадку колокольни. Сердце его слегка замирало, ноги ослабли от ощущения высоты.

Сперва он увидал небо в пролеты, когда выбирался из люка на площадку, — небо наверху с редкими пушистыми облачками, с первыми крупными звездами, со светом в глубине, с синими лучами давно затаившегося солнца.

Когда же он взглянул вниз, то увидел другое небо, такое же громадное и светлое, как верхнее: неизмеримая масса воды вокруг, до самого горизонта, во все стороны, сияла отраженным светом, и островки на ней были как облака.

Агеев как сел на перила, обхватив рукой столбик, так больше и не шевельнулся до темноты, пока не выступило во всей своей жемчужности созвездие Кассиопеи, а потом, уже спустившись, долго ходил вокруг церкви по дорожке, поглядывая на нее так и сяк, и вздыхал.

Когда он пришел домой, опять трещала печка, Вика готовила ужин, но была тиха и далека уже от него.

— Скоро пароход придет? — спросил Агеев. — Ты узнавала?

— В одиннадцать, кажется, — помолчав, сказала Вика.

У Агеева дрогнуло в душе, сдвинулось, он хотел что-то сказать, спросить, но промолчал, вытащил из-под кровати этюдник и стал раскладывать по подоконнику и по кровати картон, тюбики с красками, бутылочки со скипидаром, стал перебирать кисти,

сколачивать подрамники. Вика поглядывала на него с изумлением.

Ужинать сели молча, как в первый раз, посмотрели друг другу в глаза. Агеев увидел Викины сухие губы, лицо ее, вдруг такое дорогое, у него опять дрогнуло сердце, и он понял, что пришла пора прощаться.

Он достал из-под кровати водку, налил себе и Вике.

— Ну что ж... — сказал он хрипло и покашлял. — Выпьем на разлуку!

Вика не стала пить, поставила стопку на стол, откинулась и так, откинувшись, из-под полуопущенных век посмотрела на Агеева. Лицо ее дрожало, билась какая-то жилка на шее, губы шевелились, Агеев даже смотреть не мог на это. Ему стало жарко. Он встал, открыл окно, выглянул наружу, подышал ночным крепким воздухом.

— Дождя нет, — сказал он, вернувшись к столу, и еще выпил. — Нету дождя.

— Тебе денег не надо? — спросила Вика. — У меня есть лишние. Я ведь много взяла, думала...— Вика покусала губы, жалко улыбнулась.

— Нет, не надо, — сказал Агеев. — Я теперь пить брошу.

— И все-таки ты не прав, — горько сказала Вика. — Ты просто болен. Брось пить, и все станет хорошо.

— Ну? — Агеев усмехнулся. — И сразу персональная выставка, да? Привет! — сказал он и еще выпил. — И конъюнктурщики сразу поймут, что они не художники, да?

— Где ты был вечером? — спросила Вика, помолчав.

— Там... — неопределенно махнул рукой Агеев. — Наверху. У бога.

— Ты не скоро приедешь в Москву? — опять спросила Вика, глядя на разбросанные по комнате краски, кисти и подрамники.

Агеев потянулся, зевнул, лег и закурил. Грудь его дышала свободно, в пальцах покалывало, как всегда, когда ему хотелось работать.

— Да нет, — сказал он, воображая рыбачек, с которыми познакомился, их ноги, их груди. И глаза. И как они работают, как стискивают зубы, когда красными руками тащат сети. — Через месяц,

наверно. Или того позже. Попишу тут рыбаков. И воду. — Он помолчал. — И небо. Вот так, старуха!

Вика вышла послушать, не подходит ли пароход.

— Нет, еще рано, — сказала она, вернувшись, и стала смотреться в зеркало. Подумав, она достала из чемодана косынку, покрыла голову и завязала под подбородком. Потом села и сжала руки в коленях. Она сидела и молчала, низко опустив голову, будто на вокзале, будто Агеев был ей не знаком, — мысли ее были где-то далеко. Косыночка ее была прозрачна, сквозь нее золотисто проступали волосы. Агеев лежал, скосив глаза, с любопытством разглядывал ее, нервно покуривал.

— Нет, не могу больше, — сказала Вика и вздохнула. — Пойду на пристань.

Она встала, еще раз вздохнула, посмотрела несколько секунд пристально, не мигая, на лампу, потом надела пальто. Агеев скинул ноги с постели и сел.

— Ну что ж, — сказал он. — Гуд бай, старуха! Проводить тебя, что ли?..

Вика пошла к хозяйке за паспортом. Агеев торопливо выпил, пофукал, сморщился и стал одеваться, рассматривая вздрагивающие свои руки, слушая, как Вика разговаривает с хозяйкой за стеной. Потом взял чемодан и вышел на крыльцо. Крыльцо, перила, доски, проложенные к пристани, были еще сыры от недавнего дождя. Агеев подождал, пока выйдет Вика, и пошел с крыльца. Вика, постукивая туфельками, шла за ним по мосткам.

Придя на пристань, Агеев поставил чемодан, Вика тотчас присела на него, сжалась в комочек, замерла. Агеев зябко передернулся и поднял воротник. В мертвой неестественной тишине ночи послышался вдруг бодрый высокий звук самолета. Он приближался, рос, усиливался, но в то же время становился все ниже, ниже по тону, все бархатистее, придушенней — как будто кто-то вел беспрерывно смычком по струне контрабаса, постепенно спуская колок, пока, наконец, не стал, удаляясь, звучать низкий, утробный шорох.

Опять настала немая тишина, Агеев потоптался возле Вики, потом отошел, поднялся на берег. Он постоял, прошел немного к южному концу острова и огляделся.

Горели над головой звезды, и на воде — всюду в шхерах светились красные и белые огоньки, помаргивали на бакенах, мигалках и створных знаках.

Внезапно по небу промчался как бы вздох — звезды дрогнули, затрепетали. Небо почернело, затем снова дрогнуло и поднялось, наливаясь голубым трепетным светом. Агеев повернулся к северу и сразу увидал источник света. Из-за церкви, из-за немой ее черноты, расходясь лучами, колыхалось, сжималось и распухало слабое голубовато-золотистое северное сияние. И когда оно разгоралось, все начинало светиться: вода, берег, камни, мокрая трава, а церковь проступала твердым силуэтом. Оно гасло — и все сжималось, становилось невнятным и пропадало во тьме.

Земля поворачивалась. Агеев вдруг ногами, сердцем почувствовал, как она поворачивалась, как она летела вместе с озерами, с городами, с людьми, с их надеждами — поворачивалась и летела, окруженная сиянием, в страшную бесконечность. И на этой земле, на острове под ночным немым светом был он, и от него уезжала она. От Адама уходила Ева, и это должно было случиться не когда-нибудь, а сейчас. И это было как смерть, к которой можно относиться насмешливо, когда она далеко, и о которой невыносимо даже помыслить, когда она рядом.

Он не мог этого перенести и быстро пошел на пристань, чувствуя, как от мокрой травы намокают сапоги, не видя ничего в темноте, но зная, что они теперь черны и блестят.

Когда Агеев пришел на пристань, на столбике горел уже керосиновый фонарь, внизу на ступеньках стояла и зевала сторожиха, а из-за бугра на севере выставлялся новый луч света, тоже дрожащий, но теплее по тону. Луч этот подвигался, слышен был частый стукоток плиц, и вдруг высоко, звонко раскатился гудок парохода и долго отдавался от других островов.

— Ты видел северное сияние? Это оно, да? — быстро вполголоса спросила Вика. Она была возбуждена и не сидела уже на чемодане, а стояла возле перил.

— Видел, — сказал Агеев и покашлял.

Пароход выкатился из-за берега и стал слышнее. На носу его ярко посверкивала звездочка прожектора. Свет его доносило уже до пристани. Забле-

стела сырость на досках. Пароход застопорил машину и подвигался к пристани по инерции. Сторожиха, прикрыв рукой глаза от яркого света, что-то выглядывала на пароходе. Агеев повернулся к свету спиной и увидел, как луч прожектора дымно дрожит на прекрасной старой музейной избе.

Пароход подваливал, прожектор повернули, пристань залилась ослепительным молочным светом. Вика и Агеев молча смотрели, как пароход причаливает. Матрос на борту бросил сторожихе конец. Сторожиха не торопясь надела петлю на тумбу, матрос нагнулся, стал наматывать канат. Канат натянулся, заскрипел, пристань дрогнула, подалась. Пароход мягко стукнулся кранцами о причал. Матрос сдвинул сходни на пристань, стал смотреть под лампой билет у кого-то, кто сходил. Наконец пропустил того и повернулся к Агееву и Вике.

— Садитесь, что ли? — неуверенно сказал он.

— Ну, валяй! — сказал Агеев и небрежно потрепал Вику по плечу. — Счастливо!

Губы у Вики задрожали.

— Прощай! — сказала она и, постукивая туфельками, поднялась по трапу на палубу.

Пароход был почти пуст, слабо освещен лампами на нижней палубе, с темными окошками кают. В каютах или никого не было, или спали. Между бортом и причалом сипело, поднимался прозрачный парок.

Вика не оглянулась, сразу ушла, скрылась в глубине. Торопливо прокричали один длинный и три коротких гудка, сторожиха скинула петлю с тумбы, сходни убрали, створки на борту захлопнули, и это теплое милое дышащее существо, одно живое в холодной ночи, заполоскав плицами, стало отваливать, круто забирая вправо.

Сторожиха опять зевнула, пробормотала, что рано в этом году заиграли сполохи и что это к холодам, сняла фонарь и пошла на берег, бросая перед собой пятно света, мажа себя желтым светом по сапогам и неся слева от себя неверную большую тень, которая от раскачивающегося фонаря перескакивала с пристани и берега на воду.

Покурив и постояв, пошел в теплую гостиницу и Агеев. Северное сияние еще вспыхивало, но уже слабо, и было одного цвета — белого.

плачу и рыдаю...

Их было трое — ни много ни мало, а как раз в меру для недельной жизни в лесу, охоты и разговоров. Старшему было лет сорок, был он косолап, лохмат, черен, но со светлыми длинными глазами, все время восхищался природой и любил поговорить. Звали его Елагин.

Другой — лет тридцати — был коренаст, груб и насмешлив, хотя имя имел тихое, мечтательное: Хмолин. Он служил егерем, охотился с детства, кажется, только и делал всю жизнь, что стрелял, и ко всем городским, которые приезжали к нему на егерский участок, относился с пренебрежением.

Третий был просто Ваня, свеженький мальчик со щечками, веснушками, с постоянной радостной улыбкой — покорный и услужливый. Ване было лет пятнадцать, и приехал он с Елагиным.

Днем они охотились на уток, но почти всегда неудачно — не было у них ни скрадок, ни подсадных, ни лодки, а утки держались всегда далеко от берега и взлетали чуть не за километр.

Зато вечерами была тяга, и тут уж пальба раздавалась на весь лес, и убивать случалось часто. Пришли на тягу они и в этот вечер, тотчас стали каждый на свое любимое место и подняли лица к небу.

До чего же это был прекрасный весенний вечер! Оттаявшая земля резко шибала в нос, хотя из оврагов тянуло еще снежным холодом. По дну ближнего оврага бежал ручей, он залил кусты, и голые лозины дрожали, сгибались и медленно выпрямлялись в борьбе с течением. И все это происходило бесшумно — только светлая, отражающая небо вода в воронках и струях и черные набухшие лозины над ней. Зато ниже по течению ручей трепетал в овражной тьме, как струна, и оттуда слышались то будто

удары сухого полена о полено, то будто вытаскивал кто-то с чмоканьем ногу из болота.

Приближался, ударял сумеречный час! И как обычно, для Вани, для Елагина и Хмолина время двоилось: казалось вместе и медленным и быстрым. Пока еще было не слыхать ни звука, дневная жизнь замерла, ночная еще не начиналась, и не свистал еще дрозд в стеклянной светлоте между черными ветвями, и солнце еще горело где-то за лесом, один ручей только стукал и чмокал, как всегда. Но зато все заметили под ногами на черной земле между жухлыми листьями какие-то красные и ярко-зеленые почки и стручки — напряженные, тугие, и на многих видна была еще не высохшая земля. Значит, они вылезли сегодня... И лес стал вроде не так прозрачен, как вчера, ветви набухли больше прежнего, и почки стали толще, а вчерашняя ольха, которую все эти дни никто не замечал, сегодня будто вышла из лесу, стала шершавой, толстой, все суки ее снизу доверху и самый ствол покрылись бородавками, и она вся стала похожа на мохнатую гусеницу.

Прошло какое-то мгновенно-медленное время — а какое, никто бы не мог сказать, — и вот уже трудно стало разбирать на земле и по сторонам, значит солнце село, и сумерки надвинулись, только небо над головой и к западу было все так же чисто и светло.

Как и вчера, как тысячу лет назад, чистой блестящей каплей между черными как сажа ветвями дубов засверкала Венера. И как только она показалась — а Ваня никак не мог уловить ее появления, он все глядел туда, ее не было, а потом она уже была, — как только она показалась, сейчас же засвистал дрозд. И это значило, что настала ночь и началась иная жизнь.

Как только появилась Венера и запел дрозд, Хмолин и Елагин тотчас закурили, и Ване хорошо были видны огоньки сигарет и дым, синими слоями сползающий к оврагу. Да, ночь наступила, хоть и было светло и вроде длился и зеленел еще вполнеба закат, но это был обман, а на самом деле пришла ночь, — тогда только появились вальдшнепы.

Они были далеко видны на светлом и летели быстро, хотя казалось, что медленно, и в их круглых крыльях, в их волнистом полете, вздымании и опадании было что-то нездешнее. Они хрипели и

свистели на лету, и это опять было не похоже ни на один земной звук.

Первым выстрелил Хмолин, выстрел его был гулок и кругл, и далеко в холмах покатилось такое же круглое эхо, а над местом, где стоял невидимый Хмолин, появилось синее облако дыма. Елагин восторженно крикнул что-то, но тут же раз за разом резко и коротко выстрелил сам — у него был бездымный порох, и выстрелы получались сухие: «Тах! Тах!»

Выстрелил и Ваня, а через минуту еще и еще, но все мазал — то брал слишком вперед, то было далеко, то мешала какая-нибудь ветка, которой, конечно, не было, когда он час назад выбирал себе место, оглядываясь и прикидывая, удобно ли стрелять.

То Хмолин, то Елагин наверху бегали куда-то, треща валежником и перекликаясь, потом опять возвращались и стояли, а Ване некуда было бегать, он еще ни разу не попал.

Первые вальдшнепы пролетели, стрельба прекратилась, Ваня ощущал кислый запах пороха вокруг себя, сердце у него колотилось, и он сперва ничего не слышал. Но скоро он заметил, что стало гораздо темнее, земля была почти не видна, и дрозд умолк, но зато далеко где-то в разных местах раздавалось то заунывно и постоянно: «У-у!.. У-у!..», то загадочно и коротко: «Тррр... тррр... тррр...»

Опять полетели вальдшнепы, опять первым гулко выстрелил Хмолин, и тут же Ваня увидал, что над оврагом летит что-то темное, с округлыми, как бы перепончатыми крыльями, и стрелять было с руки. Ваня вскинул ружье, повел и ударил, вальдшнеп остановился на месте, будто наткнувшись на что-то, мелко задрожал крыльями и стал падать. И, уже не видя ничего, кроме падающего вальдшнепа, один раз прикинув только место, куда он должен был упасть, Ваня бросился туда напролом, царапая руки и лицо.

Вальдшнеп упал на склон оврага, обращенный к закату, на открытое место, шуршал листвой и, как лягушка, упруго подскакивал на одном месте, подпираясь крыльями. Были у него огромные глаза на маленькой головке, но он не смотрел на подбегавшего Ваню и, наверное, не видел его, а смотрел вверх, и все — грудь, длинный тонкий клюв, ржавая

спина, изгиб шеи, — все было устремлено ввысь в смертной тоске.

Наверху еще стреляли, потом перестали, закурили, сошлись, потом окликнули Ваню, потом стали кричать, огогокать, а Ваня был в овраге, держал и разглядывал теплого вальдшнепа, и голова вальдшнепа уже моталась и щекотала Ванины руки.

Хмолин убил двух, Елагин ничего не убил, а Ваня не удержался и соврал, что тоже убил двух, но одного никак не мог найти, хотя и искал до темноты. Когда покурили, рассмотрели и уложили вальдшнепов Хмолину в рюкзак и пошли домой, в егерскую сторожку, Венера еще ниже сошла к горизонту, блестела сильно и колко, а свет зари глухо, мрачно и зелено виднелся сквозь голый лес. По дороге то и дело встречались ручьи, поющие одну и ту же песню воды. Попадались и лужи — еле угадываемые и таинственные, как миражи, среди черноты земли. Но охотники уже не обращали ни на что внимания, а спешили добраться до сторожки, и мысли у всех были одинаковые: о печке, о вальдшнепиной похлебке, о крепком хорошем чае. Они все были счастливы, замучены весной и как-то даже сонны, но знали, что это пройдет, как только они придут домой.

Когда вышли на вырубку, все одновременно увидели, что низ неба между голыми красными лозинами, торчком густо стоявшими в человеческий рост, шоколадно просвечивал. На вырубке стояла красноватая тьма, дальние деревья и пруты были видны, а ближние как-то пропадали, все постоянно налетали на них, загораживали лица и даже останавливались, вглядываясь, куда пойти, где посвободнее.

Вырубка незаметно и долго поднималась от оврагов, и когда прошли уже половину ее, Ваня заметил впереди как будто корягу, горелый ствол с торчащим кверху толстым суком, совсем как лось.

— На лося похожа! — сказал Ваня, думая про корягу.

— Да это и есть лось! — узнал, вглядевшись, Хмолин. — Вон и еще пара... А! Это сохач, а с ним лосиха с теленком — глядите!

Лоси, застигнутые в этой красноватой мгле среди

чего-то своего, звериного, вели себя странно — не убегали, только теленок подошел к лосихе и слился с нею, может быть сосал, а сохатый поднял большие уши и стоял отдельно. Потом сделал несколько шагов навстречу охотникам, еще выше задрал морду и глядел на них поверх лозин.

— А он не кинется? — тихо спросил Ваня.

— Может! — быстро отозвался Хмолин, а Елагин встревоженно кашлянул, и Ваня понял, что и они боятся.

Охотники пошли дальше, забирая влево, далеко обходя лосей, и сохач не шевельнулся больше, только голову поворачивал — до него было каких-нибудь тридцать шагов.

— Эх, вдарить бы! — бормотал Хмолин, нервно посмеиваясь. — Знают свою безопасность...

И стал рассказывать, что в области теперь больше трех тысяч лосей и что был у них случай, когда лось пристал к коровам и кидался на доярок, когда те приходили доить на выпасы.

А Ваню как начало знобить при виде лосей, так уж и не отпускало. Он то думал о них, какие они красновато-коричневые, большие и бесшумные, то опять вспоминал о вальдшнепах, об их странном полете и харканье и что они точно так же летали когда-то над лесами, миллионы лет назад, и леса те давно упали, погрузились и стали каменным углем, а вальдшнепы и теперь летают. Он шел последним, по сторонам не смотрел, уверенный, что увидит страшное, боялся отстать и крепко держался вспотевшей рукой за шейку ружья, которое незаметно зарядил уже пулями жакан.

Совсем близко от сторожки охотники остановились на берегу ручья, тихо посовещались, где лучше перейти, и пошли налево. У Вани от их тихих голосов мурашки по спине пошли, хоть он и знал с тайным счастьем, что пугаться некого, попытался идти между Хмолиным и Елагиным, но ему не удалось, и он теперь, спотыкаясь, шел вплотную за Хмолиным и часто толкал того грудью в рюкзак.

Они дошли до пологого берега, подтянули сапоги и побрели через ручей. Ваня замешкался, шагнул в воду, вода холодно и плотно обхватила его ноги, он покачнулся и чуть не крикнул «Погодите!», но застыдился, а потом был рад, что никто не заметил его испуга.

Перейдя ручей, охотники поднялись наверх, пролезли через гибкие набухшие кусты и увидали темный силуэт избушки и невнятно блистающую округлость «Победы» рядом. Войдя в избушку, зажгли свет — маленькую ослепительную лампочку от аккумулятора, — и каждый тотчас занялся своим делом.

Елагин стал ломать о колено хворост и совать в топку грубой печки. Хмолин вынул из рюкзака взъерошенных вальдшнепов и, скинув только ватник, сел на низкий табурет к печке теребить их, а Ваня с замиравшим сердцем спустился к ручью за водой и бегом, расплескивая воду, вернулся назад.

Елагин уже растапливал печь, слабое пока пламя шевелилось где-то в глубине топки. Отлив из ведра в котелок и чайник, Ваня поставил их на плиту, пошел к топчану, разобрал поудобнее набросанные там телогрейки и одеяла, стащил сапоги, лег головой к окну, накрыл лампочку маленьким абажуром и включил транзистор. Приемник стал трещать, музыка и голоса перебивали друг друга, посвистывало и уйкало, и Ваня, покрутив минуты две, выключил его и повалился на спину.

Все долго молчали. Печка разгорелась и начала гудеть, постреливать искрами в раскрытую дверцу. Возле нее становилось жарко сидеть, Елагин отодвинулся, слегка отодвинулся со своими вальдшнепами и Хмолин. Ваня шевелил босыми ногами и смотрел на закопченный потолок и стены, которые все были изрезаны ножами, — искусно и грубо были вырезаны даты и имена. И Ваня думал о всех людях, которые здесь побывали, и как они тоже топили печь, выпивали и разговаривали.

В избушке пахло душисто и сложно: от ружей тянуло пороховым дымом, пахло еще сапогами, дымом можжевельника от печки, теплой глиной, дегтем от дымохода, шерстью свитеров и одеял.

Елагин, изогнувшись назад, стащил с топчана телогрейку, бросил на пол и присел, потом один об один стянул сапоги, закурил и стал задумчиво следить, как дым, розовея, уходит в печку.

Лица Хмолина не было видно. Он с усилием, с треском, вырывал маховые перья из крыльев и посапывал.

— Эге! — сказал вдруг он, разглядывая ощипанную тушку. — Вон куда попало, в шею... И вот еще в боку, под крылом, глядите! А ты, Ванька, молодец, здорово саданул, я видал!

Ваня заулыбался и покраснел: это был его первый вальдшнеп. Елагин шевельнулся и серьезно пригляделся к вальдшнепу. Хмолин поскубывал еще, выдергивая последние пенышки. Вальдшнеп мертво, бессильно побалтывал шеей в его руках.

— А они чувствуют свою смерть? — спросил Ваня, глядя на вальдшнепа.

— Всякая тварь сознает, — быстро сказал Хмолин, будто ждал этого вопроса и все у него давно было решено.

А Елагин вдруг взволновался, встал в одних носках, в выпущенной рубахе, налил себе водки в кружку, в другую налил воды и стал ходить от стола к печке и говорить. Волосы свалились ему на лоб, ступал он косолапо, горбился и говорил, говорил и забывал, в какой руке у него водка, в какой вода, останавливался, нюхал по очереди, потом вскидывал голову, произносил «Ура!», смотрел на Хмолина и Ваню светлыми длинными глазами, выпивал и опять начинал говорить.

Говорил он о смерти, о том, что придет эта железная сволочь, сядет на грудь и начнет душить, что прощай тогда вся радость и все. Что мучительно это сознание неминуемой смерти и что аз есмь земля и пепел, и паки рассмотрих во гробех и видех кости, кости обнаженны, и рек убо кто есть царь, или воин, или праведник, или грешник? Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую по образу божию созданную нашу красоту безобразих бесславну, не имущу вида!

Был Елагин филолог, доцент и обо всем — о войне ли, о любви, об истории — говорил длинно, убедительно, и думалось, глядя на него, что все он знает, и спорить с ним не хотелось, а хотелось слушать. Только Хмолин иногда, не выдержав, перебивал его какой-нибудь дикой историей и хохотал, как леший, — москвичей он все-таки презирал.

Поговорив о смерти, ужаснувшись ей, Елагин свесил голову, задумался, потом тряхнул волосами, крикнул «Ура!», еще выпил и, слегка уже опьянев, заблестев глазами, заговорил о любви, о женщине,

о ее святости, о том, что все-таки высшее на земле есть доброта и любовь, а этим как раз и сильна женщина.

И опять его хорошо, интересно было слушать, опять казалось, что все, что он говорит, — истинная правда, и Ваня с горящими щеками уже как-то особенно нежно думал о знакомых девчонках, только Хмолин что-то все хмыкал, потом не выдержал и перебил:

— Мура все это! Это только у вас там в книжках все написано, а жизнь другое говорит. У меня вот приятель был, — Хмолин оживился и перестал драть вальдшнепа. — Спутался с одной бабенкой по пьянке. Прямо сказать, извиняюсь за выражение, занюханная была бабенка, дура необразованная, тонконогая какая-то, уделанная, одним словом, я ее видал... Так вот, раз он к ней по пьянке завалился, другой, третий, и ни полслова там о любви или об женитьбе, ничего! И она сама знала это, и сама его не любила нисколько, какая там любовь! Только встречаются они однажды, она ему — ррраз! — женись! «Пойдем в загс, а то утоплюсь!» А? Он туда-сюда, а она ему: «Утоплюсь и письмо на тебя напишу в райком». А? А он тогда комсомольцем был. Спасибо, я ему сказал: «Держись, ничего с ней не станет, на том заду и сядет». Он и держался, похудел весь, месяц не в себе ходил, я уж думал, копыта откинет, так почернел. Ну, да обошлось, по-моему вышло. Вот тебе и это — как ты сказал? — святая там доброта, саможертвова... жертванье, одним словом, то да се...

Хмолин, довольный, захохотал и опять занялся вальдшнепом. Елагин нахмурился, махнул рукой.

— Грубый ты какой-то, — досадливо сказал он. — Все у тебя какие-то пошлости, черт тебя знает, право!

Хмолин подвинулся к печке и стал палить вальдшнепов, поворачивая их перед огнем и по очереди отдергивая руки — ему было горячо. Потом он опять приладился на табуретке, вытащил из ножен короткий нож и начал потрошить вальдшнепов. Запахло кровью и лесом. Выпотрошив, он начал мыть тушки в ведре, тер так, что скрипело под пальцами, и все приговаривал:

— Ну, похлебка у нас сегодня будет! Молодцы, охотнички!

Через час, когда похлебка почти была уже готова, Хмолин пошел за водой, а вернувшись, брякнув ведром, сказал запыхавшись: «Гляньте, что делается!» — и сам первый вышел. Тотчас вышли за ним Елагин и Ваня.

Снаружи сторожка облита была жидким лунным светом. Рядом с ней поблескивала «Победа», и на капот ей редко, но крупно и постоянно падала капля из сломанного березового сучка. Дальше в лесу что-то погукивало, постанывало еле слышно, точно так же, как на тяге, все пахло холодом и чистотой, звуки были редки, рассеянны и слабы, только внизу бормотал ручей, откуда брали воду, — будто тихо разговаривали несколько женщин.

Еще дальше за лесными холмами, в пойме, мощно текла широкая река, и на ней после зимы уж выстроились бакены, стоявшие тоже широко и смело, потому что был разлив и везде теперь было глубоко.

На той стороне реки затаилась молчаливая спящая деревня, но и в ней слышны были звуки дыхания, или редкого неуверенного лая, или сплошного ночного вскрика петуха. За деревней, во тьме полей ползал и ползал одинокий трактор, и неизвестно было, работал ли то ударник или, наоборот, перепахивал кто-то испорченный им же самим днем клин.

— Плачу и рыдаю! — громко сказал Елагин. — Весна! Все живет, все лезет! Не прав, не прав старик. Нет, не прав! Плачу и рыдаю, егда помышляю жизнь — вот как надо! А? Правильно, старики, а?

— Жрать охота, — сказал по привычке грубо Хмолин, но тут же почему-то смущенно закашлял.

— Ну-ну... Пойдем, пойдем, -- забормотал Елагин огорченно и тоже смущенно и сгорбившись пошел в дом.

Но в сторожке он опять оживился, крикнул «Ура!», пронзительно глянул из-под волос на Хмолина и заговорил:

— Выпьем! Ах, черт, давайте выпьем! Хмолин, Ваня, а? Я вас люблю, я все люблю! И эту печку! Неси сюда старку, Хмолин, шевелись!

Хмолин, усмехаясь, ставил на стол тарелки, резал огурцы, хлеб, вышел в сенцы и принес бутылку. Елагин возился с рюкзаком, Ваня нервно шевелился у себя на топчане, засовывая под стол длинные ноги, глядя блестяще на Елагина и Хмолина, как

бы спрашивая, что бы и ему такое сделать и чем помочь.

Елагин вынул консервы, стал застегивать рюкзак, но тут же вновь открыл, нагнулся и, посапывая, долго нюхал.

— Как пахнет! — сказал он и посмотрел на Ваню. Ваня тут же вылез из-за стола и понюхал с наслаждением. Пахло дивно: выглаженным бельем, конфетами, печеньем и будто утренним кофе на даче.

— Дорогой пахнет! — сказал Елагин. — Странствиями, встречами... Ну-ну! Давай, Хмолин, наливай! Ване тоже. Ваня, выпьешь? Понемногу, Хмолин, ладно?

Они сели. Елагин налил себе водки и воды в разные кружки, понюхал ту и другую.

— Ну, за весну! Дай бог, чтобы всегда мир был! Чтобы жили мы все счастливо! За прелестных женщин! Слышишь, Хмолин, у, дурак, дурак! Ну, старики, весна, жизнь! Плачу и рыдаю! Ура!

Они выпили, и каждый крякал, отдувался, морщился, тряс головой, торопливо тыкал вилкой, а когда разошлось, у всех сразу заблестели глаза, все посмотрели друг на друга с улыбкой и тут же смутились оттого, что так бессовестно счастливы. Ваня через минуту опьянел так, что даже жевать не мог, бессмысленно таращился, трогал себя за нос и лоб, стараясь убедиться, что он за столом, а не летит куда-то.

— Э! — сказал Хмолин радостно. — Гляньте на него! Окосел парень! Вань, а Вань! Сколько нас?

Ваня только глупо прыскал и все трогал себя за лоб, тер глаза, но опьянение скоро прошло, все громко заговорили, перебивая, плохо слушая друг друга, и каждый старался сказать что-то умное, даже Ваня, каждому казалось, что они втроем сейчас что-то найдут и решат, как жить дальше людям, и каждый воображал, что только один он все понимает.

Зато ужинали молча, блаженно, хлебали громко и осторожно, боясь обжечься. Все сразу вспотели и начали стаскивать через голову рубахи, выгибаясь, почесываясь тут и там, и труднее всего было чесаться под лопатками.

— Нету дичи лучше вальдшнепа! — все повторял Хмолин. — Я знаю, всех перепробовал!

Поужинав, попили всласть чаю, послушали последние известия, покурили, позевали и стали разбираться на ночь.

Хмолин и Елагин легли на одном топчане — он был пошире, Ваня на другом: с ним никто не хотел спать, уж очень он брыкался во сне. И опять долго молчали. Не было обычных предсонных разговоров. Раза два Елагин вставал и выходил, потом возвращался и все повторял:

— Плачу и рыдаю!..

Ваня хотел тоже выйти с ним, но подумал, что сейчас там холодно, тихо, пустынно — одна луна! Ему вдруг стало жутко-весело, как бывает только в детстве, в деревне, на ночевках, когда ложатся все вместе, начинают тискать друг друга, взвизгивать от восторга, прыскать в подушки. Когда кто-нибудь издает вдруг долгий задумчивый звук, и все, давясь от смеха, начинают колотить кого попало и кричать: «Кто это? Ты, Витька?» — «Не!» — «Петька?» — «Не!..» — когда страшно неизвестно чего: чертей ли, темноты, тишины ли за стеной, и в то же время не страшно ничего, а счастливо и легко. Когда так успокаивающе действует разговор взрослых за стеной, которого и не слышно, а слышно только «бу-бу-бу-бу». И когда так неистово и беспросветно засыпается посреди шепота приятелей, толкотни, и возни, и сказок — и спится, спится долго, до следующего яркого летнего дня.

Такое точно чувство испытал внезапно Ваня, завозился у себя, дрыгая ногами, укусил подушку, уткнулся в нее, чтобы не загоготать, и засопел, с блаженством думая, что сегодня ели его вальдшнепа, что он научился стрелять влет, что был разговор о любви, о смерти и о времени и что все это ерунда, а главное — подбить бы ему и завтра вальдшнепа или утку.

Припадок безмолвного смеха прошел, Ваня затих, отнял лицо от подушки, и опять в нос ему ударил запах табака, сапог и пороха из ружейных стволов.

И долго так все лежали, и никто не спал, и каждый знал, что никто не спит, потому что все тихо дышали и думали, думали...

на острове

1

Рейсовый пароход, па котором приехал ревизор Забавин, низко, вибрирующе загудел и, разворачиваясь, заваливаясь на правый бок, пошел дальше к глухим северным становищам. А Забавин даже не оглянулся на него — так надоели ему за трое суток этот грязно-белый пароход, грохот лебедок на стоянках, гул моторов, коротконогий капитан, старший помощник с наглым развратным лицом, грубые официантки.

Чем больше ездил Забавин по северу, тем привычней и скучнее ему становилось. Давно перестал он замечать красоту мрачных скал, красоту моря и северной природы, хоть когда-то очень все это любил.

И теперь, в карбасе, раздраженный, небритый, он не обращал внимания ни на странные очертания острова, похожего на сгорбившегося, уткнувшегося в воду зверя, ни на темно-зеленые камни под водой, ни на веселые разговоры вокруг, а хотел только скорее очутиться на берегу в теплой комнате.

Когда карбас, пробравшись возле многочисленных катеров, моторок и ботов, пристал к деревянному пирсу, Забавин первый выбрался на берег и потопал ногами, с наслаждением чувствуя твердую землю.

На пирсе было тесно от громадных тюков высушенных сиреневых и бурых водорослей, от бочек с цементом, труб, рельсов, пачками ржавеющих возле стен низкого склада. Пахло очень сильно и дурманяще водорослями и послабее — рыбой, канатами, нефтью, досками, сеном, морем, — вообще всем тем, чем пахнут обычные морские пристани.

Забавин вяло пошел по утрамбованному шлаку

мимо цехов с глухо работающими машинами, мимо котельной, от которой в холодном утреннем воздухе тянуло теплом.

Крутом была унылая земля, покрытая белесым ягелем, с выпирающими там и сям буграми серого камня. Лошади и коровы одиноко бродили по ягелю, были худы, и на них, заброшенных на этот дикий остров и совершенно лишних, не нужных ему, жалко было смотреть.

Забавин поморщился, вздохнул, спросил у рабочих контору, ему показали, и он пошел прямо туда, уже ни на что больше не глядя, думая только о том, как бы поскорее лечь спать — последнюю ночь на пароходе он почти не спал.

Ему отвели комнату, и он хорошо выспался. А проснувшись, побрился, смочил голову одеколоном и тщательно, до блеска причесался. Потом напился из тонкого стакана горячего крепкого чая своей заварки и с удовольствием выкурил сигарету. Наконец, достав папку с документами, завязав галстук, радуясь тому, что он хорош, опрятен и чист, что он избавился на эти дни от противного запаха соленой трески, который осточертел ему на пароходе, бодрый и свежий, пахнущий одеколоном и хорошим табаком, он пошел в контору, чтобы уже по-настоящему заняться тем, из-за чего он приехал сюда.

Весь этот день и два следующих Забавин провел в сухой работе, проверяя документы, которые в толстых папках носили ему в кабинет, осматривая чаны с агаровым студнем, дробилки, склады и лаборатории.

Все это время он был холоден и деловит, тогда как директор, радуясь свежему человеку, суетился, болтал, жадно расспрашивал Забавина об Архангельске. В ермолке, с выпученными глазами в вывороченных веках, с глубокими складками на сизых склеротических щеках, он всюду сопровождал Забавина, колыхаясь, тяжело ступая своими тумбообразными ногами и мучаясь одышкой. Рядом с огромным директором Забавин — худощавый, черноволосый, в узких брюках — казался подростком и, чувствуя на себе откровенно жадные взгляды молодых работниц, делался холоднее и деловитее.

2

Однажды Забавину понадобилось послать телеграмму в Архангельск, и он пошел на метеостанцию, на которой, ему сказали, была рация. Он отыскал ее без труда по высокой радиомачте, от которой во все стороны к земле были туго натянуты тросы.

Поднявшись на крыльцо, Забавин постучал. Ему никто не ответил, тогда он отворил дверь и вошел в дом. Из комнаты, в которую он попал, было еще три или четыре двери. Одна из них вдруг распахнулась, и выглянул паренек-радист. Он был с тонкой шеей, большими розовыми ушами и с прической на лоб. Увидев Забавина, он сделал подозрительное лицо.

— Вы кто будете? — спросил он, стараясь говорить строже. И, не дослушав Забавина, выговорил, торопясь и хмурясь, что начальника метеостанции сейчас нет, что без нее он ничего не принимает для передач и что радиосвязь с Архангельском будет только вечером.

Забавин сказал, что зайдет вечером, и вышел на крыльцо, чувствуя спиной недоверчиво-испуганный взгляд радиста. Погода была хороша, и Забавин решил побродить по острову.

Он поднялся к белой башне маяка и, оглядевшись, заметил впервые, как красиво море, как горит оно и туманится под солнцем. Возле маяка он набрел на деревянную заколоченную часовенку, а немного пониже ее заметил старое кладбище. Он пошел туда, вздыхая, стал бродить между осевшими могильными холмиками и вросшими в землю темными плитами.

На одной плите Забавин с трудом разобрал: «Под сим камнем покоится прах р. б. Смоленской губернии города Белой подпоручика и смотрителя маяка Василия Иванова Прудникова. Жизни его без перерыва было пятьдесят шесть лет. Преставился после путешествия на Соловец монастырь тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года сентября шестого дня. Господи, прими дух его с миром».

«Н-да... — подумал с некоторой грустью Забавин. — Сто лет прошло... Сто лет!»

Он попытался еще что-нибудь прочесть, но другие плиты были еще старее, вовсе поросли мохом, и ничего нельзя было разобрать. Тогда Забавин сел

на одну из плит лицом к морю и долго сидел неподвижно, поддавшись грустному очарованию осени, забытого кладбища, думая о тех, кто жил здесь, может быть, не одну сотню лет назад. Потом медленно, в глубокой, неприятной задумчивости спустился вниз и пошел к себе спать.

Но спалось ему плохо, он скоро проснулся и сел к окну. Пока он спал, к острову подошел туман. Туман был очень густ, и ничего не стало видно кругом. Скрылись радиомачта, маяк, длинная темная корга, скрылись цехи и трубы завода.

Козы собрались в кучу под окном и стояли неподвижно. Жизнь на острове, казалось, прекратилась. Туман поглотил все звуки, только на севере, не умолкая, гудел ревун, и звук его был печален и зловещ.

После того как побывал Забавин на кладбище, у него зародилось странное чувство к этому острову. Смотритель маяка, живший и умерший сто лет назад, когда здесь, наверное, было еще мрачнее, не выходил у него из головы.

И от тумана, от диких воплей ревуна, от вида неподвижных коз ему стало не по себе, захотелось разговора, людей, музыки... Он скоро собрался и пошел на метеостанцию, настороженно оглядываясь, с трудом находя дорогу в тумане и наступающих ранних осенних сумерках.

Начальником метеостанции оказалась девушка лет двадцати пяти с редким именем Августа. Она была маленькая, с тоненькими ножками, коротко пострижена, и от этого с особенно нежной, слабой шейкой, с круглым смуглым личиком и большими, мохнатыми от ресниц глазами.

Все на острове звали ее просто Густей. Когда она улыбалась, щеки ее вспыхивали слабым румянцем, тотчас розовели и маленькие уши. При взгляде на нее Забавину стало щекотно на душе, захотелось обнять ее, погладить короткие пушистые волосы, ощутить на шее у себя ее теплое дыхание...

Отдав радисту текст телеграммы, он попросил разрешения посидеть, послушать радио. Густя быстро, охотно и, как показалось Забавину, радостно повела его к себе, в свою маленькую комнату, зажгла настольную лампу и пошла ставить чай.

Пока она доставала чашки, пока тонкими руками расставляла их на столе, позвякивая ложками,

сыпала сахар в сахарницу, Забавин сел, одергивая свои задирающиеся узкие брюки, кладя по привычке ногу на ногу, включил приемник, засветившийся сумеречным гранатовым светом, поймал какую-то близкую норвежскую станцию, закурил и сморщил губы от наслаждения.

С необыкновенной пристальностью разглядел он вдруг во всех подробностях и милую хозяйку, и эту крохотную комнатку с одним окном на юг, с десятком книг на этажерке, ковриком и узкой, тщательно застеленной и, по-видимому, жесткой кроватью... Ему вспомнилась откровенная жадность, с которой смотрели на него работницы в цехах, и, чтобы не улыбнуться, он стал думать об острове, о кладбище, о том, что за окном темнота и туман.

Но странно, теперь эти мысли не тревожили, не угнетали его, наоборот, с тем большим наслаждением слушал он норвежскую музыку, треск печи в большой комнате, следил исподтишка за хозяйкой.

— Ах, черт! — сказал Забавин, глядя на варенье и на Густины руки. — Простите... Знаете, ездишь, ездишь — и всегда кипяток, черствые серые булки, одиночество... Ах, черт! В кои веки повезет, как сегодня!

— А! — произнесла Густя, опуская глаза.

— Серьезно! — сказал оживленно Забавин. — На дворе туман, ревун этот проклятый, даже страшно. Когда едешь один или сидишь вечером в какой-нибудь комнате для приезжих, все думаешь: давно ли мечтал о любви, о каких-то подвигах, о счастье — и вот ничего, и мотаешься по свету, ревизуешь, отвыкаешь от семьи...

Забавин вдруг перехватил странный взгляд Густи, спохватился и покраснел.

— Извините... — пробормотал он, проникаясь внезапным отвращением к себе. — Вам неинтересно, а меня прорвало: молчал целую неделю — и такой вечер...

— Ничего, пожалуйста! — сказала Густя, наливая Забавину чай. — Пейте!

Забавин засмеялся, взял чашку. Они разговорились, и он скоро узнал, что она давно работает здесь, получает по договору уже двойную ставку, что она скучает, хочет уехать в Архангельск или в Ленинград.

Поговорив о скуке, перебрав общих знакомых,

заговорили о любви и счастье, и оба еще больше оживились.

— Вот вы говорите о сознательной любви, — вдруг сказал Забавин, хоть Густя вовсе не говорила о сознательной любви. — Все рассуждают о любви, говорят, и решают, и судят, кому кого любить. Писатели пишут о любви, читатели устраивают конференции и спорят, достоин ли он ее или она его, кто из них лучше, выше и сознательней, кто более подходит веку коммунизма. А между тем каждый из нас на своем месте никогда не может разобраться, что такое любовь! И чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что в любви очень малую долю играют такие качества, как ум, талант, честь и прочее, а главное — совсем другое, что-то такое, о чем не скажешь и чего никак не поймешь. Да что далеко ходить! Я знаю одного парня — дурака, пьяницу и наглеца, человека без чести и совести. И представьте, его страшно любят женщины, причем женщины умные, интеллигентные. И он знает, что его любят, занимает у них деньги, относится к ним по-скотски, и они плачут от обиды, я сам видел! Почему?

— Наверно, вы не замечаете в нем того, что замечают эти женщины, — серьезно сказала Густя.

— А! Что они в нем замечают! Ум? Талант? Широту души? Так нет же — дурак, наглый, ленивый! И не лицо даже у него, а заплывшая морда.

В комнате радиста попикивало, стучал ключ, наконец, все смолкло, послышались шаги.

— Ну, я все принял и передал... Сводка на столе! — крикнул радист и хлопнул наружной дверью. — На завтра — «ясно»! Я в клуб прошвырнусь! — крикнул он уже с улицы, затопал по крыльцу, а в доме стало тихо.

Выражение лица Густи сразу изменилось, она как будто чего-то испугалась, оглянулась на темное окно, пристально, серьезно посмотрела на Забавина и тотчас, покраснев, опустила глаза. А Забавин, будто не было ему тридцати пяти лет, не было позади ни армии, ни семьи, ни работы — почувствовал внезапно колющее волнение и сухость во рту, то есть то именно, что чувствовал он в молодости, когда влюблялся в девочек-школьниц и целовался с ними в тихие белые ночи.

— И еще тоже счастье... — начал тихо Забавин,

и по тому, как он это сказал, Густя поняла, что он скажет сейчас что-то серьезное, хорошее, успокоилась и улыбнулась ему, расширяя и останавливая на его лице прекрасные бархатистые глаза.

— Надеются обычно на будущее, — продолжал Забавин, прихлебывая чай, ощущая темноту за окном и холодное дыхание моря. — Надеются на будущее и живут мелко, суетливо, неинтересно... Живут, не видя рядом ничего хорошего, ругают жизнь, уверенные в том, что вот настанет пора и придет счастье. Все так, и вы так, и я... А между тем счастье у нас во всем, везде — счастье, что вот мы с вами сидим и пьем чай, что вы мне нравитесь, и вы знаете, что нравитесь...

Забавин запнулся, передохнул, улыбнулся как бы сам над собой, а Густя, вся пунцовая, не смела поднять глаз.

— Хочется, чтобы пришел кто-то сильный и заставил нас всех оглянуться. Ведь чем дальше, чем больше мы живем, тем счастья меньше! Человечество всегда юно, но мы-то, мы стареем... Мне сейчас тридцать пять, вам...

— Двадцать пять, — прошептала Густя, решилась поднять пылающее лицо и прямо взглянуть в глаза Забавину.

— Ну вот! А через год мне будет тридцать шесть, вам двадцать шесть, — мы оба и все тоже постареем на год, что-то от нас уйдет, какая-то частичка бодрости, какое-то количество клеток отомрет навсегда, а там еще и еще из года в год... И главное, будет стареть не только тело, не только мы будем седеть, лысеть, у нас будут появляться разные болезни, которых теперь нет, но и души будут стареть, понемногу, незаметно, но будут — какое же тут счастье? Нет, счастья в этом никакого нет, и я не понимаю людей, которые все ждут, вот придет лето, и я буду счастлив, а когда приходит лето и он не счастлив, он думает: вот настанет зима, и я буду счастлив... Да что говорить!

— В чем же счастье? — тихо спросила Густя.

— В чем? Я тоже думаю: в чем? Вы вот хотите вырваться с этого острова, ждете чего-то, думаете, пройдет год, два, три — и я буду счастлива! Нет же! Вы сейчас именно счастливы, потому что ничего у вас не болит, вы молоды, у вас прекрасные глаза, потому что теперь, когда вам двадцать пять, смот-

реть в ваши глаза — наслаждение, и у вас важная работа, и море, и этот остров... Подумайте!

— Легко говорить! — сказала Густя, недоверчиво улыбаясь.

— Да! Конечно, свет велик, прекрасных мест множество, и в конце концов, почему именно остров! Конечно, Архангельск — место куда более интересное, чем этот остров. Когда вы думаете, да и я когда сейчас думаю об Архангельске, или Москве, или Ленинграде, нам представляются театры, огни, музеи, выставки, шум, движение и все такое... Жизнь, одним словом! Правда? А между тем, когда я там, дома, я ничего этого не замечаю, я начинаю думать обо всем этом только издали, а когда я приезжаю в Архангельск, я вдруг узнаю, что у меня заболел сын, что на работе вечером совещание, что торопят с отчетом... И начинаешь крутиться как белка в колесе, вовсе не видишь никаких театров и прочего. Чем же я лучше вас живу? Так сказать, в высшем смысле? Нет, нет, вы гораздо счастливее меня: вам двадцать пять, а мне тридцать пять!

— В этом ли дело! — сказала Густя, поднимая кверху лицо и вздыхая.

— В этом! Рано или поздно вы уедете, конечно, будете жить в Ленинграде, видеть Неву, мосты, Исаакий... Но поверьте мне, когда вы уедете отсюда, вам обязательно будет вспоминаться этот остров, жители его, море, этот запах водорослей, перистые облака, солнце, грозы, северное сияние, штормы, и через много лет вы поймете, что счастливы были именно здесь.

— Не знаю, — задумчиво произнесла Густя. — Я об этом как-то не думала...

— Да, почти всегда так. Мы жалеем об ушедшем — издали лучше видно.

Забавин волновался и, глядя на Густю, думал помимо воли, как было бы хорошо долго-долго жить с ней где-нибудь. Он расстраивался от этих мыслей, понимая свое бессилие что-нибудь изменить в жизни, но не думать об этом не мог и не мог никак уйти от Густи, хотя было уже поздно.

Он собрался уходить тогда только, когда вернулся из клуба радист, прошел к себе, стал ловить джаз и насвистывать.

Густя вышла с Забавиным на крыльцо, и они долго стояли, привыкая к темноте.

— Я провожу вас, а то здесь тросы натянуты, — сказала Густя и взяла его за руку. Рука ее была шершава, горяча и дрожала. «Милая!» — мысленно поблагодарил ее Забавин и тут же с грустью подумал о себе.

Туман разошелся, ревун давно умолк, над головой горели маленькие пронзительные звезды и тек Млечный Путь, разорванный, раздвоенный, но ясный.

Быстро освоившись с темнотой, Густя пошла впереди, а Забавин шел сзади, еле различая ее светлый платок, неуверенно нащупывая среди мха каменистую тропу. Прошли несколько минут в молчании, потом Густя остановилась, и Забавин тотчас увидел внизу редкие желтые огоньки поселка.

— Ну вот... — сказала Густя. — Теперь вы сами дойдете, не заблудитесь. До свиданья.

— Погодите еще немного, — попросил Забавин. — Я покурю.

— Хорошо, — подумав, ответила Густя, опять взяла его за руку, прошла несколько шагов и остановилась возле какой-то ограды, прислонясь к ней и повернувшись к Забавину лицом. Забавин закурил, стараясь разобрать выражение лица Густи при свете спички, но ничего не разобрал.

Внизу мерно и широко шумел прибой, шел прилив, холодило. Ветер нес особенно грустный запах осеннего моря. А само море было глубоко и таинственно черно.

Забавин внезапно заметил, что лицо Густи то бледно возникает, то пропадает в темноте. Он оглянулся и через три-четыре секунды увидел высокую белую звезду маяка, окруженную сиянием, вспыхнувшую на мгновение ярким светом в ночи и снова погасшую. Потом звезда опять вспыхнула и погасла, и так повторялось все время, и было странно и приятно видеть этот мгновенный немой свет.

Забавин опять повернулся к Густе.

— Маяк, — сказал он без выражения. — Нам светит маяк.

Потом, как бы видя себя со стороны и осуждая, нагнулся и крепко поцеловал ее в неподвижные потрескавшиеся губы.

Ничего не сказав, Густя отвернулась от него. Забавин взял ее за худенькие плечи и повел в темноту, в какие-то шуршащие кусты и мелкорослые

жесткие деревья с терпким запахом осени, по мягкому мху, сквозь который чувствовался твердый, холодный камень, — дальше от света маяка. Наконец они остановились: впереди была глухая тьма и гул моря.

— Зачем? — печально сказала она. — Вы меня совсем не знаете! А главное — зачем?

Забавин опять поцеловал ее. И когда он ее целовал, лицо его было скорбно и глаза закрыты, хотя он и думал, что, может быть, это и есть то счастье, о котором они говорили недавно.

— Не надо больше, пойдемте назад, — тихо сказала она.

— Не сердитесь! — так же тихо попросил Забавин и покорно пошел за ней.

У ограды, где они поцеловались в первый раз, Густя остановилась, всхлипнула и прижалась лицом к холодному плащу Забавина.

— До завтра, — сказала она, наконец, вытирая слезы и вздыхая. — Я теперь не буду спать всю ночь... Зачем, зачем все это?

Оттолкнув его, она быстро пошла, почти побежала домой и показалась вдруг очень жалкой, когда он смотрел ей вслед. Он долго потом стоял и смотрел то на вспышки маяка, то на далекий теплый свет в окне Густи. Лицо его горело, в горле першило, и он все кряхтел и морщился, не в силах уйти, и сердце его билось медленно и тяжело.

3

Пароход, на котором Забавин собирался уезжать в Архангельск, должен был зайти на остров через неделю. Впереди было семь необыкновенных, счастливых дней! Но на другое утро в контору, где работал Забавин, пришел радист с метеостанции и молча подал ему телеграмму. На бланке было написано: «Срочно ждем Архангельске тчк Парохода не ждите зпт сегодня или завтра остров зайдет шхуна Сувой тчк Максимов».

Забавин похолодел. Радист ушел, Забавин хотел продолжать работу, но уже ничего не понимал, что ему говорили, не помнил никаких цифр. Кое-как справившись с делами и подписав последние доку-

менты, он отметил командировку у директора и пошел домой.

А вечером, когда Забавин собрался последний раз к Густе, к острову подошла шхуна. Она появилась внезапно, как судьба, и о ней узнали по короткому вою сирены, по огням — зеленому и белому — на мачтах и по радиограмме, которую приняли сначала на маяке, потом на метеостанции. Забавин, волнуясь, послал ответную телеграмму, и шхуна осталась на якоре до утра.

До двух часов ночи Забавин и Густя ходили по острову, вспугивая куропаток, которые взлетали с глухим шорохом, сидели на холодных шершавых камнях, любя друг друга все сильней и больше, и все время им светили огни на шхуне, напоминая о скорой разлуке.

Потом они пришли на метеостанцию, и опять сумрачно, гранатово светился радиоприемник, играла тихая веселая музыка, бормотали дикторы, опять они пили чай, говорили, но мало — больше нагляделись друг на друга и не могли наглядеться...

— Что это у нас? — спрашивала Густя. — Это счастье? Скажите! Я не знаю...

— Ну-ну, — небрежно отвечал Забавин. — Просто приятный вечер.

— Боже мой! — говорила она. — Как же это вы... Как же вы едете? Вдруг едете! Только появились и уже едете!

— Подари на прощанье мне билет... — протяжно сказал Забавин. — На поезд куда-нибудь...

— Что? — не поняла Густя. — Какой билет?

— Песня такая... И мне все равно, куда он пойдет, лишь бы отправился в путь! Веселая такая песня. Не знаете?

— Вы сказали... — Густя покрутила радио. — У вас сын есть?

— Двое... двое! Мальчик и девочка. Так-то, милая!

Занялся неохотный скупой рассвет. Окно в комнате побелело. Забавин встал, мельком взглянул в зеркало, увидел свое бледное, несчастное лицо, подошел к окну, протер рукой запотевшее стекло.

Небо было светло-голубое, пустое, будто стеклянное, море — огромное, выпуклое и спокойное, а метрах в двухстах от берега, как наваждение, непо-

движно стояла черная шхуна на якоре, и на мачтах еще горели бледные огни.

Куда хватало глаз, все застыло — на берегу и на воде, — было неподвижно, безлюдно и мертво.

Он отвернулся от окна и взглянул на Густю. Она сидела у стола, прижав руки к груди, где сердце. Глаза ее были закрыты, маленькое бледное личико казалось спокойным, как у спящей. Забавин осторожно надел плащ.

— Густя... пора, — сказал он сипло и стал закуривать. Но почему-то он не чувствовал крепости сигареты.

— Что, уже? Подождите! Я сейчас... Я вас провожу! — заторопилась Густя.

Забавин опять повернулся к окну, сгорбился, слушая, как прерывисто дышит, ходит по комнате Густя.

Вместе вышли они на крыльцо. Забавин вдохнул холодный резкий воздух, поежился, посмотрел на разгоравшуюся зарю, на седой от инея мох. Они пошли рядом, но не по тропе, а прямо к морю. Мох хрустел у них под ногами.

Был отлив, карбас на катках оказался далеко от воды. Они долго сталкивали его, раскраснелись, запыхались, наконец, влезли и оттолкнулись от берега.

Забавин взялся за весла, стал медленно выгребать.

Густя сидела на корме, особенно смуглая в этот час, смотрела поверх головы Забавина, правила кормовым веслом.

Вода была необычно прозрачна. Камни, песок, водоросли, похожие на конские хвосты, и листья морской капусты тихо проплывали под ними. Иногда Забавин переставал грести, засматривался на неподвижно висящих смугло-розовых медуз и удивлялся, что может в такую минуту интересоваться чем-то.

Карбас глухо стукнул о борт шхуны. Тотчас на палубу поднялся капитан в синей телогрейке и высоких сапогах. Он был без шапки, с белесыми волосами и молодым, скуластым, опухшим от сна лицом.

— Товарищ Забавин? — сильно окая, спросил он, нагибаясь сверху. — Давайте конец!

 Забавин подал ему чемодан и бросил веревку.

Потом повернулся к Густе, покачиваясь, сделал три шага к корме. Густя поднялась и стояла, смотря сквозь застилавшие ей глаза слезы в лицо Забавина.

Они поцеловались долго и крепко, до боли, потом Забавин, задохнувшись, отвернулся и полез на борт шхуны. Капитан, смотревший на них с серьезным лицом, помог ему и быстро спустился в кубрик на носу.

Через минуту из кубрика, на ходу натягивая телогрейку, стали вылезать заспанные матросы, и шхуна ожила. Заиндевевшая палуба покрылась темными следами от сапог, застучал дизель, зазвенела якорная цепь. Поднялся еле заметный ветерок, стал морщить гладкую воду. У Густи упала на лоб прядь волос, она не поправила ее, сидела неподвижно.

Капитан сам стал к штурвалу и, посмотрев на Забавина, дал малый ход. Шхуна тронулась, карбас с Густей стал отделяться. На носу стоял лохматый матрос, закидывал веревку с грузом, хрипло кричал:

— Восемь!

В глубине по-прежнему были видны зеленоватые камни, темные пятна водорослей и медуз.

Забавин стоял у борта и смотрел, как все дальше уходит берег и карбас. Густя, как осталась, так и не шевельнулась больше, сидела на корме. Черный нос карбаса, высоко поднятый, под ветром тихонько поворачивался к берегу. Забавин слышал пустой звон в голове, смотрел на остров, на карбас, глаза его были сухи и саднили.

Выйдя из опасного места в открытое море, шхуна развила ход, капитан передал штурвал матросу, вышел из рубки и стал рядом с Забавиным.

— Завтра к вечеру будем в Архангельске, — негромко сказал он.

Остров стал уже темной голубоватой полоской, можно было различить еще только белую башенку маяка, больше ничего. Началась морская крупная зыбь, корпус шхуны дрожал от дизеля. Наконец и полоска скрылась, кругом была вода — покатые гладкие волны, до самого горизонта. Солнце всходило, но вместе с ним с востока шли облака, и как-то не светлело.

— Ветерок будет, — зевая, сказал капитан. — Эй! Эй! Приборочку, живо! — вдруг резко крикнул

он. — А вы пожалуйте в кубрик, — пригласил он Забавина.

Спустившись в кубрик, они сели за узкий стол друг против друга и закурили.

— Выпить хотите? — спросил капитан и полез в шкафчик.

Забавин выпил и передернулся всем телом.

— Ну, как? — спросил капитан. — Еще?

— Все в порядке, старик! — сказал Забавин. — Спасибо!

— Это что — супруга ваша была? — помолчав, спросил капитан.

— Нет, — ответил слабо Забавин, и у него задрожали губы.

— Лягте, отдохните, — предложил капитан. — Вот эта койка у нас свободная.

Забавин послушно разделся и лег на койку, узкую и жесткую, со спасательным поясом в головах. Кубрик едва заметно поднимало и опускало. За бортом звенела вода.

«Ну, вот и счастье, — подумал Забавин и сейчас же увидел лицо Густи. — Вот и любовь! Как странно... Любовь! Подари на прощанье мне билет...»

И он лежал и, скорбно сжав губы, все думал о Густе и об острове, все виделось ему ее лицо и глаза, слышался голос, и он не знал уже, во сне ли это, наяву ли...

Звенела за бортом вода, и звон этот был похож на звук бегущего, веселого, никогда не умолкающего ручья.

двое в декабре

Он долго ждал ее на вокзале. Был морозный солнечный день, и ему все нравилось: обилие лыжников и скрип свежего снега, который еще не успели убрать в Москве. Нравился и он сам себе: крепкие лыжные ботинки, шерстяные носки почти до колен, толстый мохнатый свитер и австрийская шапочка с козырьком, но больше всего лыжи, прекрасные клееные лыжи, стянутые ремешками.

Она опаздывала, как всегда, и он когда-то сердился, но теперь привык, потому что, если припомнить, это, пожалуй, была единственная ее слабость. Теперь он, прислонив лыжи к стене, слегка потопывал, чтобы не замерзли ноги, смотрел в ту сторону, откуда она должна была появиться, и был покоен. Не радостен он был, нет, а просто покоен, и ему было приятно и покойно думать, что на работе все хорошо и его любят, что дома тоже хорошо и что зима хороша — декабрь, а по виду настоящий март, с солнцем и блеском снега, и что, главное, с ней у него хорошо. Кончилась тяжелая пора ссор, ревности, подозрений, недоверия, внезапных телефонных звонков и молчания по телефону, когда слышишь только дыхание, и от этого больно делается сердцу. Слава богу, это все прошло, и теперь другое — покойное, доверчивое и нежное чувство, вот что теперь!

Когда она, наконец, пришла и он увидал близко ее лицо и фигуру, он сказал:

— Ну-ну! Вот и ты...

Он взял свои лыжи, и они медленно пошли, потому что ей надо было отдышаться — так она спешила и запыхалась. Она была в красной шапочке, волосы прядками выбивались ей на лоб, темные глаза все время косили и дрожали, когда она взгляды-

вала на него, а на носу уж были первые крохотные веснушки.

Он отстал немного, доставая мелочь на поезд, глянул на нее сзади, на ее ноги и вдруг подумал, как она красива, и как хорошо одета, и что опаздывает она потому, наверное, что хочет быть всегда красивой, и эти ее прядки, будто случайные, может быть, вовсе не случайны, и какая она трогательная, озабоченная!

— Солнце! Какая зима, а? — сказала она, пока он брал билеты. — Ты ничего не забыл?

Он только повел ртом. Он даже слишком набрал всего, как ему теперь казалось, потому что рюкзак был тяжеловат.

В вагоне электрички было тесно от рюкзаков и лыж и шумно: все кричали, звали друг друга, с шумом занимали места, стучали лыжами. Окна были холодны и прозрачны, но лавки с печками источали сухое тепло, и хорошо было смотреть на солнечные снега за окнами, когда поезд тронулся, и слушать быстрое мягкое постукивание колес внизу.

Минут через двадцать он вышел покурить на площадку. Стекла в одной половине наружных дверей не было, по площадке разгуливал холодный ветер, стены и потолок закуржавели, резко пахло морозом, железом, а колеса здесь уже не постукивали, а грохотали, и рельсы гудели.

Он курил, смотрел сквозь стеклянную дверь внутрь вагона, переводя взгляд с одной скамейки на другую, испытывая ко всем едущим чувство некоторого сожаления, потому что, как он думал, никому из них не будет так хорошо в эти два дня, как ему. Он рассматривал также и девушек, их оживленные лица, думал о них и волновался слабо и горько, как всегда, когда видел юную прелесть, проходящую мимо с кем-то, а не с ним. Потом он посмотрел на нее и обрадовался. Он увидел, что и здесь, среди молодых и красивых, она была все-таки лучше всех. Она смотрела в окно, лицо ее было матово, а глаза темны и ресницы длинны.

Он тоже стал смотреть через дверь без стекла на мороз, на воздух, щурился от яркого света и от ветра. Мимо проносились скрипучие деревянные, засыпанные снегом платформы. На платформах иногда попадались фанерные буфеты, все выкрашенные в голубое, с железной трубой над крышей, с голу-

бым же дымком из трубы. И он думал, как хорошо сидеть в таком буфете, слушать тонкие посвисты проносящихся мимо электричек, греться возле печки и пить пиво из кружки. И как вообще все прекрасно, какая зима, какая радость, что у него есть теперь кого любить! Что та, которую он любит, сидит в вагоне и на нее можно посмотреть и встретить ответный взгляд. О, как это здорово, уж он-то знает, сколько вечеров он провел дома один, когда у него не было ее, или бесцельно слонялся по улицам с приятелем, философствовал, рассуждал о теории относительности и о других приятно-умных вещах, а когда возвращался домой, было грустно! Он даже стихи сочинял, и они тогда нравились приятелю, потому что у того тоже никого не было. А теперь приятель женился...

Он думал, как странно устроен человек. Что вот он юрист, и уж тридцать лет, а ничего особенного он не совершил, ничего не изобрел, не стал ни поэтом, ни чемпионом, как мечтал в юности. И как много причин у него теперь, чтобы грустить, потому что жизнь не получилась, а он не грустит, его обыкновенная работа и то, что нет у него никакой славы, вовсе не печалит, не ужасает его. Наоборот, он теперь доволен и покоен и живет нормально, как если бы добился всего, о чем ему мечталось.

У него одно было только всегдашнее беспокойство — мысли о лете. Еще с ноября начинал он думать и загадывать, как и куда поедет на время своего будущего летнего отпуска. Этот отпуск всегда ему казался таким нескончаемым, таким в то же время кратким, что нужно было заранее все обдумать и выбрать место самое интересное, чтобы не ошибиться, не прогадать. Всю зиму и весну он волновался, узнавал, где хорошо, какая там природа, и какой народ, и как туда добраться, и эти расспросы и планы были, может быть, приятнее даже самой поездки и отпуска.

Он и сейчас подумал о лете, о том, как поедет на какую-нибудь речушку. Они возьмут с собой палатку, приедут на эту речушку, накачают байдарку, и она станет как индейская пирога — прощай тогда Москва, и асфальт, и всякие процессы, и юридическая консультация!

И он тут же вспомнил, как они первый раз уехали из Москвы вместе. Они поехали тогда в Эстонию,

в крохотный городок, где он как-то был по делам и запомнил, а потом поехал с ней. Как они ехали в автобусе, как ночью приехали в Валдай, там все было черно и один только ресторан еще жил, светился, как он выпил стакан старки и опьянел, и ему весело было в автобусе, потому что рядом ехала она и глухой ночной порой дремала, прислонясь к нему. И как они приехали на рассвете, и, хоть была середина августа и в Москве зарядили дожди, там было чисто и светло, всходило солнце, беленькие домики, острые красные черепичные крыши, обилие садов, глушь, и тишина, и заросшие курчавой травкой между камнями улицы.

Они поселились в чистой, светлой комнате, везде там по подоконникам, под кроватью и в шкафу лежали, зрели антоновские яблоки и крепко пахли. Был еще богатый эстонский рынок, они ходили вместе и выбирали себе копченое сало, мед кусками, масло, помидоры и огурцы — дешевизна была баснословная. И этот запах из пекарни, беспрерывное воркованье и плеск крыльев голубей. А главное — она, такая неожиданная, будто бы совсем незнакомая и в то же время уже любимая, близкая. Какое было счастье и еще, наверное, не такое будет, только бы не было войны.

Последнее время он часто думал о войне и ненавидел ее. Но теперь, глядя на сияющий снег, на леса, на поля, слушая гул и звон рельсов, он с уверенностью подумал, что никакой войны не будет, так же как не будет и смерти вообще. Потому что, подумал он, есть минуты в жизни, когда человек не может думать о страшном и не верит в существование зла.

Они сошли чуть не последними на далекой станции. Снег звонко заскрипел под их шагами, когда они пошли по платформе.

— Какая зима! — снова сказала она, щурясь. — Давно такой не было!

Им надо было пройти километров двадцать до его дачи, переночевать там, покататься еще днем и возвратиться вечером домой по другой железной дороге.

У его отца был маленький фруктовый участок с летней дощатой дачкой, а на этой дачке — две

кровати, стол, грубые табуретки и чугунная немецкая печка.

Надев лыжи, он подпрыгнул несколько раз, похлопал лыжами по снегу, взметая пушистую порошу, потом проверил крепления у нее, и они потихоньку двинулись. Сначала они хотели идти побыстрей, чтобы пораньше добраться до дому, успеть прогреть его хорошенько и отдохнуть, но идти быстро в этих полях и лесах невозможно было.

— Смотри, какие стволы у осин! — говорила она и останавливалась. — Цвета кошачьих глаз.

Он тоже останавливался, смотрел — и верно, осины были желто-зелены наверху, совсем как цвет кошачьих глаз.

Лес был пронизан дымными косыми лучами. Снег пеленой то и дело повисал между стволами, и ели, освобожденные от груза, раскачивали лапами.

Они шли с увала на увал и видели иногда сверху деревни с белыми крышами. Во всех избах топились печи, и деревни исходили дымом. Дымки поднимались столбами к небу, но потом сваливались, растекались, затягивали, закутывали окрестные холмы прозрачной синью, и даже на расстоянии километра или двух от деревни слышно было, как пахнет дымом, и от этого запаха хотелось скорей добраться до дому и затопить печку.

То они пересекали унавоженные, затертые до блеска полозьями дороги, и хоть был декабрь, в дорогах этих, в клочках сена, в голубых прозрачных тенях по колеям было что-то весеннее и пахло весной. Один раз по такой дороге в сторону деревни проскакал черный конь, шерсть его сияла, мышцы переливались, лед и снег брызгали из-под подков, и слышен был дробный хруст и фырканье. Они опять остановились и смотрели ему вслед.

То неровно и взлохмаченно летела страшно озабоченная галка, за ней торопилась другая, а вдали ныряла, не выпуская галок из виду, заинтересованная сорока: что-то они узнали? И на это нужно было смотреть. А то качались, мурлыкали и деловито копошились на торчащем из-под снега татарнике снегири — необыкновенные среди мороза и снега, как тропические птицы, и сухие семена от их крепких толстых клювов брызгали на снег, ложась дорожкой.

Иногда им попадался лисий след, который ровной

и в то же время извилистой строчкой тянулся от былья к былью, от кочки к кочке. Потом след поворачивал и пропадал в снежном сиянии. Лыжники шли дальше, и им попадались уже заячьи следы или беличьи в осиновых и березовых рощах.

Эти следы таинственной ночной жизни, которая шла в холодных пустынных полях и лесах, волновали сердце, и думалось уже о ночном самоваре перед охотой, о тулупе и ружье, о медленно текущих звездах, о черных стогах, возле которых жируют по ночам все эти зайцы и куда издали, становясь иногда на дыбки и поводя носом, приходят лисицы. Воображался громовой выстрел, вспышка света и хрупкое ломающееся эхо в холмах, брех потревоженных собак по деревням и остывающие, стекленеющие глаза растянувшегося зайца, заиндевелые толстые усы и теплая тяжесть заячьей тушки.

Внизу, в долинах, в оврагах, снег был глубок и сух, идти было трудно, но на скатах холмов держался муаровый наст с легкой порошей — взбираться и съезжать было хорошо. На далеких холмах, у горизонта, леса розово светились, небо было сине, а поля казались безграничными.

Так они и шли, взбираясь и скатываясь, отдыхая на поваленных деревьях, улыбаясь друг другу. Иногда он брал ее сзади за шею, притягивал и целовал ее холодные обветренные губы. Говорить почти не говорили, редко только друг другу: «Посмотри!» или «Послушай!»

Она была, правда, грустна и рассеянна и все отставала, но он не понимал ничего, а думал, что это она от усталости. Он останавливался, поджидая ее, а когда она догоняла и смотрела на него с каким-то укором, с каким-то необычным выражением, он спрашивал осторожно — он-то знал, как неприятны спутнику такие вопросы:

— Ты не устала? А то отдохнем.

— Что ты! — торопливо говорила она. — Это я так просто... Задумалась.

— Ясно! — говорил он и продолжал путь, но уже медленней.

Солнце стало низко, и только одни поля на вершинах холмов сияли еще, леса же, долины и овраги давно стали сизеть и глохнуть, и по-прежнему по необозримому пространству лесов и полей двигались две одинокие фигурки — он впереди, она сза-

ди, и ему было приятно слышать сзади шуршание снега под ее лыжами и чирканье палок.

Однажды в розовом сиянии за лесом, там, где зашло уже солнце, послышался ровный рокот моторов и через минуту показался высоко самолет. Он был один озарен еще, солнечные блики вспыхивали на его фюзеляже, и хорошо было смотреть на него снизу, из морозной сумеречной тишины, и воображать, как в нем сидят пассажиры и думают о конце своего пути, о том, что скоро Москва и кто их будет встречать.

В сумерки они, наконец, добрались до места. Потопали заледенелыми ботинками на холодной веранде, отомкнули дверь, вошли — в комнате было совсем темно и казалось холоднее, чем на улице.

Она сразу легла, закрыла глаза. Дорогой она разгорячилась, вспотела, теперь стала остывать, озноб сотрясал ее, и страшно было пошевелиться. Она открывала глаза, видела в темноте дощатый потолок, видела разгорающееся пламя в запотевшем стекле керосиновой лампочки, зажмуривалась — и сразу начинали плавать, сменять друг друга желто-зеленое, белое, голубое, алое — все цвета, на которые нагляделась она за день.

Он доставал из-под террасы, носил дрова, грохал возле печки, шуршал бумагой, разжигал, кряхтел, а ей не хотелось ничего, и она была не рада, что поехала с ним в этот раз.

Печка накалилась, стало тепло, можно было раздеться. Он и разделся, снял ботинки, носки, развесил все возле печки, сидел в нижней рубахе, довольный, жмурился, шевелил пальцами босых ног, курил.

— Устала? — спросил он. — Давай раздевайся!

И хоть ей не хотелось шевелиться, а хотелось спать от грусти и досады, она все-таки послушно разделась и тоже развесила сушить куртку, носки, свитер, осталась в одной мужской ковбойке навыпуск, села на кровать, опустила плечи и стала глядеть на лампу.

Он сунул ноги в ботинки, накинул куртку, взял ведро, которое на веранде, когда он вышел, вдруг певуче зазвенело. Вернувшись, он поставил на печку чайник, стал рыться в рюкзаке, доставал все, что там было, и раскладывал на столе и подоконнике.

Она молча дождалась чаю, налила себе кружку и потом тихо сидела, жевала хлеб с маслом, грела горячей кружкой руки, прихлебывала и все смотрела на лампу.

— Ты что молчишь? — спросил он. — Какой сегодня день был! А?

— Так... Устала я страшно сегодня. — Она встала и потянулась, не глядя на него. — Давай спать!

— И это дело, — легко согласился он. — Погоди, я дров подложу, а то дом настыл...

— Я сегодня одна лягу, можно вот здесь, у печки? Ты не сердись, — торопливо сказала она и опустила глаза.

— Что это ты? — удивился он и сразу вспомнил весь ее сегодняшний грустно-отчужденный вид, а вспомнив, озлобился, и сердце у него больно застучало.

Он понял вдруг, что совсем ее не знает: как она там учится в своем университете, с кем знакома и о чем говорит. И что она для него загадочна, как и в первую встречу, не знакома, что он, наверное, груб и туп для нее, потому что не понимает, что ей нужно, и не может сделать так, чтобы она была постоянно счастлива с ним, чтобы ей уж ничего и никого не нужно было.

И ему стало сразу стыдно за весь сегодняшний день, за эту жалкую дачу, и печку, и даже почему-то за мороз, и солнце, и за свой покой — зачем ехали, зачем все это нужно? И где же это хваленое проклятое счастье?

— Ну что ж... — сказал он равнодушно и перевел дух. — Ложись, где хочешь.

Не взглянув на него, не раздеваясь, она сразу легла, накрылась курткой и стала смотреть в печку на огонь. Он перешел на другую кровать, сел, закурил, потом потушил лампу и лег. Горько ему стало, потому что он чувствовал, она от него уходит. Что-то не выходило у них со счастьем, но что, он не знал и злился.

Через минуту он услышал, что она плачет. Он привстал, посмотрел через стол на нее. От печки было довольно светло, а она лежала ничком, глядела на пылающие дрова, и он видел ее несчастное, залитое слезами лицо, жалко и некрасиво кривящиеся, дрожащие губы и подбородок, мокрые глаза, которые она все вытирала тонкой рукой.

Отчего ей сегодня стало вдруг так тяжело и несчастливо? Она и сама не знала. Она чувствовала только, что пора первой любви прошла, а теперь наступает что-то новое, и прежняя жизнь ей стала неинтересна. Ей надоело быть никем перед его родителями, дядьями и тетками, перед его друзьями и своими подругами, она хотела стать женой и матерью, а он не видит этого и вполне счастлив так. Но и смертельно жалко было первого тревожного времени их любви, когда было все так неясно и неопределенно, зато незнакомо, горячо и полно ощущением новизны.

Потом она стала засыпать, и ей пригрезилась снова ее давнишняя мечта, с которой она засыпала каждый раз еще девочкой. Что будто бы он сильный и мужественный и любил ее, а она его тоже любила, но почему-то говорила «нет», и он уехал далеко на север и стал рыбаком, а она страдала. Он там охотился в прибрежных скалах, прыгал с камня на камень, сочинял музыку, выходил в море ловить рыбу и думал все время о ней. Однажды она поняла, что счастье у нее только с ним: все бросила и поехала к нему. Она была так красива, что все ухаживали за ней дорогой: летчики, шоферы, моряки, — но она никого не видела, а думала только о нем. Встреча с ним должна была быть такой необыкновенной, что страшно было даже вообразить. И придумывались все новые и новые задержки, чтобы как-то отдалить эту минуту. Так она и засыпала обыкновенно, не встретившись с ним.

Давно уже не думала она на сон ни о чем подобном, а сегодня почему-то опять захотелось помечтать. Но и сегодня, в то время, когда она уже ехала на попутном мотоботе, мысли ее стали мешаться, и она уснула.

Проснулась она ночью оттого, что было холодно. Он сидел на корточках и растапливал остывшую печку. Лицо у него было грустное, и ей стало его жалко.

Утром они помолчали сначала, молча завтракали, пили чай. Но потом повеселели, взяли лыжи и пошли кататься. Они взбирались на горы, съезжали, выбирая все более крутые и опасные места.

Дома они грелись, говорили о незначительном, о

делах, о том, какая все-таки хорошая зима в этом году. А когда стало темнеть, собрались, заперли дачу и пошли на лыжах на станцию.

К Москве они подъезжали вечером, дремали, но когда показались большие дома, ряды освещенных окон, он подумал, что сейчас им расставаться, и вдруг вообразил ее своей женой.

Что ж! Первая молодость прошла, то время, когда все кажется простым и необязательным — дом, жена, семья и тому подобное, — время это миновало, уже тридцать, и что в чувстве, когда знаешь, что вот она рядом с тобой и она хороша и все такое, а ты можешь ее всегда оставить, чтобы так же быть с другой, потому что ты свободен, — в этом чувстве, собственно, нет никакой отрады.

Завтра целый день в юридической консультации, писать кассации, заявления, думать о людских несчастьях, в том числе и о семейных, а потом домой — к кому? А там лето, долгое лето, всякие поездки, байдарка, палатка и опять — с кем? И ему захотелось быть лучше и человечнее и делать все так, чтобы ей было хорошо.

Но когда они вышли на вокзальную площадь и горели фонари, шумел город, а снег уж успели убрать, увезти, — они оба почувствовали, что их поездки как бы и не было, не было двух дней вместе, что им нужно сейчас прощаться, разъезжаться каждому к себе и встретиться придется, может быть, дня через два или три. Им обоим стало как-то буднично, покойно, легко, и простились они, как всегда прощались, с торопливой улыбкой, и он ее не провожал.

проклятый север

Весной на меня наваливается странная какая-то тоска. Я все хочу чего-то, мне скучно, я думаю о проходящей своей жизни, много сплю и встаю осоловевший и разбитый.

Стоял апрель, мы жили в Ялте, бездельничали после девяти месяцев отчаянной трепки в зимнем океане.

Всю осень и зиму мы ловили треску в Баренцевом море, забирались иногда в Норвежское, в Атлантику, и ни разу залитая рыбьим жиром палуба нашего траулера не была спокойной.

В Ялте горы казались красно-лиловыми, море синело и блестело, туманы были редки, а на набережной продавалось кислое крымское вино. Везде из садов, из-за каменных стен, на узких кривых татарских улочках в гористой части Ялты тянуло запахом цветов и влажной земли. И вообще пахло югом, древними горами и морем. На камнях, на плитах тротуаров лежали розовые лепестки — деревья осыпали свой цвет, и весь Крым в эту пору розово дымился и пах нежным дурманом. На базаре продавали красную редиску и невиданную иглу-рыбу с черной спиной, белым брюхом и зеленым позвоночником.

Мы жили в гостинице на набережной, и по ночам под нашими окнами шумело море, иногда перехлестывая через парапет. Мигал рубиновым глазом маяк в конце мола, и часто заходили, медленно вдвигались и застывали в порту красивые, освещенные, белые пароходы.

Мы презирали эти пароходы за их величину, за лень и благополучие, за их освещенность и легкость. Мы не могли смотреть без смеха на южных моряков-каботажников, на их белые мичманки, белые рубашки, на галстуки и на их отутюженные брюч-

ки. Мы вспоминали, как кривоного, беспомощно и упорно пляшем мы в полярном мраке, среди воя и свиста, среди гулких ударов, скрипа и треска — на палубах, резко освещенных рабочими лампами.

— А то давай переведемся, а? — предлагал я, лежа на балконе в шезлонге, глядя вниз на белые пароходы. — Мандарины в Поти будем жрать.

Друг мой только скалился.

Еще цвело в Ялте иудино дерево. Не было на нем веток, не было листьев — просто мучительно искривленные коряги, черные во время захода солнца и будто сочащиеся кровью. Но в то же время они и мохнаты были, как уродливые гусеницы, от цветов, которые лезли прямо из коры.

Одно такое дерево торчало как раз под верандой нашей гостиницы. Мы сидели вечерами на веранде, пили коньяк и кофе — единственный хороший кофе во всей Ялте, — смотрели молча то на море, на огни в порту, то на набережную, на женщин и пижонов в цветных рубахах, то на это дерево. Когда нам надоедало смотреть вниз, мы поворачивались и смотрели на горы, которые постепенно теряли свои краски, становились сперва палевыми, дымчатыми, потом густо-лиловыми, потом черными...

Днем мы толкались на набережной или ездили в Гурзуф, в Ореанду, вечером снова бродили по набережной, под фонарями. И днем и вечером всюду было оживленно, шумно, людно, пахло духами, пудрой, женским телом — все будто торопились жить, все хотели счастья, легкости и знакомств.

А нам было скучно. Каждый раз вечером наваливалась на нас тоска, и Ялта казалась нам убогой, веселье людей — неестественным, и даже море было для нас ненастоящим, слишком прилизанным и удобным, созданным будто специально для отдыхающих, для прогулок на катерах. А катера были обязательно с громкоговорителями, и обязательно на весь порт, на всю Ялту, на все море хрипели и выли давно знакомые, заезженные пластинки.

И этот день плохо начался для нас. Мы валялись в номере, засыпали и просыпались, зевали, шелестели газетами. Мы ходили в буфет, но и пить с утра нам не хотелось. Наконец друг мой спросил:

— Слушай, а в доме Чехова ты был?

 — Не был. А что?

Я где-то видел этот дом на открытке, но забыл, и теперь мне представилось что-то белое и решетчатое, что-то такое восточное.

— Давай, старик, поедем! — предложил мой друг. — Я люблю Чехова, знаешь? Как-то я его нежно очень люблю.

Мы побрились, пошли по набережной к почтамту, взяли такси и поехали. День был яркий, знойный, солнце отражалось от домов, от дороги, от каменных стен, от крыш внизу, когда дорога взбегала наверх. В машине было жарко, и машина была расхлябанная, бренчала и громыхала, и воняло бензином, и шофер был почему-то неразговорчивый, мрачный.

Все оказалось совсем не таким, как я думал. Внизу, под дорогой, стояли дом и флигель, и стены, выходящие на двор, были какие-то плоские, слепые. Двор около дома засыпан был гравием. На гравий больно было смотреть, так он был бел под солнцем. Под ногами неприятно шуршало и скрипело, а на верхней дороге жужжали МАЗы, и душный выхлопной дымок сносило вниз к дому.

А когда мы вошли, друг мой стал морщиться, сопеть, играть скулами.

— Ты чего? — спросил я. — Сам приехал, не тянули!

Нам было как-то неловко в этом доме. Я все думал, что вот строил человек себе дом, хотел тихо пожить, чай пить, глядеть на море, вообще как-то побыть самому, писать там что-нибудь, думать. И вот мы надели шлепанцы и ходим по комнатам, заглядываем в разные углы. Там, глядишь, висит пальто, шляпа — Чехов надевал. Там марки какие-то лежат, стопочкой связаны, крючки рыболовные, лески... Думаешь, вот марками занимался, радость ему была, небось слюнями мочил или над самоваром отпаривал, разглядывал. А может, если бы он знал, что через шестьдесят лет мы будем разглядывать все это — ни за что бы не стал собирать.

Ходила вместе с нами какая-то компания, на машине приехали, и от всех слегка попахивало выпивкой. И были они все красные, распаренные и, видно, не знали сами, как это их сюда занесло. Они шептались, впрочем, достаточно громко, чтобы слышать их. И было в их шепоте что-то гнусное и жалкое одновременно:

— А она его любила? Зачем он с бородой был, ему не идет. А домик ничего себе! В таком доме и я бы написал чего-нибудь. Сколько тут комнат? Ого! А говорят, скромный был.

Я скорей перешел в кабинет. Тут был камин, письменный стол с какими-то вещицами, фотографии на стенах. Был стенд, заваленный весь фотокарточками — вот красавец Шаляпин с коком, с резкими ноздрями вздернутого носа, вот узколикий Бунин с твердыми, серыми, надменными глазами, с пушком по верхней губе. И на всех карточках были надписи — все размашистые, нарочито небрежные, будто каждому и не было вовсе лестно подарить карточку Чехову. Но было в то же время во всех надписях и еще что-то такое — для потомства, для истории, словно каждый хотел сказать своей надписью: вот, мол, хоть и Чехов, а я его знаю, хоть он и знаменит, однако и сам я не хуже, и неизвестно еще, кто кому оказывает честь — он мне, принимая карточку, или я ему — даря.

Заглянули мы и в спальню с жалкой какой-то, узкой железной кроватью, а больше уж и глядеть нечего было, да и не хотелось нам, и все время неловко было, будто пришли, а хозяина нет, вот-вот вернется и застанет нас.

С облегчением сняли мы шлепанцы, вышли на двор, сели на лавочку под каким-то деревом, закурили. Глаза у моего друга были мокрые, скулы побелели, он, щурясь, оглядывал двор.

— Кувшины видал какие? — кивнул я на огромные глиняные круглые сосуды под водосточными трубами у флигеля. — Это при нем было?

— При нем, — сказал мой друг. Он все знал о Чехове. — Тогда водопровод плохо работал, дождевую собирали.

Мы помолчали. Как-то нам стало очень грустно в этом доме и жалко чего-то.

— А сад какой! — сказал мой друг. — Это он сажал, знаешь? Очень это хорошо! А знаешь, есть такая фотография: стоит он в кабинете, у стены, возле шкафа...

Сигарета у него погасла, он стал ее раскуривать.

— Ну?

— Я поглядел, шкаф стоит. И все как было. Вот так, старик. Шкаф стоит... Он тогда как раз возле шкафа стоял, даже опирался плечом. Или нет?

Забыл... Но он там стоял, без пенсне, очень какой-то весь черный.

Мы еще посидели. Давешняя компания вышла из дому. Мужчины радостно закурили, женщины вынули зеркальца и пудреницы. Потом все пошли к машине, повозились там с какими-то тайными приспособлениями, отомкнули ее и уехали.

— Подумать только! — с внезапной злобой сказал мой друг. — Как он жил, как жил, господи ты боже мой! Равнодушная жена в Москве, а он здесь или в Ницце, пишет ей уничижительные письма, вымаливает свидания! А здесь вот, в этом самом доме печки отвратительные, температура в кабинете десять градусов, холод собачий, тоска... В Москву поехать нельзя, и в Крыму болеет Толстой. А на севере — Россия, снег, бабы, нищие, грязь, и темнота, и угарные избы. Ведь он все это знал, а у самого чахотка, кровь горлом, эх! Пошли, старик, выпьем! Несчастная была у него жизнь, а крепкий все же был человек, настоящий! Я его люблю, как никого из писателей, даже Толстого. Вот так.

Солнце стояло уже низко над горами, мы посидели еще и пошли домой пешком. Шли мы долго, и я думал, что и в этот вечер у меня снова будет тоска и что хорошо бы куда-нибудь пойти на люди. А когда пришли на набережную, солнце совсем скрылось, горы посинели, на маяке зажгли огонь. На набережной прямо под небом сидели за столиками и пили багровое и светлое сухое вино.

— Выпьем вина? — вяло предложил я.

— Иди пасись! — сказал мой друг. — Мне три литра надо выпить, чтобы почувствовать. А три литра выпьешь, идешь, будто траулер с полными трюмами. Вот так, старик, давай-ка лучше погребем к коньячку!

Потом мы стали ругать коньяк, и водку, и вообще пьянство. Нам надоело пить, но мы никак почему-то не могли это бросить. Когда долго живешь в море и видишь все одно и то же: треску, морского окуня, поднимающийся и опускающийся горизонт, вспененную, взлохмаченную поверхность воды, когда в каюте у тебя все ерзает, падает, когда ты сам во сне валишься через бортик койки и только в последнее мгновение цепляешься за что-нибудь и снова забираешься под одеяло, — хочется чего-то

высокого и настоящего: настоящих женщин, музыки, настоящей еды, интересных разговоров и тишины. Но все это где-то далеко, все это отделено от нас сотнями миль пустынной штормовой поверхности океана, и проходит целая вечность, пока ты ступишь на берег, уж забудешь его запах и вид. И вот, когда Кольским заливом идешь к Мурманску, то еще часа за четыре бросаешь робу, надеваешь чистую рубаху, бреешься, и рубаха так прекрасно пахнет! Надеваешь еще галстук, от которого отвык, и узкие ботинки, которые жмут, и почему-то думаешь только о том, как придешь в ресторан, где будет тепло, светло и покойно, где будут женщины — пусть не твои, — где будут вино и бифштексы, пусть плохие, но все лучше, чем стряпня корабельного кока и тресковая опостылевшая уха.

И в Ялте мы были одни, как будто только что вернулись из долгого рейса, нам некуда было деваться, а только разговаривать о смысле жизни, о ее краткости, переменчивости, и чем веселее было вокруг нас, тем грустнее было нам, хоть это и глупо грустить, когда весна, когда ты в Ялте, на берегу прекрасного моря, когда кругом так много людей, и так южно и древне пахнет, так все зовет к бездумности, к счастью — но что делать и кто виноват, что нам плохо!

В ресторане было уж порядочно народу, когда мы пришли. Но столик возле оркестра как раз освобождался, и мы поскорей сели. Нам долго пришлось ждать среди грязной посуды и пустых бутылок, пока не пришел официант. Он был старый, раздраженный, ходил медленно, приседая, выворачивая ступни, и лицо у него было пошлое и алчное. Кое-как он убрал стол, пренебрежительно записал, что мы ему наговорили, и ушел, а мы выложили сигареты, закурили, облокотились и стали слушать музыку и глядеть по сторонам.

Музыкантов на эстраде было трое: пианист, скрипач и гитарист. Когда я слушаю музыку в ресторане, смотрю на оркестр, на лица музыкантов, как они переговариваются, отдыхают, как они играют давным-давно знакомые вещи, которые играли, кажется, еще до того, как ты родился, — мне делается жалко музыкантов. Я думаю о том, как

некоторые из них учились когда-то, ходили в музыкальную школу или в училище, или даже в консерваторию, слышали из-за дверей классов звуки роялей, виолончелей; как разучивали концерты Моцарта и Бетховена; как им грезились симфонические концерты, мраморные залы, партер и ложи, мощно, дружно звучащий оркестр, и они в этом оркестре, и их соло в каком-то месте симфонии. И как потом у каждого из них что-то не получилось, не удалось, и вот все они мало-помалу превратились в лабухов, усвоили легко тот музыкальный жаргон, который теперь так широко подхватили пижоны, — и человека уже называют «чуваком», о своей игре говорят: «лабать», еда и выпивка для них «бирлянство» и «кирянство», а если играют на похоронах, то это удача, и покойник для них не покойник, а «жмурик»... Лица у них потасканные, судьбы у них нет никакой, спят они до часу дня, дома не занимаются и постепенно забывают все, чему их учили когда-то, играть начинают хуже и если киксуют, то уже не конфузятся, а если фальшивят, то не слышат.

Но эти музыканты как-то сразу понравились нам. У каждого из них было лицо, и играли они хорошо, и вещи, которые они играли, хотя бы и старые, вдруг казались как новые, и почему-то все выходило у них грустно.

Пианист был слеп, и у него, как у всех слепых, было неподвижное лицо. А этот, кроме всего, был еще худ, изящен, с бабочкой, и в темных французских очках. Локти, плечи, колени — все у него было нервное, острое, пальцы белые и длинные, сухие. Но лучше всего было лицо — аскетически худое, со страдальческими морщинами возле губ, со втянутыми щеками, запавшими висками, очень трагический профиль, и в тонких бледных губах постоянно тлела сигарета. Когда музыканты кончали номер и отдыхали, он откидывался, поднимал лицо и брал тихонько необыкновенные, сказочные по сложности аккорды и, как птица, слушал себя, и даже моряки за соседним столиком, уловив что-то необычное, замолкали, прислушивались.

Скрипач был чудовищно толст, пузат и маслянист, с вылупленными, как луковицы, глазами. Он постоянно улыбался, переступал, весь вытягивался к микрофону, закатывал глаза и играл с подъезда-

ми, сипло и неистово, как румын, и звук его скрипки, усиленный микрофоном, терзал сердце, и хотелось плакать, и говорить, и пить, и чтобы рядом сидела смуглая прекрасная женщина, которая все понимает.

А гитарист с каменным, медалевидным профилем даже берета не снимал, сидел, вольно выставив ноги, тихо трогал свою гитару, к которой присоединен был динамик, и она у него пела чисто и звучно. И ни на кого не смотрел, а смотрел куда-то в стену, поверх голов, и вид у него был, как у орла в клетке, завороженно глядящего на ослепительный конус горной вершины. Иногда он вставал, если заказывали песню, и, сделав шаг к микрофону, скосив глаза на тетрадку со словами, которая лежала на пульте, пел с бесстрастным лицом, еле шевеля губами, на иностранный манер выговаривая пошлые слова о том, как встретились мы в баре-ресторане. Скрипач в этот момент отступал в глубь эстрады, елозил смычком по баскам, шевелил пухлыми пальцами, пожирал глазами тот столик, который заказал песню, и сладко улыбался.

— А я бы взял в плавание этого — в берете, — сказал вдруг мой приятель и прищурился. — Смотри, какое лицо — с этим можно идти в разведку, а?

— Почему мне грустно, старик, скажи? — спросил я и стряхнул пепел с сигареты. — И зачем мы пошли к Чехову?

За соседним столиком моряки пили коктейль. Как всегда, они преувеличивали свою отрешенность от земли, девочки у них были с высокими круглыми прическами, крашеные, с загорелыми руками и шеями, и требовали себе мороженого и сухого вина. А моряки пили коктейль, который составляли из шампанского, пива и водки. Сперва в фужер наливали водку, потом смешивали с пивом и доливали шампанским. Потом чокались и пили, зажмурившись. Наверное, им было противно, но они держали марку — коктейль все-таки.

— Видал? — спросил я.

Мой друг налил себе и мне коньяку.

— Выпьем за Чехова, — сказал он. — Как-то на меня это подействовало, знаешь. Раньше как-то не думал, а теперь понял: несчастный он был. Дом этот и вообще все — бадяга это. Какая тут жизнь?

Ему Россия нужна была, он на Шпицберген все собирался съездить. У меня сердце что-то болит, нельзя мне пить. Уехать бы нам куда-нибудь из этой Ялты, а, старик?

За соседним столиком не знали, о чем говорить, но молчать было нельзя, и вот один стал рассказывать анекдоты, другой достал блокнот, листал и с нетерпением ждал своей очереди.

— Вопрос армянскому радио, — говорил первый с акцентом. — Можно ли убить человэка газэтой? Атвэчаем: можно! Надо в газету завэрнуть утюг!

Девочки хохотали, курили и кашляли.

— А вот статистика любви, — среди хохота начинал другой и тут же кричал: — Слушайте! Тихо! Статистика любви: в одну минуту на всем земном шаре происходит три миллиона поцелуев!

— Брось! Ха-ха-ха! — закатывались девочки.

— Пять тысяч четыреста шестьдесят три женщины рожают! — кричал моряк.

— Сильно, а? — спросил я.

— Ты знаешь, чего я вспомнил, — сказал мой друг. — Мы раз ловили в Норвежском море на РТ-206, тебя тогда с нами не было, а я старпомом плавал. Штормяга был крепкий, декабрь, темно, волна шла с Атлантики неимоверная. А у нас в трюмах течь, дрейфуем, все время авралы, но не уходим, все думаем — вот кончится. Да где там — только разыгрывается. Душу выматывает, туман слоями идет, навалит — носа не видно. Десять дней штормовали, а на одиннадцатый у нас матрос один с ума сошел. Молоденький был, салака, вот и чокнулся. Прибегают ко мне ребята, кричат отчаянно: «Гляньте, товарищ старпом!» Я гляжу, а матрос этот по палубе в кальсонах и в тельнике бегает. Волной его заливает, бьет о лебедку, как только за борт не смыло! «Хватайте его!» — кричу. Навалились, схватили, а он орет, вырывается... Вечером немного утих, пошел я на полубак. «Что с тобой?» — спрашиваю. «Знаете, — говорит, — товарищ старпом, ребята надо мной издеваются». — «Как же так?» — спрашиваю. «А так, — говорит, — лягу на койку, а они снизу меня шилом колют, я с ними не могу, я лучше за борт кинусь! Велите им меня не трогать!» Ну, я на ребят смотрю, кричу: «Вы это что же, тра-та-та, да вы как это смеете, тра-та-та, да я вас, тра-та-та!» А он радуется, язык им пока-

зывает. «Вот, — говорю, — больше они не будут тебя колоть, будь спокоен, у нас на корабле дисциплина!» А сам ребятам тихонько сказал, чтоб глаз с него не спускали.

Еще два дня прошло, стало стихать. Встретился нам один тральщик, домой шел, связались мы с Мурманском, оттуда приказывают — на берег его. Стали мы его пересаживать, а он не хочет. Ребята на хитрость пошли, говорят ему тихонько: «Давай скорей на тот! Тот новый, а у нашего полны трюма воды, вот-вот дуба даст, потонет к чертям собачьим!» — «А! — говорит. — Тогда, ребята, давайте, скорей давайте!» — И покатил в Мурманск. А мы остались тресочку ловить...

— А что потом с ним стало, не знаешь? — спросил я.

— Вылечился, опять плавает. Я его встречал, хороший матрос.

— Да, — сказал я и закурил. — Давай выпьем!

В ресторане было светло, шумно, хлопало шампанское, кто-то в углу орал, ругался, его выводили. Музыканты играли себе, и скрипач, выворачивая белки, жадно глядел на столики, и если встречал чей-нибудь взгляд, начинал восторженно улыбаться. А музыка была грустная-грустная, гитарист, далеко растянув пальцы на грифе, глухо брал аккорды, гитара его звучала, как электроорган, а пианист курил и откидывал горькое свое лицо в темных очках.

— Тихо! — кричал за соседним столиком моряк. — Шесть тысяч пятьсот женщин изменяют в минуту своим мужьям!

— Иди ты! — небрежно отвечали девочки. — А про вас там написано? Ну? Давай!

Моряк что-то прочел про себя, фыркнул и показал приятелю. Они загоготали переглядываясь.

— Ты помнишь, как мы с тобой познакомились? — спросил внезапно мой друг.

И я тотчас вспомнил Ленинград в декабре, туманно-морозные дни, солнце, красным шаром проступающее сквозь туман, черно-серебряный по утрам Исаакий... И как мой друг на другой день после знакомства приехал ко мне в гостиницу, был выпивши, весел, рассказывал, как прошел с караваном малых сейнеров по Великому Северному пути, как схватил ревмокардит и язву желудка, и как, обма-

нув врачей, опять плавает, и что за баба у них буфетчица на траулере. Потом мы еще выпили тут же у меня, потом он звонил своей подруге, потащил меня к ней, приехали, и он сразу в шинели лег на пол и сказал: «Пой! А я умру! И все». Подруга его любила петь, только голос у нее был сиплый, а я смотрел на них и завидовал им. Он тогда веселый был, радостный, все ждал чего-то замечательного, хоть и закрыли ему заграничную визу за какую-то грандиозную драку в Мурманске в ресторане «Арктика». Да и я начинал только плавать, говорил лишь о море, о севере, имена Норденшельда, Нансена святые были для меня имена. Еще бы не помнить — веселое было время! И этот зимний Ленинград, его улицы, кафе, толкотня на Невском, пустота ночных площадей, пар над каналами, снег на Медном всаднике, тихие пасмурные утра в гостинице, когда тело звенит от сил и легкости и спрашиваешь себя: «Что мне сегодня предстоит такое хорошее?» И появления моего друга, уже неистового, с одной мыслью: гулять, гулять, пить, ехать к приятелям, к женщинам. И мы ехали, гуляли, много смеялись, кажется, все время смеялись, я хохотал, а друг мой только скалился, хохотать он и тогда не умел. Да, я тогда окончил Мореходку и начинал жить.

— А Наташу ты помнишь? — спросил мой друг, опуская глаза. Это была та его женщина, которая пела когда-то в зимнем Ленинграде.

— Ты это брось, — сказал я. — Брось, старик, а то и так тоска!

— А Мишку помнишь, длинного Мишку? Ты тогда, пьяный, сильно его презирал?

— Ну, помню, — сказал я. — Я потом его встречал, прекрасный парень оказался. Я дурак, а ты брось, не вспоминай ничего!

— Он погиб два года назад, в проливе Вилькицкого. Забыл тебе совсем сказать, я на его могиле был, когда в прошлом году на перегоне работал. Вот так, старик, а мы с тобой в Ялте коньячок лакаем.

— А! — сказал я.

И затосковал, а музыка наигрывала что-то печальное, и в голову почему-то все лезли три миллиона поцелуев в минуту. Это была такая страшная цифра, что как-то даже и не воображалось ничего,

нельзя было осознать, почувствовать эти поцелуи, которыми в эту минуту занимались где-то у нас на громадном пространстве, и в Африке, и в Австралии, и в Польше... А вспоминались мне почему-то дикие фактории — все, какие я видел на севере, острова, черные базальтовые скалы и ледяные купола, уходящие в фиолетовое арктическое небо, и изумрудные изломы ледников, синие тени в трещинах, вечные молчаливые чайки за кормой, вздохи машин, жар в котельных преисподнях, тесные кубрики, каюты, паровое тепло в рубках, сиплые низкие ревы пароходных гудков в тумане и безымянные по всему северу могилы, в которых коченеют ребята, и эти ребята никогда никого не поцелуют... Все это проходило, смешивалось, и было радостно, и холодно, и тоскливо одновременно.

— Эй, кореша! — окликнули нас с соседнего столика. — Извиняюсь, вы моряки будете? Будем здоровы!

И поднимаются к красным лицам мутные бокалы с водочно-шампанской бурдой.

— Будьте счастливы, попутного ветра! — отвечаем мы и тоже поднимаем свои рюмки.

Девочки оттуда во все глаза смотрят на нас, и нам уже нехорошо, что их только две, а не четыре, а то пересесть бы к ним и так же, как их ребята, травить какую-нибудь бадягу.

— Ты мне вот что скажи, — спросил меня друг. — Тебя женщины любят?

— Нет, — сказал я. — Я неинтересный. Все мне скучно. И вообще как-то так...

— А у меня все некрасивые, — сказал друг. — Мне на них везет. Я на них глядеть спокойно не могу, жалею. И они это чувствуют, собаки. А красивых у меня как-то, знаешь, не было. Странно это.

— Фиг с ней, — сказал я. — Красивая из тебя душу вынет. А так, видишь, душа на месте.

— А может, мне как раз надо, чтобы вынула? Может, я как раз хочу, чтоб было такое смертельное, что ли, понимаешь? Чтобы я погорел на этом деле к чертям собачьим! А?

— Ничего, ничего, — сказал я. — Спокойно, старик! У тебя хоть некрасивые есть, а у меня ничего. А вот видишь, сижу, коньячок пью, музыку слушаю — и ничего.

— А какие бабы есть несчастные! — сказал мой друг и пригорюнился, подперся. — Мне их всех страшно жалко. Женщины все-таки. Они ведь нежные. У них животы очень нежные, знаешь?

— Брось! — сказал я. — Дай-ка лучше сигаретку, посидим покурим, музычку послушаем. Мы же с тобой в отпуску. Нам надо отдыхать, салака ты скуластая!

В это время музыканты умолкают, скрипач кладет скрипку и смычок на стул, сходит с эстрады и идет мимо нашего столика. Он сошел будто бы только промяться, но я знаю — ждет, когда его кто-нибудь позовет и что-нибудь закажет из песен.

— Маэстро! — говорю я ему. — Вы здорово играете!

Скрипач тотчас подходит к нам.

— Разрешите? — спрашивает он как-то не по-русски и садится. Он разгорячен, потен, резко пахнет, как пахнут запаленные лошади, улыбается одновременно заискивающе и нагло, но в глубине его выпученных глаз дрожит что-то бесконечно смиренное, услужливое, покорное. — О да! — говорит он и кивает на эстраду. — Настоящие музыканты! Разрешите? — смотрит на коньяк.

Друг мой скалится и наливает ему.

— Попутного ветра! — говорит он так же, как и морякам.

Скрипач быстро пьет, причем лицо его ничего не выражает, только глаза влажнеют.

— Спасибо! — говорит он. — Что бы вы хотели послушать?

— Вы не русский? — спрашивает мой друг.

— Да, я итальянец, мы все итальянцы... — говорит скрипач и оглядывается на наших соседей моряков. Те радостно прислушиваются.

— Аллегро пиццикато! — говорит один из них.— Калор... рагацца модерато!

Девочки хохочут, скрипач тоже.

— Как же вы к нам попали? — спрашивает мой друг скрипача.

— О ля-ля! — машинально отвечает скрипач, дрожа белками, косясь, оглядывая весь зал, кивая кому-то. — Длинная история, еще в войну. Разрешите? — он сам наливает себе и пьет, не закусывая.

— Извиняюсь, — моряк с соседнего столика подходит, покачиваясь, с бокалом своей бурды. — Выпей, папаша! — он хлопает скрипача по жирной спине. — Виваче адажио, а? Ха-ха!.. Давай за здоровье моряков, ну?

— Спасибо! — говорит скрипач радостно и выпивает.

Моряк, довольный, отходит.

— Вы позвольте, я угощу нашего пьяниста? — спрашивает скрипач.

— А гитарист? — Друг мой берется за бутылку.

— О, гитарист не пьет. Спасибо! — Скрипач поднимается на эстраду, дает рюмку пианисту и что-то говорит ему. Пианист поворачивается в нашу сторону — теперь мы видим его длинное острое лицо, сухой нос, губы, опущенные вниз, громадные французские темные очки. Пианист поднимает рюмку, как бы приветствуя весь зал, выпивает и тотчас закуривает новую сигарету. — Так что бы вы хотели послушать? — спрашивает опять скрипач, ставя на стол пустую рюмку.

Я сразу вспоминаю один полярный поселок, осень, которую я однажды там провел, и какое все там было деревянное, а кругом камни, мох и темная шумящая река. И как однажды приехали артисты и был концерт в недостроенном клубе. Там были только стены, и крыша, и эстрада, потолка не было, видны были все балки. Электричества тоже не было, принесли много керосиновых ламп, зажгли возле эстрады, развесили на дощатых стенах. Но все равно в сарае был холодный полумрак, все сидели в одежде, курили, артисты мерзли, торопливо бормотали что-то, и это забылось, и только один номер был хорош.

Вышел аккордеонист и чечеточник. Чечеточник был тонкий, гибкий, в шерстяном черном трико и в белой рубашке с отложным воротником. И зазвучала вдруг французская шансонетка, такой вальсик, и чечеточник, изображая лицом и телом задумчивость, сложил на груди руки, бросил на лоб прядь темных волос, прикрыл глаза и даже голову склонил, и только ноги с фантастической неутомимостью и ритмичностью мелькали, подобно велосипедным спицам, и подошвы издавали однообразный стрекот «ч-ч-ч-ч-ч-ч», и звучала, звучала, звала куда-то, на-

вевала теплую печаль эта самая французская песенка.

Чечеточника долго вызывали на бис, и он опять повторил тот же номер, потом выступали, кричали и орали, воображая, что поют, другие артисты, а мне стало хорошо, и я ушел, ходил один, напевал этот мотивчик, чтобы не забыть, и думал о любви и вообще о всех людях. И шел снег, а на другое утро все кругом было такого цвета, как гречневая каша с молоком, и только река была черная и дымилась.

И вот я вспомнил ту осень, и опять что-то встрепенулось и заныло у меня на душе, я поглядел в глаза скрипачу и сказал:

— А знаете вы вот такую штуку... Я не знаю, как она называется, но в общем вот так: та-ра-ра-ра-а-там-там... А?

— О! — скрипач улыбнулся. — Конечно! Хорошо.

— Только подольше поиграйте, ладно? — попросил я.

— Хорошо.

Скрипач поднялся опять на эстраду, сказал тихо гитаристу и пианисту. Гитарист все так же равнодушно подстроил свою гитару, пианист сразу взял медленные два-три аккорда из этой песенки. Он будто остановил ритм, время, выхватил несколько созвучий и любовался ими, вслушивался и откидывал лицо. Скрипач тоже позудел, настраиваясь, и прозвучали всегда так волнующие меня пустые квинты. Гитарист стал возиться с динамиком, и тот у него уркал и завывал тихонько, а мы все ждали, ждали, и друг мой, хоть и не знал этой песенки, но по лицу моему понимал, что в ней для меня что-то необыкновенное, курил, пил коньяк мелкими глотками и опускал глаза.

Наконец заиграли, и вновь ударило меня по сердцу, и завертелось, закружилось, понеслось мимо — и та осень, и зима в Ленинграде, и вся моя жизнь на кораблях, все мечты, разочарования и грусть.

Я вспомнил о своей работе, о бессонных вахтах, о разговорах с друзьями, об опостылевшем море, куда нас опять почему-то тянет — стоит пожить на берегу недели две...

Я глядел кругом, будто проснувшись, и с удивлением думал, зачем мы здесь, и что с рук наших

уже сходят мозоли, и что пора назад, на север — там скоро весна, что мы прямо-таки отравлены этим проклятым севером, что и говорим-то мы все последние дни только о нем, и Чехов хотел на Шпицберген, и, наверное, поэтому нам так скучно.

И, думая обо всем этом, я поежился от сладкой печали, от любви к жизни, ко всем ее подаркам, все-таки и не очень редким, если припомнить.

— Ты что? — спросил у меня друг.

— Слушай, ты, морской волкодав, — сказал я ему, — я тебе расскажу кое-что, как я сидел на приколе в одном поселке на Кольском, хочешь?

— Валяй! — сказал друг и поерзал, устраиваясь поудобнее. И я рассказал ему о своей тогдашней жизни, как странно мне было напевать там вот эту песенку — и рассказывать мне было приятно.

Моряки за соседним столиком расплатились, взяли своих девочек и пошли к выходу, мы посмотрели им вслед, стараясь увидеть, хороши ли ноги у девочек.

Музыка кончилась, и как-то кончилось для нас одно настроение и началось другое. Нам захотелось домой. Мы допили коньяк и вышли. Маяк на молу мигал. Стоял и светился, как обычно, большой белый пароход, и на нем играла музыка, но совсем другая, чем мы только что слышали, — что-то маршеобразное и громкое.

Мы потолкались по набережной, посмотрели на женщин и пошли в магазин пить вино. Мы взяли сперва по стакану сладкого, оно было клейко и пахло горелым. После него захотелось чего-нибудь кисленького, и мы выпили еще сухого вина.

Друг мой заметно опьянел, настроение у него стало хорошее, он шел, выбрасывая в стороны ноги, и я знал, будь мы в Ленинграде или в Мурманске, мы бы сейчас поехали куда-нибудь, оттуда опять бы поехали, и было бы все хорошо.

Мы остановились и поглядели друг на друга, что-то такое было в наших лицах и глазах, дьявольски смелое и большое.

— Слушай, — старательно выговаривая, сказал мне друг. — Что должен делать человек? В высшем смысле что он должен делать?

— Работать, наверно, — неуверенно предположил я.

— Это грандиозно! — сказал мой друг. — И мы работаем. И плевать нам в высшем смысле на всякие нежности. Пошли спать... Слушай, сколько нам еще осталось?

— Чего осталось?

— Быть в Ялте?

— Долго еще. Недели две.

— Так... Пошли спать, а завтра поедем в этот... как его?

— Куда?

— Как его?.. А! Да черт с ним, куда-нибудь!

КАБИАСЫ

Заведующий клубом Жуков слишком задержался в соседнем колхозе. Дело было в августе. Жуков приехал по делам еще днем, побывал везде и везде поговорил, хотя и неудачный был для него день, все как-то торопились: горячая была пора.

Жуков, совсем молоденький парнишка, в клубе еще и году не работал и был поэтому горяч и активен. Родом он был из Зубатова, большого села, а жил теперь в Дубках, в маленькой комнатке при клубе.

Было бы ему сразу ехать домой, и машина на Дубки шла, но он раздумался и пошел к знакомому учителю, хотел поговорить о культурном. Учитель оказался на охоте, должен был давно вернуться, но что-то запаздывал, и Жуков стал его уныло ждать, понимая уже, что все это глупость и надо было ехать.

Так он и просидел часа два, покуривая в окошко и вяло переговариваясь с хозяйкой. Он даже задремал было, но его разбудили голоса на улице: гнали стадо, и бабы скликали коров.

Наконец ждать не стало смысла, и Жуков, разозленный на неудачу, выпив на дорогу кислого квасу, от которого тотчас стали скрипеть зубы, пошел к себе в колхоз. А идти было двенадцать километров.

Старика Матвея, ночного сторожа, Жуков догнал на мосту. Тот стоял в драной зимней шапке, в затертом полушубке, широко расставив ноги, придерживая локтем ружье, заклеивал папиросу и смотрел исподлобья на подходившего Жукова.

— А, Матвей! — узнал его Жуков, хоть и видел всего раза два. — Что, тоже на охоту?

Матвей, не отвечая, медленно пошел, скося глаза на папиросу, достал из-под полы спички, закурил, дохнул несколько раз и закашлялся. Потом, царапая

ногтями полу полушубка, спрятал спички и тогда только сказал:

— Какое на охоту! Сад стерегу ночью. В салаше.

У Жукова от кваса все еще была оскомина во рту. Он сплюнул и тоже закурил.

— Спишь небось всю ночь, — сказал он рассеянно, думая, что зря не уехал давеча, когда была машина, а теперь вот надо идти.

— Как бы не так — спишь! — помолчав, значительно возразил Матвей. — И спал бы, да не дают...

— А что, воруют? — иронически поинтересовался Жуков.

— Ну, воруют! — усмехнулся Матвей и пошел вдруг как-то свободнее, как-то осел и вроде бы отвалился назад, как человек, долго стесняемый, вышедший, наконец, на простор. На Жукова он не взглянул ни разу, а смотрел все по сторонам, по сумеречным полям. — Воровать не воруют, браток, а приходят...

— Ну? Девки, что ли? — спросил Жуков и засмеялся, вспомнив Любку и что сегодня он ее увидит.

— А эти самые... — невнятно сказал Матвей.

— Вот дед! Тянет резину! — Жуков сплюнул. — Да кто?

— Кабиасы, вот кто, — загадочно выговорил Матвей и покосился впервые на Жукова.

— Ну, повез! — насмешливо сказал Жуков. — Бабке своей расскажи. Какие такие кабиасы?

— А вот такие, — сумрачно ответил Матвей. — Попадешь к им, тогда узнаешь.

— Черти, что ли? — делая серьезное лицо, спросил Жуков.

Матвей опять покосился на него.

— Такие, — неопределенно буркнул он. — Черные. Которые с зеленцой.

Он вынул из кармана два медных патрона и сдул с них махорочный сор.

— Вот глянь, — сказал он, показывая бумажные пыжи в патронах.

Жуков посмотрел и увидел нацарапанные чернильным карандашом кресты на пыжах.

— Наговоренные! — с удовольствием сказал Матвей, пряча патроны. — Я с ими знаю как!

— А что, пристают? — насмешливо спросил

Жуков, но, спохватившись, опять сделал серьезное лицо, чтобы показать, что верит.

— Не так чтобы дюже, — серьезно ответил Матвей. — К салашу не подходят. А так... выйдут, значит, из теми один за однем, под яблоней соберутся, суршат, брякочуть, махонькие такие, станут так вот рядком... — Матвей опустил глаза на дорогу и повел перед собой рукой. — Станут и песни заиграют.

— Песни? — Жуков не выдержал и прыснул. — Да у тебя не похуже, чем у нас в клубе, — самодеятельность! Какие песни-то?

— А так, разные... Другой раз дюже жалостно. А потом и говорят: «Матвей, а Матвей! Подь сюды! Подь сюды!»

— А ты?

— А я им: «Ах вы, под такую мать!.. Брысь отседа!»

Матвей любовно усмехнулся.

— Ну, тогда они начинают к салашу подбираться, а я сейчас наговоренный патрон заряжу да кэ-эк ахну!..

— Попадаешь?

— Попадаешь! — презрительно выговорил Матвей. — Нячистую силу рази убьешь? Так, разгоню маленько до утра, до первого петуха...

— Да! — помолчав, сказал Жуков и вздохнул.— Плохо, плохо!

— Кого? — спросил Матвей.

— Плохо у меня дело с атеистической пропагандой поставлено, вот что! — сказал Жуков и поморщился, оглядывая Матвея. — Небось и по деревне брешешь, девок пугаешь? — строго спросил он, вспомнив вдруг, что он заведующий клубом. — Кабиасы! Сам ты кабиас!

— Кого? — опять спросил Матвей, и лицо его вдруг стало злобно и внушительно. — А вот мимо лесу пойдешь?

— Ну? И пойду!

— Пойдешь, так гляди — навряд домой придешь. Они тебя пирнясуть.

Матвей отвернулся, ничего более не сказав, не простившись, быстро пошел полем к темневшему вдали саду. Даже в фигуре его видна была сильнейшая озлобленность.

Оставшись один на дороге, Жуков закурил и огляделся. Наступали сумерки, небо на западе поблек-

ло, колхоза сзади почти не стало видно, темнели только кое-где крыши между тополей да торчали антенны телевизоров.

Слева виден был березовый лес. Он уступами уходил к горизонту. Было похоже, будто кто-то по темному начиркал сверху вниз белым карандашом. Сперва редко, подальше — чаще, а в сумерках горизонта провел поперечную робкую светлую полосу.

Слева же видно было и озеро, как впаянное, неподвижно стоявшее вровень с берегами и одно светлевшее на всем темном. На берегу озера горел костер, и на дорогу наносило дым. Падала уже роса, и дым был мокрым.

А справа, в сумрачных лугах и просеках, между темными мысами лесов, с холма на холм шагали решетчатые опорные мачты. Они были похожи на вереницу огромных молчаливых существ, заброшенных к нам из других миров и молча идущих с воздетыми руками на запад, в сторону разгорающейся зеленоватой звезды — их родины.

Жуков опять оглянулся, все еще надеясь, что, может быть, пойдет попутная машина. Потом зашагал по дороге. Он шел и все поглядывал на костер и на озеро. Возле костра никого не было. Не видно было ни души и на озере, и одинокий огонь, неизвестно кем и для чего зажженный, производил странное впечатление.

Жуков шел сначала нерешительно, покуривая, оглядываясь, поджидая машину или попутчика. Но никого не было видно ни спереди, ни сзади до самого горизонта, и Жуков, наконец, решился и зашагал по-настоящему.

Он прошел километра четыре, когда стало совсем темно. Одна только дорога светлела, перебитая кое-где туманом. Ночь наступала теплая. Только когда Жуков попадал в туман, его охватывало холодом. Но потом Жуков опять выходил в теплое, и эти переходы от холодного к теплому были приятны.

«Темный у нас народ!» — думал Жуков. Он шел, сунув руки в карманы, двигал бровями и вспоминал лицо Матвея, какое оно сразу стало злобное и презрительное, когда он посмеялся над ним. «Да, — думал он, — надо, надо усилить атеистическую пропаганду. Суеверия надо искоренять!» И ему еще больше захотелось поговорить с кем-нибудь о культурном, об умном.

...Потом он стал думать, что пора бы ему перебраться в город, поступить куда-нибудь учиться. И тут же по своему обыкновению стал он воображать, как дирижирует хором не в колхозном клубе, где нет даже кулис и где ребята покуривают в зале и пересмеиваются, а в Москве, и что хор у него в сто человек — академическая капелла.

Как всегда, от подобных мыслей он почувствовал радостное оживление и уже ничего не замечал кругом, не обращал внимания ни на звезды, ни на дорогу, шел неровно, сжимал и разжимал кулаки, двигал бровями, принимался напевать и усмехаться, не боясь, что кто-нибудь увидит его. Он даже рад был, что идет один, без попутчиков. Так он и дошел до пустого сарая близ дороги и сел на бревно отдохнуть и покурить.

Когда-то был здесь хутор, но после укрупнения колхоза хутор снесли, остался один сарай. Сарай был раскрыт и пуст. В нем, кажется, и двери даже не было. Был он темен и скособочен, а в дыре дверей, в глубине его, стояла особенно глухая чернота.

Жуков сидел, поставив локти на высоко поднятые колени, лицом к дороге, спиной к сараю, курил, остывая постепенно, и думал уже не о консерватории, а о Любке, решая, как бы ее, наконец, половчее поцеловать, когда почувствовал, что на него смотрит кто-то сзади.

Он понял вдруг, что сидит во тьме один, среди пустых полей, среди загадочных темных пятен, которые могут быть кустами, а могут быть и не кустами.

Он вспомнил Матвея, жестко-вещее лицо его напоследок и пустынное немое озеро с костром, неизвестно для чего зажженным.

Затаив дух, он медленно оборотился и взглянул на сарай. Крыша сарая висела в воздухе, даже звезды были видны в промежутке. Но только он взглянул на нее, как она села на сруб, а за сараем что-то с топотом побежало в поле с задушенным однообразным криком: «О!.. О!.. О!..» — все дальше и глуше. Волосы у Жукова поднялись, он вскочил и прыгнул на дорогу.

«Ну! — подумал он. — Пропал!» — и ударился по дороге. Воздух загудел у него в ушах, а в кустах по сторонам что-то ломилось, сопело, дышало ему в спину холодом. «Перекреститься надо! — думал

Жуков, чувствуя, как пытаются схватить его сзади холодными пальцами. — Господи, в руки твои...» А перекрестившись, остановился, не в силах уже бежать, и обернулся.

Но не было никого на дороге, ни в поле, и сарая не стало видно. Жуков утерся рукавом, не спуская глаз с дороги, и сказал хрипло: «Ха!» — и вздрогнул, испугавшись себя. Потом кашлянул, послушал и опять сказал, стараясь, чтобы не вздрагивал голос:

— Хо! Хо! Эй!..

Отдышавшись, Жуков торопливо зашагал, с лихорадочной тоской соображая, как далеко ему еще идти, какая ночь и тьма кругом и что лес, на который загадочно намекал ему Матвей, еще впереди.

Дорога спустилась к речке, и Жуков, как во сне, громадными скачками перенесся через мост над черной водой и зарослями ивы. Под мостом загукало, но Жуков даже не разобрал, был ли то действительно звук или ему показалось. «Ну погоди, я до тебя доберусь!» — со страхом думал Жуков о Матвее, поднимаясь на пригорок, на котором, он знал, начинается лес.

Лес начался росой и сыростью. Что-то мощно дышало из глубины его, вынося в теплый полевой воздух запах прели, грибов, воды и хвои. Направо — в лесу — стоял густой мрак. Налево — в поле — было виднее. Сияли наверху звезды, чем позднее, тем все густевшие. Небо, хоть и черное, все-таки слабо дымилось светом, и деревья выделялись на его фоне твердыми силуэтами.

Из лесного мрака с какого-то сука сорвалась сова, со слабым шорохом перелетела и села впереди. Жуков услышал ее, но не видел, как ни старался. Видел он только, как, перечеркивая звезды, закачался сук, на который она села.

Подходя к ней, Жуков снова спугнул ее, и она стала летать кругами, захватывая часть поля и тотчас возвращаясь в лесную тьму. И теперь Жуков ее увидел. На горизонте за полями еще тлел остаток зари, даже не остаток, а просто небо там было размытее, невещественней, и сова, пролетая, мелькала каждый раз там беззвучным темным пятном.

Косясь на сову, Жуков спотыкался о корневища и нехорошо о ней думал. Глянуть направо в лес или назад он совсем не смел. А когда все-таки глянул вперед по дороге, мороз продрал его по спине: впе-

реди и немного слева, перейдя из лесу через дорогу, стояли и ждали его кабиасы. Маленькие были они, как и говорил Матвей. Один из них тотчас хихикнул, другой жалобно, как давеча за сараем, простонал: «О-о... О-о...», — а третий крикнул перепелиным победным голосом: «Подь сюды! Подь сюды!»

Жуков стукнул зубами и помертвел. Он и перекреститься не мог, рука не поднималась.

— А-а-а!.. — заорал он на весь лес и вдруг понял, что это елочки. Весь дрожа, как собака перед стойкой, сделал он к ним шаг и еще шаг... За елочками что-то зашуршало и покатилось с беспокойным криком в поле.

«Птица!» — догадался Жуков, радостно переводя дыхание и поводя плечами под намокшей рубахой. Духом пронесясь мимо елочек, он вытащил папиросу, достал было и спички, но тут же сообразил, что, если зажжет спичку, его сразу заметят во всем лесу. Кто заметит, он не знал и боялся думать, а знал, что заметят.

Жуков присел, посмотрел понизу по сторонам, натянул на голову пиджак и так, под пиджаком, прикурил. «Пойду полем!» — решил он. Идти лесом, дорогой он больше не мог, а в поле хоть и было страшно, но не так.

Он прошумел начинающимся по опушке орешником, вышел на открытое и зашагал вдоль леса, далеко обходя все чернеющее на его пути и беспрестанно посматривая направо. Сова все летала, везде шуршало и попискивало, а то где-то в самой глубине леса, в оврагах раздавался не то крик, не то стон и долго колебался в воздухе, перекатываясь, как эхо, по опушкам.

Но вот лес кончился, опять зазмеилась пыльная светлая дорога. Жуков вышел на нее и, повизгивая от страха, не оглядываясь, побежал крупной рысью, прижимая локти к бокам, как бегун. Он бежал, воздух погукивал у него в ушах, лес отходил все дальше, пока не стал едва заметной черной полосой. Жуков уже решил ни на что не смотреть и начал уже радоваться, начал, подлаживаясь под бег, напевать про себя что-то однозвучное и неестественно веселое: «Ти-та-та! Ти-та-та!» — как вдруг снова резко осадил и вытаращился.

То, что он увидел, не было на этот раз ни деревом, ни птицей, как он уже привык, а было что-то

живое, что подвигалось ему наперерез по меже. Не было оно похоже ни на человека, ни на корову, ни на лошадь, а имело вид неопределенный. Жуков слышал уже ясно похрустывание бурьяна на меже, мягкое попрыгивание, слабое постукивание...

— Кто это? — раздался звучный голос.

Жуков молчал.

— Знакомый, нет? — обеспокоенно спросил голос уже с дороги.

Жуков теперь понял, что его окликают, что к нему подходит человек и ведет велосипед, но ответить не мог по-прежнему, только дышал.

— Жуков? — неуверенно догадался человек, подойдя вплотную и приглядевшись. — Здорово! Чего ж молчишь-то? А я думаю, кто бы это? Спички есть? Дай-ка прикурить...

Теперь и Жуков узнал Попова из райкома комсомола. Руки у Жукова так дрожали, что спички в коробке гремели, когда он давал их Попову.

— Откуда? — прикурив, спросил Попов. — А я, понимаешь, сбился. Еду к вам, да поворот прозевал, задумался... Вымахал уж к Горкам, да с той дороги сюда — по меже... Да ты что?

— Погоди... — сипло сказал Жуков, чувствуя слабость и головокружение. — Погоди...

Он стоял, виновато усмехаясь, не мог никак справиться со слабостью, окатывался потом и коротко дышал. Пахло пыльным твердым подорожником.

— Заболел, что ли? — испуганно спросил Попов.

Жуков молча кивнул.

— А ну, садись! — решительно сказал Попов и развернул велосипед. — Держись за руль. Ну!

Попов разогнал неровными толчками велосипед, вскочил на седло, сильно вильнув при этом, сдунул упавшие на лоб волосы и покатил в Дубки.

Жуков сидел на раме, ему было жестко и стыдно. Он чувствовал, как тяжело идет велосипед по пыли. Попов горячо дышал ему в спину, поталкивал коленками.

Почти всю дорогу оба молчали. Наконец показались огни колхоза, и Жуков шевельнулся.

— Постой-ка... — сказал он.

— Сиди, сиди! — задыхаясь, ответил Попов. — Тут немного, вот до медпункта доедем...

— Да нет, тормозни... — морщась, сказал Жуков и вытянул ногу, цепляясь за землю.

Попов с облегчением затормозил. Они соскочили с велосипеда и некоторое время стояли молча, не зная, о чем говорить. Рядом была конюшня, лошади услыхали голоса, забеспокоились, переступая подковами по настилу. От конюшни сильно и приятно пахло навозом и дегтем.

— Дай-ка спичек, — попросил опять Попов.

Он закурил и долго с удовольствием вытирал пот с лица и шеи. Потом расстегнул ворот рубахи.

— Ну как? Полегчало? — с надеждой спросил он.

— Теперь ничего, — торопливо сказал Жуков. — Квасу я выпил. Наверно, от него.

Они медленно пошли по улице, слушая затихающие звуки большого жилья.

— Как в клубе дела? — спросил Попов.

— Так себе... Сам знаешь, уборка, народ занят, — рассеянно ответил Жуков и вдруг как бы вспомнил: — Да, не знаешь слова такого — «кабиасы»?

— Как, как? Кабиасы? — Попов подумал. — Нет, не попадалось. А тебе зачем, для пьесы, что ли?

— Так чего-то на ум пришло, — уклончиво сказал Жуков.

Они подошли к клубу и подали друг другу руки.

— Спички-то возьми, — сказал Жуков. — У меня дома есть.

— Ладно. — Попов взял спички. — А ты молока попей, помогает от живота...

Он сел и поехал к дому председателя, а Жуков прошел темными сенями и отомкнул свою комнату. Попив холодного чаю, он покурил, послушал в темноте радио, открыл окно и лег.

Он засыпал почти, когда все в нем вдруг повернулось и он будто сверху, с горы, увидел ночные поля, пустынное озеро, темные ряды опорных мачт с воздетыми руками, одинокий костер и услышал жизнь, наполнявшую эти огромные пространства в глухой ночной час.

Он стал переживать заново весь свой путь, всю дорогу, но теперь со счастьем, с горячим чувством к ночи, к звездам, к запахам, к шорохам и крикам птиц.

Ему опять захотелось говорить с кем-нибудь о культурном, о высоком — о вечности, например; он подумал о Любке, соскочил с койки, потопал босиком по комнате, оделся и пошел вон.

„Вон бежит собака!“

Давно погас высоко рдевший летний закат, пронеслись, остались позади мертво освещенные люминесцентными лампами пустоватые вечерние города, автобус вырвался, наконец, на широкую равнинность шоссе и с заунывным однообразным звуком «ж-ж-ж-ж-ж-ж», с гулом за стеклами, не повышая и не понижая скорости, слегка поваливаясь на поворотах, торжествующе и устрашающе помчался в темноту, далеко и широко бросая свет всех своих нижних и верхних фар.

В салоне сперва говорили, шуршали газетами и журналами, потихоньку, прямо из бутылки выпивали, закусывали, ходили вперед курить, потом начали успокаиваться, откидывать кресла, отваливаться, гасить яркие молочные лампочки, стали сонно покачивать головами на валиках, и через какой-нибудь час в теплом, сложно пахнущем автобусе было темно, все спали, только внизу, в проходе, горел над полом синий свет, а еще ниже, под полом, струилось намасленное шоссе и бешено вращались колеса.

Не спали только Крымов и его соседка.

Московский механик Крымов не спал потому, что давно не выезжал из Москвы и теперь был счастлив. А счастлив он был оттого, что ехал на три дня ловить рыбу в свое, особое, тайное место, оттого, что внизу, в багажнике, среди многих чужих чемоданов и сумок, в крепком яблочном запахе, в совершенной темноте лежали его рюкзак и спиннинг, оттого, наконец, что на рассвете он должен был выйти на повороте шоссе и пойти мокрым лугом к реке, где ждало его недолгое горячечное счастье рыбака.

Он не мог сидеть спокойно, оборачивался, провожая взглядом что-то темное, неразборчивое, про-

носившееся мимо, вытягивал шею и смотрел вперед, через плечо шофера, сквозь ветровое стекло на далекую матовость шоссе.

А соседка его не спала неизвестно почему. Сидела неподвижно, прикрыв ресницы, закусив красные губы, которые теперь в темноте казались черными.

Не спал в автобусе и еще один человек — шофер. Он был чудовищно толст, волосат, весь расстегнут — сквозь одежду мощно, яростно выпирало его тело, — и только головка была мала, гладко причесана на прямой пробор и глянцевита, так что даже поблескивала в темноте. Могучие шерстистые руки его, обнаженные по локоть, спокойно лежали на баранке, да и весь он был спокоен, точно Будда, как будто знал нечто возвышающее его над всеми пассажирами, над дорогой и над пространством. Он был силуэтно темен сзади и бледно озарен спереди светом приборов и отсветами с дороги.

Крымову захотелось курить, но совестно было беспокоить соседку, и он не пошел вперед, достал сигарету, нагнувшись, воровато чиркнул зажигалкой, с наслаждением затянулся и выпустил дым тонкой, невидимой в темноте струйкой вниз, под ноги.

— У вас есть закурить? — услыхал он шепот соседки. — Страшно хочу курить...

Доставая сигарету, Крымов слегка привалился к ней и близко взглянул ей в лицо, но увидел только бледное пятно с темными провалами глаз, и губы, и прямые волосы до плеч. Он дал ей сигарету и снова чиркнул зажигалкой. Она, так же как и он, прикурила, нагнувшись, загораживая огонек ладонями, которые на секунду стали прозрачно-розовыми, и опять Крымов ничего не рассмотрел, только прямой нос, скулу и опущенные ресницы.

— Ах, как хорошо! — сказала она, затянувшись и наклоняясь к нему. — Это «Ароматные»? Спасибо, они крепкие!

От нее горько и нежно пахло духами, и было в ее шепоте что-то странное, а не только благодарность, будто она просила его: «Ну поговорите же со мной, познакомьтесь, а то мне скучно ехать». И Крымов на минуту ощутил прилив той дорожной легкости, когда хочется говорить игриво, намеками, с нарочитой дрожащей откровенностью в голосе, и

 будто случайно касаться груди спутницы, и приги-

баться, будто выглядывая что-то в окне, чтобы своим лицом коснуться ее волос и посмотреть, не отстранится ли. А потом, конечно, слова: «Вы меня не так поняли», «Что вы! Разве я такой?» — и, конечно же, адресок, телефон в книжечку или просто назначить встречу там-то и тогда-то — это в случае, если едут в одно место.

Он встрепенулся и ощутил сердцебиение, ноздри его дрогнули, но тут же все погасло, заслоненное неистребимым счастьем, которое ждало его утром.

— Это что! — зашептал он, загоревшись уже другим. — Это не курение — в автобусе или в цехе, а вот на реке утром, знаете, когда рыба бьет, и все где-то в стороне, и вдруг у тебя как стебанет! На берег ее выволокешь, с крючка снимешь, бросишь в траву, а она прыгает, ух! Вот тогда закуришь так закуришь!..

— Вы рыбак? — прошептала она.

— Заядлый! — Крымов затянулся и сморщил нос от удовольствия. — Я сам механик, месяцами реки не вижу, у нас работа — производство, завод, это вам не артель, не посидишь... Я последний раз ловил, знаете, когда? В мае! А теперь июль. Я работник толковый, ну, на меня и валят, дали вот три дня отгула за неурочное время. Ну ничего, у меня отпуск скоро, тогда уж я дорвусь!

— Куда же вы едете? — спросила она, и опять в ее шепоте Крымову почудилось что-то странное, какой-то еще вопрос.

— Есть одно местечко, — уклончиво, суеверно пробормотал он. — А вы почему не спите, скоро сходить?

— Нет, я до конца еду... Вы говорите, на три дня? Когда же назад?

— Во вторник.

— Во вторник? Постойте... во вторник...

Она подумала о чем-то, потом вздохнула и спросила:

— А почему же вы не спите?

— Мне сходить в четыре утра.

Крымов задрал рукав куртки и долго смотрел на часы, разбирая, который час.

— Три часа осталось. Да и не спится, тут уж лучше не спать, а то разоспишься, потом на рыбалке будешь носом клевать...

Шофер оглянулся, снова стал смотреть на доро-

гу, и в фигуре его появилась нерешительность. Потом он осторожно протянул руку к радиоприемнику и включил его. Приемник засипел, шофер испуганно приглушил его и стал осторожно бродить по эфиру. Он нашел одну станцию, другую, третью, но все это были или бормочущие иностранные голоса, или народные инструменты, а это, наверное, ему не нужно было. Наконец из шума возник слабый звук джаза, и шофер отнял руку. Он даже улыбнулся от наслаждения, и видно было сзади, как сдвинулись к ушам его пухлые щеки.

Музыка была тиха, однотонна, одна и та же мелодия бесконечно переходила от рояля к саксофону, к трубе, к электрогитаре, и Крымов с соседкой замолчали, чутко слушая, думая каждый о своем и пошевеливаясь, покачиваясь под ритмические звуки контрабаса.

За окном изредка проносились оставленные на ночь одинокие грузовики на обочинах, и было странно смотреть на их неподвижность и одинокость. Казалось, в мире что-то произошло, и все шоферы ушли, включив на прощание подфарники на крыльях, и подфарники эти будут гореть долго, покуда не иссякнет энергия в аккумуляторах.

Еще реже попадались навстречу такие же, как и этот, междугородные автобусы. Задолго до встречи за горизонтом, за выпуклостью шоссе, начинало дрожать зарево света, потом в неизмеримой дали появлялась сверкающая точка, она близилась, росла, двоилась, троилась, и уже видны были пять мощных фар внизу и наверху, которые вдруг гасли, снова включались и снова гасли, оба автобуса замедляли ход и, наконец, останавливались. Шоферы, высунувшись, недолго о чем-то переговаривались, от моторов шел дым, и лучи фар пробивали его косыми столбами. Потом автобусы трогались и через минуту снова мчались в черноту, каждый в свою сторону.

«Интересно, куда она едет? — думал иногда Крымов о соседке. — И замужем ли? И почему стала курить: так просто или от горя?»

Но тут же забывал о ней, поглощенный дорогой, ожиданием рассвета, мыслями о трех днях, которые он проживет у реки. Он думал, не начала ли течь палатка, и что это плохо в случае дождя, и не задержится ли автобус по какой-нибудь причине в дороге, а утренний клев между тем пройдет...

Счастливое беспокойство томило его, и соседка занимала воображение. А она теперь молчала, откинув голову на валик кресла и прикрыв глаза. Но когда он слишком долго засматривался вперед на дорогу или в окно, а потом взглядывал на нее, ему казалось каждый раз, что лицо ее будто полуповернуто к нему, а глаза, неразличимые в темноте, следят за ним из-под ресниц.

«Кто она?» — думал он, но спросить не решался. И старался догадаться, вспоминая немногое сказанное ею и тихий ее шепот. Он ее как-то не рассмотрел вечером, не до того ему было, а теперь хотелось, чтобы она была красива.

— Дайте закурить! — внезапно зашептала она.— И расскажите что-нибудь... Что молча ехать, все равно не спим!

Крымов уловил нотку раздражения в ее шепоте, удивился, но промолчал и покорно дал сигарету. «О чем говорить? — думал он, уже сердясь немного. — Странная какая-то». А сам сказал:

— Я все думаю про женщин, что вы охоты не любите, рыбалки, а ведь это большое чувство! А вы не только не любите, а как-то не понимаете даже, будто в вас пустота в этом смысле. Почему бы это?

В темноте было видно, как она пошевелилась, откинула волосы и потерла лоб.

— Охота — убийство, а женщина — мать, и ей убийство вдвойне противно. Вы говорите, наслаждение смотреть, как рыба бьется, а мне это гадко. Но я вас понимаю, то есть понимаю, что вы охотитесь и ловите рыбу не из-за жестокости. Толстой, например, очень страдал потом, после охоты, вспоминая смерть. И Пришвин тоже...

«Ну, понесла!» — уныло подумал Крымов и посмотрел на часы.

— Полтора часа осталось! — радостно сказал он.

Тогда соседка погасила сигарету, подняла воротник плаща, подобрала ноги и положила голову боком на валик, затылком к Крымову.

«Спать захотела, — решил Крымов. — Ну и ладно, давно пора, не люблю языком болтать в дороге! Хорошо еще, что я не женат, — неожиданно подумал он. — А что была бы вот такая, рассуждала бы про убийство, мораль читала... Опупеешь!»

Но ему где-то и обидно стало, и хотя он думал

только об утренней рыбной ловле, но прежней глубокой, потрясающей радости уже не ощущал.

Шофер впереди нагнулся, не отрывая взгляда от дороги, пошарил что-то внизу, держа одной рукой руль. Потом он выпрямился и стал с чем-то возиться на коленях, по-прежнему держа руль одной левой рукой. Крымов с интересом следил за ним. Наконец шофер взял в рот бутылку, запрокинул ее и отпил. Вздохнул, опять запрокинул и отпил, и видно было, как шея и бока его толстеют и опадают во время глотков.

«Что это он пьет? — подумал Крымов. — Пиво, что ли? Да нет, им не положено в дороге... Ага, лимонад! Хоть бы приехать скорее!»

И тут же вспомнил о своем кофе в рюкзаке и о котелке, и ему захотелось кофе.

Стало заметно светлеть, но зелень на деревьях была еще темна, и только редкие домики, мелькавшие иногда по полям, поражали своей утренней белизной. Во рту у Крымова от курения и жажды пересохло, но настроение улучшилось, он забыл уже окончательно про соседку и думал только про свое место, про реку, про туман и жадно смотрел вперед.

Шофер выключил фары, и рассвет стал заметнее. Светлело с каждой минутой, и все — километровые столбики, рекламные щиты, дорожные знаки, линия горизонта даже на западе — было отчетливо видно.

Миновали пятисотый километр, шофер обернулся, поймал вопросительный взгляд Крымова и кивнул. Через минуту он сбросил газ и взял направо, к обочине. Обозначился крутой поворот, кинулся в глаза большой луг, и там, вдали, метрах в семистах от шоссе, чернели верхушки ивняка.

Автобус уже на холостом ходу катил все медленнее, глуше, тише, шипы на покрышках уже не жужжали, а дробно лопотали, наконец, все будто совсем остановилось, и только хруст песка под колесами говорил, что автобус еще движется, проходя последний метр. Все смолкло, шофер снял руки с баранки, сладко потянулся, выпирая отовсюду телом, зевнул и открыл дверь. Он вышел первый и загремел внизу багажником.

— Извините! — сказал Крымов, торопливо поднимаясь и трогая соседку за плечо.

 — А? — сказала та испуганно. — Уже? Вы при-

ехали? Пожалуйста, счастливо... Как это? Ни пуха ни пера?

«К черту!» — по охотничьей привычке мысленно ответил Крымов, пробираясь вперед. Он выскочил наружу и прежде всего радостно поглядел на луг, потом обернулся к автобусу. Автобус стоял, огромный, длинный, слегка запыленный, с нагретыми покрышками и мотором, и источал тепло в утреннем холоде. Отделение багажника по правому борту было открыто. Крымов подошел, раздвинул чемоданы и сумки, достал рюкзак и еле нашел спиннинг. Шофер громко хлопнул железной крышкой багажника, запер его и, обойдя автобус спереди, ушел в лес.

— Вот, значит, где ваше место! — раздалось сзади. Крымов оглянулся и увидал соседку.

Она вышла из автобуса и стояла, откидывая назад волосы и глядя на луг. Она была красивая и напоминала киноактрису, но Крымову уже не до нее было.

— Ну, дайте мне на прощание еще закурить, — сказала она, подходя и застенчиво посмеиваясь. — Вы очень добры! А я вас всю ночь мучаю просьбами...

Когда она прикуривала, у нее так дрожали губы и руки, что она долго не могла попасть концом сигареты в огонек. «Чего это она? — удивился Крымов и посмотрел на свой рюкзак. — Надо идти, пожалуй!»

— Вы счастливый! — сказала она, жадно затягиваясь. — В такой тишине три дня проживете. — Она замолчала и прислушалась, снимая с губы табачную крошку. — Птицы проснулись. Слышите? А мне надо в Псков...

«Идти или не идти? — колебался Крымов, не слушая ее. Но уйти сразу теперь было уже неудобно. — Погожу, пока они уедут, не час же будут стоять!» — решил Крымов и тоже закурил.

— Н-да... — сказал он, чтобы что-нибудь сказать.

— А знаете, я давно мечтаю в палатке пожить. У вас есть палатка? — сказала она, рассматривая Крымова сбоку. Лицо ее внезапно стало скорбным, углы губ дрогнули и пошли вниз. — Я ведь москвичка, и все как-то не выходило...

— Н-да... — сказал опять Крымов, не глядя на

нее, переминаясь и смотря на пустынное шоссе, в лес, куда ушел шофер.

Тогда она затянулась несколько раз, морщась, задыхаясь, бросила сигарету и прикусила губу.

Как раз в эту минуту из придорожных кустов показалась собака и побежала по шоссе, наискось пересекая его. Она была мокра от росы, шерсть на брюхе и на лапах у нее курчавилась, а капли росы на морде и усах бруснично блестели от заалевшего уже востока.

— Вон бежит собака! — сказал Крымов, машинально, не думая ни о чем. — Вон бежит собака! — медленно, с удовольствием повторил он, как повторяют иногда бессмысленно запомнившуюся стихотворную строку.

Собака бежала деловито, целеустремленно, не глядя по сторонам, и стояла такая тишина, что слышно было, как по асфальту клацали ее когти.

Наконец и шофер появился из лесу, вышел на шоссе, посмотрел на бегущую собаку, посвистал ей, но она не обернулась. Шофер подошел к автобусу и осмотрел его, будто видел первый раз. Ботинки его были в росе, даже на шерстистых руках была роса. Он громко потопал ногами, чтобы сбить росу, обошел автобус, пиная покрышки, и полез внутрь.

— Что ж, спасибо за сигареты! — сказала девушка и тоже поднялась на ступеньку.

— Счастливо, — пробормотал Крымов, нагибаясь за своим рюкзаком.

Мотор взревел, автобус тронулся, на Крымова прощально посмотрело изнутри рассветно-несчастное лицо, а он слабо махнул рукой, улыбнулся, слез с насыпи и пошел прямиком к реке.

— Вон бежит собака! Вон бежит собака! — нараспев повторял он про себя, идя лугом и подлаживаясь произносить слова в ритм шагам.

И с удовольствием смотрел на искристый луг, на небо, дышал во всю грудь, и только одно беспокойство было, как бы кто не опередил его в этот час и не занял место.

Подойдя к реке, он спрыгнул с небольшого обрыва на песок и ревниво огляделся. Но ни одного следа не было на песке. Река — неширокая, медленная, с плесами и камышами, с песчаными отмелями — лениво извивалась по лугам и была глуха.

 Крымов быстро распаковал рюкзак, достал кофе,

котелок, сахар, зачерпнул воды, набрал сухого плавника и тут же на песке развел небольшой костерчик. Потом воткнул в песок две рогульки, повесил котелок и стал ждать.

Пахло дымом, сырыми берегами и сеном издалека. Крымов сел и ужаснулся своему счастью. Он и не предполагал, что может так радоваться этому утру, и этой реке, и тому, что он один.

«Попью кофе, а потом кину!» — решил он и стал налаживать спиннинг, привычным вглядом замечая одновременно и реку, и как горит огонь, и воду в котелке, которая начинала медленно кружиться.

— Вон бежит собака! — повторял он, как заклинание. — Вон бежит... Попью кофе, а потом кину!

На другой стороне, под камышами, громко плеснула щука. Крымов вздрогнул, замер, мгновенно вспотел и посмотрел на то место. Там тяжелыми волнами расходились круги.

«Нет, сперва кину, кофе успеется!» — тут же решил Крымов, продевая леску сквозь кольца и привязывая к ней любимую свою блесну «Байкал» — серебряную, с красным пером. Опять, уже в другом месте, ударила щука, и тотчас возле берега испуганно сверкнула плотвичка.

«Погоди, погоди! — ликующе думал Крымов. — Вон бежит собака! Погоди...» — и насаживал катушку на рукоятку спиннинга.

Вода в котелке закипела, пена полилась, побежала через край, зашипела на углях, и поднялось облачко пара. Крымов поглядел на котелок, снял его и облизал сухие губы. «Ах, черт! Все-таки кофе — это вещь!» — подумал он, осторожно косясь на реку и откупоривая банку с кофе. Он сунул нос в банку, понюхал и чихнул.

— Ух, ты! — уже вслух сказал он и, зажав спиннинг в коленях, стал заваривать кофе.

Заря разгоралась все больше, краски на камышах и воде беспрестанно менялись, туман завитками плыл вместе с рекой, ивовые листья блестели, как лакированные, и уже давно в камышах, и дальше, в лесу, и поблизости, где-то в ивняке, трюкали и пикали птицы на разные голоса. Уж первый ветерок пахнул горько-сладким теплым лесным духом и пошевелил камыши...

Крымов был счастлив!

Он ловил и радовался одиночеству, спал в палатке, но и ночью внезапно просыпался, сам не зная отчего, раздувал огонь, кипятил кофе и, посвистывая, ждал рассвета. А днем купался в теплой реке, плавал на ту сторону, лазил в камышах, дышал болотными запахами, потом опять бросался в воду, отмывался и, накупавшись, блаженно лежал на солнце.

Так он провел два дня и две ночи, а на третий, к вечеру, загорелый, похудевший, легкий, с двумя щуками в рюкзаке вышел на шоссе, закурил и стал ждать московского автобуса. Он сидел блаженно и покойно, разбросав ноги, привалясь к рюкзаку, и смотрел в последний раз на луг, на верхушки ивовых кустов вдали, где он недавно был, мысленно воображал реку под этими кустами и все ее тихие повороты и думал, что все это навсегда теперь вошло в его жизнь.

По шоссе проносились красно освещенные солнцем грузовики, молоковозы, громадные серебристые машины-холодильники, приседающие на заднюю ось «Волги», и Крымов уже с радостью провожал их глазами, уже ему хотелось города, огней, газет, работы, уже он воображал, как завтра в цехе будет пахнуть горячим маслом и как будут гудеть станки, и вспомнил всех своих ребят.

Потом он слабо вспомнил, как выходил здесь три дня назад на рассвете. Вспомнил он и спутницу свою по автобусу и как у нее дрожали губы и рука, когда она прикуривала.

— Что это было с ней? — пробормотал он и вдруг затаил дыхание. Лицо и грудь его покрылись колючим жаром. Ему стало душно и мерзко, острая тоска схватила его за сердце.

— Ай-яй-яй! — пробормотал он, тягуче сплевывая. — Ай-яй-яй! Как же это, а? Ну и сволочь же я, ай-яй-яй!.. А?

Что-то большое, красивое, печальное стояло над ним, над полями и рекой, что-то прекрасное, но уже отрешенное, и оно сострадало ему и жалело его.

— Ах, да и подонок же я! — бормотал Крымов, часто дыша, и вытирался рукавом. — Ай-яй-яй!.. — И больно бил себя кулаком по коленке.

запах хлеба

1

Телеграмму получили первого января. Дуся была на кухне, открывать пошел ее муж. С похмелья, в нижней рубахе, он неудержимо зевал, расписываясь и соображая, от кого бы это могло быть еще поздравление. Так, зевая, он и прочел эту короткую скорбную телеграмму о смерти матери Дуси — семидесятилетней старухи в далекой деревне.

«Вот не вовремя!» — с испугом подумал он и позвал жену. Дуся не заплакала, только побледнела слегка, пошла в комнату, поправила скатерть и села. Муж мутно поглядел на недопитые бутылки на столе, налил себе и выпил. Потом подумал, налил Дусе.

— Выпей! — сказал он. — Прямо черт ее знает, до чего башка трещит. Ох-хо-хо... Все там будем. Ты как — поедешь?

Дуся молчала, водя рукой по скатерти, потом выпила, пошла к постели, как слепая, и легла.

— Не знаю, — сказала она минуту спустя.

Муж подошел к Дусе, поглядел на ее круглое тело.

— Ну ладно... Что делать? Что ж будешь делать! — больше он не знал, что сказать, вернулся к столу и опять налил себе. — Царство небесное, все там будем!

Целый день Дуся вяло ходила по квартире. Голова у нее болела, и в гости она не пошла. Она хотела поплакать, но плакать как-то не было охоты, было просто грустно. Мать свою Дуся не видела лет пятнадцать, из деревни уехала и того больше и никогда почти не вспоминала ничего из своей прошлой жизни. А если и вспоминалось, то больше из раннего детства или как провожали ее из клуба домой, когда была девушкой.

Дуся стала перебирать старые карточки и опять

не могла заплакать: на всех карточках у матери были чужое напряженное лицо, выпученные глаза и опущенные по швам тяжелые темные руки.

Ночью, лежа в постели, Дуся долго говорила с мужем и сказала под конец:

— Не поеду! Куда ехать? Там теперь холодина... Да и барахло, какое есть, родня растащила уж небось. Там у нас родни хватает. Нет, не поеду!

2

Прошла зима, и Дуся вовсе позабыла о матери. Муж ее работал хорошо, жили они в свое удовольствие, и Дуся стала еще круглее и красивее.

Но в начале мая Дуся получила письмо от двоюродного племянника Миши. Письмо было написано под диктовку на листке в косую линейку. Миша передавал приветы от многочисленной родни и писал, что дом и вещи бабушкины целы и чтобы Дуся обязательно приехала.

— Поезжай! — сказал муж. — Валяй! Особо не трясись, продай поскорее чего там есть. А то другие попользуются или колхозу все отойдет.

И Дуся поехала. Давно она не ездила, а ехать было порядочно. И она успела как следует насладиться дорогой, со многими поговорила и познакомилась.

Она послала телеграмму, что выезжает, но ее почему-то никто не встретил. Пришлось идти пешком, но и идти было Дусе в удовольствие. Дорога была плотна, накатана, а по сторонам расстилались родные смоленские поля с голубыми перелесками на горизонте.

В свою деревню Дуся пришла часа через три, остановилась на новом мосту через речку и посмотрела. Деревня сильно пообстроилась, расползлась вширь белыми фермами, так что и не узнать было. И Дусе эти перемены как-то не понравились.

Она шла по улице, остро вглядываясь во всех встречных, стараясь угадать, кто это. Но почти никого не узнавала, зато ее многие признавали, останавливали и удивлялись, как она возмужала.

Сестра обрадовалась Дусе, всплакнула и побежала ставить самовар. Дуся стала доставать из сумки гостинцы. Сестра посмотрела на гостинцы, снова

заплакала и обняла Дусю. А Миша сидел на лавке и удивлялся, почему они плачут.

Сестры сели пить чай, и Дуся узнала, что многое из вещей разобрали родные. Скотину — поросенка, трех ярочек, козу и кур — взяла себе сестра. Дуся сперва пожалела втайне, но потом забыла, тем более что многое осталось, а главное, остался дом. Напившись чаю и наговорившись, сестры пошли смотреть дом.

Усадьба была распахана, и Дуся удивилась, но сестра сказала, что распахали соседи, чтобы не пропадала земля. А дом показался Дусе совсем не таким большим, каким она его помнила.

Окна были забиты досками, на дверях висел замок. Сестра долго отмыкала его, потом пробовала Дуся, потом опять сестра, и обе успели замучиться, пока открыли.

В доме было темно, свет еле пробивался сквозь доски. Дом отсырел и имел нежилой вид, но пахло хлебом, родным с детства запахом, и у Дуси забилось сердце. Она ходила по горнице, осматривалась, привыкая к сумеркам: потолок был низок, темнокоричнев. Фотографии еще висели на стенах, но икон, кроме одной, нестоящей, уже не было. Не было и вышивок на печи и на сундуках.

Оставшись одна, Дуся открыла сундук — запахло матерью. В сундуке лежали старушечьи темные юбки, сарафаны, вытертый тулупчик. Дуся вытащила все это, посмотрела, потом еще раз обошла дом, заглянула на пустой двор, и ей показалось, что когда-то давно ей все это приснилось и теперь она вернулась в свой сон.

3

Услышав о распродаже, к Дусе стали приходить соседки. Они тщательно рассматривали, щупали каждую вещь, но Дуся просила дешево, и вещи раскупали быстро.

Главное был дом! Дуся справилась о ценах на дома и удивилась и обрадовалась, как на них поднялась цена. На дом нашлось сразу трое покупателей — двое из этой же и один из соседней деревни. Но Дуся не сразу продала, она все беспокоилась, что от матери остались деньги. Она искала их дня

три: выстукивала стены, прощупывала матрацы, лазила в подполье и на чердак, но так ничего и не нашла.

Сговорившись с покупателями о цене, Дуся поехала в райцентр, оформила продажу дома у нотариуса и положила деньги на сберкнижку. Вернувшись, она привезла сестре еще гостинцев и стала собираться в Москву. Вечером сестра ушла на ферму, а Дуся собралась навестить могилу матери. Провожать ее пошел Миша.

Денек было замглился во второй половине, посоловел, но к вечеру тучи разошлись, и только на горизонте, в той стороне, куда шли Дуся и Миша, висела еще гряда пепельно-розовых облаков. Она была так далека и неясна, что казалось, стояла позади солнца.

Река километрах в двух от деревни делала крутую петлю, и в этой петле, на правом высоком берегу, как на полуострове, был погост. Когда-то он был окружен кирпичной стеной, и въезжали через высокие арочные ворота. Но после войны разбитую стену разобрали на постройки, оставив почему-то одни ворота, и тропинки на погост бежали со всех сторон.

Дорогой Дуся расспрашивала Мишу о школе, о трудоднях, о председателе, об урожаях и была ровна и спокойна. Но вот показался старый погост, красно освещенный низким солнцем. По краям его, там, где когда-то была ограда, где росли кусты шиповника, были особенно старые могилы, которые давно потеряли вид могил. А рядом с ними виднелись в кустах свежевыкрашенные ограды с невысокими деревянными обелисками — братские могилы...

Дуся с Мишей миновали ворота, свернули направо, налево — среди распускающихся берез, среди остро пахнущих кустов, и Дуся все бледнела, и рот у нее приоткрывался.

— Вон бабушкина... — сказал Миша, и Дуся увидела осевший холмик, покрытый редкой острой травкой. Сквозь травку виден был суглинок. Небольшой сизый крест, не подправленный с зимы, стоял уже косо.

Дуся совсем побелела, и вдруг будто нож всадили ей под грудь, туда, где сердце. Такая черная тоска ударила ей в душу, так она задохнулась, затряслась, так неистово закричала, упала и поползла к могиле

на коленях и так зарыдала неизвестно откуда пришедшими к ней словами, что Миша испугался.

— У-у-у, — низко выла Дуся, упав лицом на могилу, глубоко впустив пальцы во влажную землю. — Матушка моя бесценная... Матушка моя родная, ненаглядная... У-у-у... Ах, и не свидимся же мы с тобой на этом свете никогда, никогда! Как же я без тебя жить-то буду, кто меня приласкает, кто меня успокоит? Матушка, матушка, да что же это ты наделала?

— Тетя Дуся... тетя Дуся, — хныкал от страха Миша и дергал ее за рукав. А когда Дуся, захрипев, стала выгибаться, биться головой о могилу, Миша припустил в деревню.

Через час, уже в глубоких сумерках, к Дусе прибежали из деревни. Она лежала все там же, совсем обеспамятевшая, и не могла уже плакать, не могла ни говорить, ни думать, только стонала сквозь стиснутые зубы. Лицо ее было черно от земли и страшно.

Ее подняли, натерли ей виски, стали успокаивать, уговаривать, повели домой, а она ничего не понимала, глядела на всех огромными распухшими глазами — жизнь казалась ей ночью. Когда ее привели к сестре в дом, она свалилась на кровать — еле дошла — и мгновенно уснула.

На другой день, совсем собравшись уезжать в Москву, она пила напоследок с сестрой чай, была весела и рассказывала, какая прекрасная у них квартира в Москве и какие удобства.

Так она и уехала, веселой и ровной, подарив еще Мише десять рублей. А через две недели дом матери-старухи открыли, вымыли полы, привезли вещи, и стали в нем жить новые люди.

голубое и зеленое

1

— Лиля, — говорит она глубоким, грудным голосом и подает мне горячую маленькую руку.

Я осторожно беру ее руку, пожимаю и отпускаю. Я бормочу при этом свое имя. Кажется, я не сразу даже сообразил, что нужно назвать свое имя. Рука, которую я только что отпустил, нежно белеет в темноте. «Какая необыкновенная, нежная рука!» — с восторгом думаю я.

Мы стоим на дне глубокого двора. Как много окон в этом квадратном темном дворе: есть окна голубые, и зеленые, и розовые, и просто белые. Из голубого окна на втором этаже доносится музыка: там включили приемник. Я очень люблю джаз, нет, не танцевать — танцевать я не умею, — я люблю слушать хороший джаз. Не знаю, может быть, это плохо. Я стою и слушаю джазовую музыку со второго этажа, из голубого окна.

После того как она назвала свое имя, наступает долгое молчание. Может быть, она думает, что я скажу что-нибудь веселое, что-нибудь такое, что всегда говорят в подобных случаях, может, ждет вопроса какого-нибудь, чтобы заговорить самой. Но я молчу, я весь во власти необыкновенного ритма и серебряного звука трубы. Как хорошо, что играет музыка и я могу молчать!

Наконец мы трогаемся. Мы выходим на светлую улицу. Нас четверо: мой приятель с девушкой, Лиля и я. Мы идем в кино. Первый раз я иду в кино с девушкой. Меня познакомили с ней, и она подала мне руку и сказала свое имя. И вот мы идем рядом, совсем чужие друг другу и в то же время странно знакомые.

Музыки больше нет. Мне не за что спрятаться. Мой приятель отстает со своей девушкой. В страхе я замедляю шаги, но те двое идут еще медленнее.

Я знаю, он делает это нарочно. Это очень плохо с его стороны — оставить нас наедине. Никогда не ожидал я от него такого предательства!

Что бы такое сказать ей? Что она любит? Осторожно сбоку смотрю на нее: блестящие глаза, в которых отражаются огни, темные, наверное, очень жесткие волосы, сдвинутые густые брови, придающие ей самый решительный вид... Но щеки у нее почему-то напряжены, как будто она сдерживает смех. Что бы ей все-таки сказать?

— Вы любите Москву? — вдруг спрашивает она и смотрит на меня очень строго.

Я вздрагиваю. Есть ли еще у кого-нибудь такой голос!

Некоторое время я молчу, собираясь с силами. Да, конечно, я люблю Москву. Особенно я люблю арбатские переулки и бульвары. Но и другие улицы тоже люблю...

Потом я снова надолго умолкаю. Мы выходим на Арбатскую площадь. Я принимаюсь насвистывать и сую руки в карманы. Пусть думает, что знакомство с ней мне не так уж интересно. Подумаешь! В сто раз лучше шляться вечерами с ребятами. В конце концов я тут рядом живу, я могу уйти домой, и вовсе не обязательно мне идти в кино и мучиться, видя, как напряжены ее щеки.

Но мы все-таки приходим в кино. До начала сеанса еще минут пятнадцать. Мы стоим посреди фойе и слушаем певицу. Возле нас много народу, и все потихоньку разговаривают. Я давно заметил, что публика в фойе плохо слушает оркестр. Она относится к нему немного свысока. Слушают и аплодируют только передние, а те, кто сзади, едят мороженое, конфеты и тихо переговариваются. Решив, что певицу все равно не услышишь как следует, я принимаюсь разглядывать картины. Никогда раньше не обращал я внимания на них, но теперь я страшно заинтересован ими. Я думаю о художниках, которые их написали. Очень хорошо, что картины эти повесили в фойе. Пусть себе висят.

Лиля смотрит на меня блестящими серыми глазами. Странно, я совсем почти не гляжу на нее, но почему-то все время вижу ее лицо. Какая она красивая! Впрочем, она не красивая, просто у нее блестящие глаза и розовые щеки. Когда она улыбается, на щеках появляются ямочки, а брови расходятся и

не кажутся уже такими строгими. У нее высокий чистый лоб. Только иногда на нем появляется морщинка. Лиля размышляет.

Нет, я больше не могу стоять рядом с ней! Почему она так меня рассматривает?

— Пойду покурю, — говорю я отрывисто и небрежно и ухожу в курительную. Там я сажусь и вздыхаю с облегчением. Странно, но, когда в комнате много дыму, когда воздух совсем сизый от дыма, почему-то не хочется курить. Я осматриваюсь — в курилке много людей. Одни спокойно разговаривают, другие молча торопливо курят, жадно затягиваются, бросают недокуренные папиросы и быстро выходят. Куда они торопятся? Интересно: если жадно курить, папироса делается кислой и горькой. Лучше всего курить не спеша, понемножку, пуская дым вверх. Я смотрю на часы: до сеанса еще пять минут.

Нет, я все-таки дурак. Другие так легко знакомятся, разговаривают, острят. Другие, я знаю, говорят о футболе и о чем угодно. Спорят о кибернетике. Я бы ни за что не заговорил с девушкой о кибернетике.

А Лиля все-таки жестокая. У нее жесткие волосы. У меня волосы мягкие. Наверное, по мягкости характера я сижу и курю, хотя мне совсем не хочется курить. Но я все-таки посижу еще. Что мне делать в фойе? Опять смотреть на картины? Но ведь это плохие картины, и неизвестно, для чего их повесили. Очень хорошо, что я их раньше никогда не замечал.

Наконец звонок. Я медленно выхожу из курительной, разыскиваю в толпе Лилю. Не глядя друг на друга, мы идем в зрительный зал и садимся. Потом гаснет свет, и начинается кинокартина.

Когда мы выходим из кино, приятель мой совсем исчезает. Это так действует на меня, что я вообще перестаю думать. Просто иду и молчу. На улицах уже малолюдно. Быстро проносятся автомашины. Наши шаги гулко отдаются от стен и далеко слышны.

Так мы доходим до ее дома. Останавливаемся опять во дворе. Поздно, и не во всех окнах уже горит свет, и во дворе темнее, чем было два часа назад. Много белых и розовых окон погасло, но зеленые еще светятся. Светится и голубое окно на

втором этаже, только музыки там больше не слышно. Некоторое время мы стоим совсем молча. Лиля странно ведет себя: поднимает лицо, смотрит на окна, будто считает их; она почти отворачивается от меня, потом начинает поправлять волосы. Наконец я очень небрежно, как бы между прочим, говорю, что нам не мешало бы встретиться завтра. Я рад, что во дворе темно и она не видит моего пылающего лица.

Лиля согласна встретиться. Я могу прийти к ней, ее окна выходят на улицу. У нее каникулы, родные уехали на дачу, и ей немного скучно. Она с удовольствием погуляет.

Я размышляю, прилично ли будет пожать ей руку на прощание. Она сама протягивает мне узкую руку, белеющую в темноте, и я снова чувствую ее теплоту и доверчивость.

2

На другой день я прихожу к Лиле засветло. Во дворе на этот раз много ребят. Двое из них с велосипедами: они собираются куда-то ехать; но, может быть, они только что вернулись? Остальные стоят просто так. Мне кажется, все они смотрят на меня и отлично знают, зачем я пришел. И я никак не могу пройти двором, я подхожу к ее окнам с улицы. Заглядываю в окно и откашливаюсь.

— Лиля, вы дома? — громко спрашиваю я. Я спрашиваю очень громко, и голос мой не дрожит. Это просто замечательно, что у меня не прервался голос!

Да, она дома. У нее подруга. Они спорят о чем-то интересном, и я должен разрешить этот спор.

— Идите скорей! — зовет меня Лиля.

Но мне невыносимо идти двором.

— Я к вам влезу через окно! — решительно говорю я и вспрыгиваю на подоконник. Я очень легко и красиво вспрыгиваю на подоконник, перебрасываю ногу и тут только замечаю насмешливое удивление подруги и замешательство Лили. Я сразу догадываюсь, что сделал какую-то неловкость, и застываю верхом на подоконнике: одна нога — на улице, другая — в комнате. Я сижу и смотрю на Лилю.

— Ну лезьте же! — нетерпеливо говорит Лиля. Брови ее сходятся, и щеки все больше краснеют.

— Не люблю летом торчать в комнатах... — бормочу я, делая высокомерное лицо. — Я лучше подожду на улице.

Я спрыгиваю с окна и отхожу к воротам. Как они там смеются теперь надо мной! Зачем я пришел сюда? Зачем мне выставлять себя на посмешище? Лучше всего уйти. Можно добежать до конца улицы и свернуть за угол, прежде чем она выйдет. Убежать или нет? Секунду я раздумываю: будет ли это удобно? Потом поворачиваюсь и вдруг вижу Лилю. Она с подругой выходит из ворот, смотрит на меня, в глазах ее еще не погас смех, а на щеках играют ямочки.

На подругу я не смотрю. Зачем она идет с нами? Что я буду с ними обеими делать? Я молчу, и Лиля начинает говорить с подругой. Они разговаривают, а я молчу. Когда мы проходим мимо афиш, я внимательно читаю их. Афиши можно читать и наоборот, с конца, тогда получаются смешные гортанные слова. Доходим до угла, и тут подруга начинает прощаться. С признательностью я смотрю на нее: какая она симпатичная и умная!

Подруга уходит, а мы идем на Тверской бульвар. Сколько влюбленных из века в век ходило по Тверскому бульвару! Теперь идем мы. Правда, мы еще не влюбленные. Впрочем, может быть, мы тоже влюбленные, я не знаю. Мы идем примерно в метре друг от друга. Липы уже отцвели. Зато очень много цветов на клумбах. Они совсем не пахнут, и названий их никто, наверное, не знает.

Мы очень много говорим. Никак нельзя установить последовательности в нашем разговоре и в наших мыслях. Мы говорим о себе и о наших знакомых, перескакиваем с предмета на предмет и забываем то, о чем говорили минуту назад. Но нас это не смущает, у нас еще много времени, впереди длинный, длинный вечер, и можно еще вспомнить забытое. А еще лучше вспоминать все потом, ночью, одному.

Вдруг я замечаю, что у Лили расстегнулось платье. У нее чудно́е платье, я таких ни у кого не видел — от ворота до пояса мелкие кнопочки. И вот несколько кнопок теперь расстегнулось, а она этого не замечает. Но не может же она ходить по улице

в расстегнутом платье! Как бы мне сказать ей об этом? Может быть, взять и застегнуть самому? Сказать что-нибудь ловкое, смешное и застегнуть, как будто это самое обыкновенное дело. Как было бы хорошо! Но нет, этого никак нельзя, это просто невозможно. Тогда я отворачиваюсь и говорю, чтобы она застегнулась. Она сразу замолкает.

Потом я закуриваю. Я очень долго закуриваю. Вообще в трудные минуты лучше всего закурить. Это очень помогает. Потом я несмело взглядываю на нее. Платье застегнуто, щеки у нее пламенеют, глаза делаются темными и строгими. Она тоже смотрит на меня, смотрит так, будто я очень изменился или узнал про нее что-то важное. Теперь мы идем уже немного ближе друг к другу.

Час проходит за часом, а мы все ходим, говорим и ходим. По Москве можно ходить без конца. Мы выходим к Пушкинской площади, от Пушкинской спускаемся к Трубной, оттуда по Неглинке идем к Большому театру, потом к Каменному мосту... Я готов ходить бесконечно. Я только спрашиваю у нее, не устала ли она. Нет, она не устала, ей очень интересно. Гаснут фонари на улицах, горит одна только сторона. Небо, дождавшись полумрака, спускается ниже, звезд становится больше. Потом начинается тихий рассвет. На бульварах, тесно прижавшись, сидят влюбленные. На каждой скамейке по одной паре. Они молчат почему-то. Я смотрю на них с завистью и думаю, будем ли и мы с Лилей сидеть когда-нибудь так...

На улицах совсем нет прохожих. Только милиционеры. Некоторые выразительно покашливают, когда мы проходим. Наверное, им хочется что-нибудь сказать нам, но они не говорят. Лиля наклоняет голову и ускоряет шаг. А мне почему-то смешно. Теперь мы с ней идем почти рядом, и, когда она наклоняет голову, я вижу пушистые завитки на ее нежной шее. Ее рука иногда касается моей. Это совсем незаметные прикосновения, но я их чувствую.

Наконец мы расстаемся в ее тихом гулком дворе. Все спят, не светится ни одно окно. Мы понижаем голоса почти до шепота, но слова все равно звучат громко, и мне кажется, нас кто-то подслушивает.

Домой я прихожу в три часа. Только сейчас

я начинаю чувствовать, как гудят ноги. Как же в таком случае устала она! Я зажигаю настольную лампу и читаю «Замок Броуди», который дала мне Лиля. Это замечательная книга. Читаю и почему-то все время вижу лицо Лили. Иногда я закрываю глаза и слышу ее нежный грудной голос.

Совсем рассвело, и я не могу больше читать. Я ложусь и смотрю в окно. Мы живем очень высоко, на седьмом этаже. Из окна видны крыши домов. А вдали, там, откуда летом встает солнце, видна звезда кремлевской башни. Одна только звезда видна. Я люблю подолгу смотреть на эту звезду. Ночью, когда в Москве тихо, я слышу бой курантов. Ночью все очень хорошо слышно.

Я лежу, смотрю на звезду и думаю о Лиле.

3

А через неделю мы с матерью уезжаем на север. Я давно мечтал об этой поездке — с самой весны. Но теперь жизнь в деревне для меня полна особенного значения и смысла.

Я впервые попал в леса, в настоящие дикие леса и весь переполнен радостью первооткрывателя. У меня есть ружье, мне купили его, когда я окончил девять классов. Я брожу совсем один и не скучаю. Я люблю людей, люблю веселье, смех, но теперь я рад почему-то своему одиночеству. Иногда я устаю. Тогда я сажусь и смотрю на широкую реку, на бледное осеннее небо.

Уже август, и на севере часто стоит плохая погода. Но и в плохую погоду и в солнце рано утром выхожу я из дому и иду в лес. Там я охочусь и собираю грибы или просто перехожу с поляны на поляну и смотрю на белые ромашки, которых здесь множество. Мало ли что можно делать в лесу! Можно выбрать укромное место на берегу озера и сидеть неподвижно.

Прилетят утки, с шипением опустятся совсем рядом. Сначала они будут сидеть прямо, вытянув шеи, потом начнут нырять, плескаться, сплываться и расплываться. Я слежу за ними одними глазами, не поворачивая головы.

Потом выйдет солнце из-за туч, прорвется через листья над моей головой и запустит золотые дрожа-

щие пальцы глубоко в воду. Тогда видны длинные ржавые стебли кувшинок. Возле стеблей показываются большие рыбы. Они застывают в солнечном луче, не шевеля ни одним плавником, будто грезят о летних прекрасных днях с грозами и майскими жуками или спят... Мне очень странно следить за ними. Глядя на них, сам цепенеешь и воспринимаешь все, как сквозь сон.

Мало ли что можно делать в лесу! Можно просто лежать, слушать гул сосен и думать о Лиле. Можно даже говорить с ней. И я рассказываю ей об охоте, об озерах и лесах, о прекрасном запахе ружейного дыма, и она понимает меня, хотя женщины вообще не любят и не понимают охоты.

Иногда я возвращаюсь домой ночью. Я иду полем, и мне немного страшно. Со мной заряженное ружье, но все-таки я часто оглядываюсь. Смутен тогда мой дух, и многое приходит мне на ум. Очень темно, только в небе, если долго смотреть, можно заметить слабый серебристый свет. Но на земле очень темно. Надо мною кругами беззвучно летают совы. Я вижу бархатно-черные их силуэты, но, сколько бы ни прислушивался, мне не удается услышать взмахов их крыльев. Однажды я выстрелил. Сова глухо ударилась о межу и долго щелкала во тьме клювом...

Через месяц я возвращаюсь в Москву. Прямо с вокзала, едва поставив дома чемоданы, я иду к Лиле. Вечер, ее окна светятся — значит, она дома. Я подхожу к окну, пробираясь через леса — ее дом ремонтируют, и смотрю сквозь занавеску.

Лиля сидит за столом одна у настольной лампы и читает. Лицо ее задумчиво и печально. Она перевертывает страницу, облокачивается, поднимает глаза и смотрит на лампу, наматывая на палец прядь волос. Какие у нее темные глаза! Почему я раньше думал, что они серые? Они совсем темные, почти черные. Я стою под лесами, пахнет штукатуркой и сосной. Этот сосновый запах доносится ко мне, как далекий отзвук моих охот, как воспоминание обо всем, что я оставил на севере. За моей спиной слышны шаги прохожих. Люди идут куда-то, спешат, четко шагая по асфальту, у них свои мысли и своя любовь, они живут каждый своей жизнью. Москва оглушила меня своим шумом, огнями, запахами, многолюдством, от которых я отвык за месяц.

И я с робкой радостью думаю: как хорошо, что в этом огромном городе и у меня есть любимая!

— Лиля! — зову я негромко.

Она вздрагивает, брови ее поднимаются. Потом она встает, подходит к окну, отодвигает занавеску, наклоняется ко мне, и я близко вижу ее темные радостные глаза.

— Алеша! — говорит она медленно. На щеках ее появляются едва заметные ямочки. — Алеша! Это ты? Это правда ты? Я сейчас выйду. Ты хочешь гулять? Я очень хочу гулять с тобой. Я сейчас выйду.

Я выбираюсь из лесов, перехожу на другую сторону и смотрю на ее окна. Вот гаснет свет, проходит короткая минута, и в черной дыре ворот показывается фигура Лили. Она сразу замечает меня и бежит через улицу. Она хватает мои руки и долго держит их в своих руках. Мне кажется, она загорела и немного похудела. Глаза ее стали еще больше. Я слышу, как прерывается ее дыхание.

— Пойдем гулять! — говорит она. И тут я обращаю внимание, что она говорит мне «ты». Мне очень хочется сесть или прислониться к чему-нибудь — так вдруг ослабли мои ноги. Даже после самых утомительных охот они так не дрожали.

Но мне неудобно идти с ней. Я только на минутку зашел повидать ее. Я так плохо одет. Я прямо с дороги, на мне сбитые ботинки. Костюм прожжен в нескольких местах. Когда спишь у костра, очень часто прожигаешь куртку и брюки. Нет, я никак не могу идти с ней.

— Какая чепуха! — беспечно говорит Лиля и тянет меня за руку. Ей нужно со мной поговорить. Она совсем одна, подруги еще не приехали, родители на даче, она страшно скучает и все время ждала меня. При чем здесь костюм? И потом, почему я не писал? Мне, наверно, приятно, когда другие мучаются? Нет, нет, не мучаются — просто беспокоятся обо мне.

И вот мы опять идем по Москве. Очень странный, сумасшедший какой-то вечер. Начинается дождь, мы прячемся в гулкий подъезд и, задыхаясь после быстрого бега, смотрим на улицу. С шумом падает вода по водосточной трубе, тротуары блестят, автомашины проезжают совсем мокрые, и от них к нам ползут красные и белые змейки света, отра-

жающиеся на мокром асфальте. Вскоре дождь перестает, мы выходим, смеемся, перепрыгиваем через лужи. Но дождь припускает с новой силой, и мы опять прячемся. На волосах Лили блестят капли дождя. Но еще сильней блестят ее глаза, когда она смотрит на меня.

— Ты вспоминал обо мне? — спрашивает Лиля. — Я почти все время думала о тебе, хоть и не хотела. Сама не знаю почему. Просто думаю и думаю. Ведь мы знакомы так мало. Правда? Я читала книгу и вдруг подумала, понравилась ли бы она тебе. Ах, какая я глупая!.. У тебя уши не краснели? Говорят, если думаешь долго о ком-нибудь, у него обязательно краснеют уши. Я даже в Большой не пошла. Мне мама достала билет, а я не пошла. Как бы я сидела и наслаждалась музыкой, а ты в это время где-то... на каком-то севере, один. Ты мне все расскажешь о севере, да? Я тоже хочу туда поехать, где ты был. Ты любишь оперу?

— Еще бы. Я, может, скоро стану певцом. Все говорят, что у меня хороший бас.

— Алеша! У тебя бас? Спой, пожалуйста! Ты потихоньку спой, никто не услышит, одна я.

Сначала я отказываюсь. Потом я все-таки пою. Голос у меня дрожит, садится, я пою романсы и северную «барабушку» и не замечаю, что дождь уже кончился, по тротуару идут прохожие и оглядываются на нас. Лиля тоже не замечает ничего. Она смотрит мне в лицо, и глаза ее нестерпимо блестят, сияют.

4

Молодым быть очень плохо. Жизнь проходит быстро, тебе уже семнадцать или восемнадцать лет, а ты еще ничего не сделал, ты только собираешься что-то делать. Неизвестно даже, есть ли у тебя какие-нибудь таланты. А хочется большой, напряженной жизни! Хочется писать стихи, чтобы вся страна знала их наизусть. Или совершить множество подвигов. Или полететь в ракете в космическое пространство. Что же мне делать? Что сделать, чтобы жизнь не прошла даром, чтобы каждый день был днем борьбы и побед? Я живу в постоянной тоске, меня мучит жизнь, что я не герой, не откры-

ватель, не мыслитель. Способен ли я на подвиг? Есть ли у меня сила воли?

И я держу однажды руку над свечкой, долго, до треска и запаха паленого мяса, и, схватившись за щеки, изумленно смотрит на меня Лиля.

А способен ли я на тяжелый ежедневный труд, хватит ли у меня сил вытерпеть, выдержать долгие трудные годы? Хуже всего то, что никто не понимает моей муки. Все смотрят на меня, как на мальчишку, даже ерошат мне волосы, будто мне еще десять лет! И только Лиля, одна Лиля понимает меня, только с ней я могу быть до конца откровенным.

Мы давно уже занимаемся в школе: она — в девятом, я — в десятом. Я решил заняться плаванием и стать чемпионом СССР, а потом и мира. Уже три месяца хожу я в бассейн. Кроль — самый лучший стиль. Это самый стремительный стиль. Он мне очень нравится. А по вечерам я люблю мечтать.

Есть зимой короткая минута, когда снег на крышах и небо делаются темно-голубыми, даже лиловыми. Я стою у окна, смотрю в открытую форточку на лиловый снег, дышу морозным воздухом, и мне почему-то грезятся далекие путешествия, неизвестные страны, горы... Я голодаю, обрастаю рыжей бородой, меня печет солнце или до костей прохватывает мороз, я даже гибну, но открываю еще одну тайну природы. Вот жизнь! Если бы мне попасть в экспедицию!

Я начинаю ходить по трестам и главкам. Их много в Москве, и все они со звучными загадочными названиями. Да, экспедиции отправляются. В Среднюю Азию, и на Урал, и на север. Да, работники нужны. Какая у меня специальность? Ах, у меня нет специальности... Очень жаль, но мне ничем не могут помочь. Мне необходимо учиться. Рабочим? Рабочих они нанимают на месте. Всего доброго!

И снова я хожу в школу, готовлю уроки... Хорошо, я кончу десять классов и поступлю в институт. Мне теперь все безразлично. Я поступлю в институт и стану потом инженером или учителем. Но в моем лице люди потеряют великого путешественника.

Наступил декабрь. Все свободное время провожу я с Лилей. Я люблю ее еще больше. Я не знал, что любовь может быть бесконечной. Но это так. С каж-

дым месяцем Лиля делается мне все дороже, и уже нет жертвы, на которую я бы не пошел ради нее. Она часто звонит мне по телефону. Мы подолгу разговариваем, и я воображаю ее лицо, а после разговора никак не могу взяться за учебники, не могу успокоить сладко падающего куда-то сердца.

Начались сильные морозы с метелями. Мать собирается в деревню. Старинная теплая шаль есть у тети, которая живет за городом. Мне нужно поехать и привезти эту шаль.

В воскресенье утром я выхожу из дому. Но вместо того чтобы ехать на вокзал, я захожу к Лиле. Мы идем с ней на каток, потом греться в Третьяковку. В Третьяковке зимой очень тепло, уютно, там есть стулья, и на стульях можно посидеть и потихоньку поговорить. Мы бродим по залам и рассматриваем картины. Особенно я люблю «Девочку с персиками» Серова. Эта девочка очень похожа на Лилю. Лиля краснеет и смеется, когда я говорю ей об этом. Иногда мы совсем забываем о картинах, разговариваем шепотом и смотрим друг на друга или на свои руки. Между тем скоро темнеет. Третьяковка закрывается. Мы выходим на мороз, и тут я вспоминаю, что нужно было съездить за шалью. С испугом говорю я об этом Лиле. Ну что ж, очень хорошо, мы сейчас же поедем за город.

И мы едем, радостные оттого, что нам не нужно расставаться. Мы выходим на платформу, засыпанную снегом, и идем дорогой через поле. Впереди и сзади темнеют фигуры людей, идущих вместе с нами с электрички. Слышны разговоры и смех, вспыхивают огоньки папирос. Иногда кто-нибудь впереди бросает окурок на дорогу. Когда мы подходим, он все еще светится. Вокруг огонька — маленькое розовое пятнышко на снегу. Мы не наступаем на него. Пусть еще посветится в темноте. Потом мы переходим через замерзшую реку, и под нами гулко скрипит деревянный мост. Очень сильный мороз.

Мы идем темной просекой. По сторонам совсем черные ели и сосны. Тут гораздо темнее, чем в поле. Только из окон некоторых дач падают на снег желтые полосы света. Многие дачи стоят совсем глухие, темные: в них, наверное, зимой не живут. Сильно пахнет березовыми твердыми почками и чистым снегом, в Москве так никогда не пахнет.

Наконец мы подходим к дому моей тети. Почему-

то мне представляется невозможным зайти к ней вместе с Лилей.

— Лиля, ты подождешь меня немного? — нерешительно прошу я. — Я очень скоро.

— Хорошо, — соглашается она. — Только недолго. Я совсем замерзла. У меня замерзли ноги. И лицо. Нет, ты не думай, я рада, что поехала с тобой. Только ты недолго, правда?

Я ухожу, оставляя ее на темной просеке совсем одну. У меня очень нехорошо на сердце.

Тетя и двоюродная сестра удивлены и обрадованы. Почему я так поздно? Как я вырос! Совсем мужчина. Я, наверное, останусь ночевать?

— Как здоровье мамы?

— Спасибо, очень хорошо.

— Папа работает?

— Да, папа работает.

— Все там же? А как здоровье дяди?

Господи, тысячи вопросов! Сестра смотрит расписание поездов. Ближайший обратный поезд идет в одиннадцать часов. Я должен раздеться и напиться чаю. И потом я должен дать им посмотреть на себя и рассказать обо всем. Ведь я не был у них целый год! Год — это очень много.

Меня насильно раздевают. Топится печка, ярко горит лампа под розовым абажуром, стучат старинные ходики. Очень тепло, и очень хочется чаю. Но на темной просеке меня ждет Лиля!

Наконец я говорю:

— Я очень спешу... Да, я очень тороплюсь, и я не один. Меня на улице ждет... один приятель.

Как меня ругают! Я совсем невоспитанный человек. Разве можно оставлять человека на улице в такой холод! Сестра выбегает в сад, я слышу под окнами хруст ее шагов. Немного погодя опять хрустит снег, и сестра вводит в комнату Лилю. Она совсем белая. Она такая белая, что я не могу смотреть на нее. Ее раздевают и сажают к печке. На ноги ей надевают теплые валенки.

Понемногу мы отогреваемся. Потом садимся пить чай. Лиля становится пунцовой от тепла и смущения. Она почти не поднимает глаз от чашки, только изредка ужасно серьезно взглядывает на меня. Но щеки ее напряжены и на них дрожат ямочки. Я уже знаю, что это значит, и очень счастлив!

Напившись чаю, мы встаем из-за стола. Пора ехать. Мы одеваемся, мне дают шаль. Но вдруг раздумывают, велят Лиле раздеться, укутывают ее шалью и сверху натягивают пальто. Она очень толстая теперь, похожа на матрешку, лицо ее почти все закрыто шалью, только блестят глаза.

Мы выходим на улицу и первое время ничего не видим. Лиля крепко держится за меня. Отойдя от дома, мы начинаем немного различать тропинку. Лиля вдруг начинает хохотать. Она даже падает два раза, и мне приходится поднимать ее и вытряхивать снег из ее рукавов.

— Какой у тебя был вид! — еле выговаривает она. — Ты смотрел на меня как страус, когда меня привели!

Я тоже хохочу во все горло.

— Алеша! — вдруг со сладким ужасом говорит она. — А ведь нас могут остановить!

— Кто?

— Ну, мало ли кто! Бандиты... Они могут нас убить.

— Ерунда! — говорю я громко. Кажется, я говорю это слишком громко. И почему-то вдруг начинаю чувствовать, что на улице мороз. Он даже как будто покрепчал, пока мы пили чай и разговаривали. — Ерунда! — опять повторяю я. — Никого здесь нет!

— А вдруг есть? — быстро спрашивает Лиля и оглядывается.

Я тоже оглядываюсь.

— Ты боишься? — звонко спрашивает она.

— Нет! Хотя... А ты боишься?

— Ах, я страшно боюсь! Какая я дура, что поехала. Нас обязательно разденут. У меня предчувствие.

— Ты веришь предчувствиям?

— Верю. Зачем я поехала? Впрочем, я все равно рада, что поехала.

— Да?

— Да. Если даже нас разденут и убьют, я все равно не пожалею. А ты?

Я молчу и только крепче сжимаю ее руку. Если бы мне только представился случай, чтобы доказать ей свою любовь!

— Алеша...

— Да?

— Я у тебя хочу спросить... Только ты не смотри на меня. Не смей заглядывать мне в лицо. Да... о чем я хотела? Отвернись!

— Ну, вот я отвернулся. Только ты смотри на дорогу, а то мы споткнемся.

— Это ничего, я в платке, мне не больно падать.

— Да?

— Алеша... Ты целовался когда-нибудь?

— Нет. Никогда не целовался. А что?

— Совсем никогда?

— Я целовался один раз... Но это было в первом классе. Я поцеловал одну девочку. Я даже не помню, как ее звать.

— Правда? Ты не помнишь ее имени?

— Нет, не помню.

— Тогда это не считается. Ты был еще мальчик.

— Да, я был мальчик.

— Алеша... Ты хочешь меня поцеловать?

Я все-таки спотыкаюсь. Теперь я не отворачиваюсь больше и внимательно смотрю на дорогу.

— Когда? Сейчас? — спрашиваю я.

— Нет, нет... Если мы дойдем до станции и с нами ничего не случится, тогда на станции я тебя поцелую.

Я молчу. Мороз, кажется, послабел. Я совсем его не чувствую. Очень горят щеки. И жарко. Или мы так быстро идем?

— Алеша...

— Да?

— Я совсем ни с кем не целовалась.

Я молча взглядываю на звезды. Потом я смотрю вперед, на желтоватое зарево огней над Москвой. До Москвы тридцать километров, но зарево ее огней видно.

— Это, наверное, стыдно — целоваться? Тебе было стыдно?

— Я не помню, это было так давно... По-моему, это не так уж стыдно.

— Да, это было давно. Но все-таки это, наверное, стыдно.

Мы выходим в поле. На этот раз мы совсем одни в пустом поле. Ни души не видно ни впереди, ни сзади. Никто не бросает на дорогу горящих окурков. Только туго и звонко скрипит снег под нашими шагами. Вдруг впереди вспыхивает светлячок, бледный светлячок, похожий на далекую свечку. Он вспыхи-

вает, качается некоторое время и гаснет. Потом опять зажигается, но уже ближе. Мы смотрим на этот огонек и, наконец, догадываемся: это электрический фонарик. Потом мы замечаем маленькие черные фигуры. Они идут нам навстречу от станции. Может быть, это приехавшие на электричке? Нет, электричка не проходила, мы не слыхали никакого шума.

— Ну вот... — говорит Лиля и крепче прижимается ко мне. — Я так и знала. Это бандиты.

Что я могу ей сказать? Я ничего не говорю. Мы идем навстречу черным фигурам, мы очень медленно идем. Я вглядываюсь, считаю: шесть человек. Я нащупываю в кармане ключ и вдруг испытываю прилив горячего восторга и отваги. Я задыхаюсь от волнения, сердце мое бурно колотится. Они громко говорят о чем-то, но шагах в двадцати от нас замолкают.

— Лучше бы я тебя поцеловала, — печально говорит Лиля. — Я очень жалею...

И вот мы встречаемся на дороге среди пустынного поля. Шестеро останавливаются, зажигают фонарик, его слабый красноватый луч, скользнув по снегу, падает на нас. Мы щуримся. Нас оглядывают и молчат. У двоих распахнуты пальто. Один торопливо докуривает папиросу, сплевывает в снег. Я жду оклика или удара. Но нас не окликают. Мы проходим.

— А девочка ничего, — сожалеюще замечает кто-то. — Эй, пинжак, не робей! А то отобьем!

Лиля наклоняет лицо и улыбается.

— Ты испугался, да? — спрашивает она немного погодя.

— Нет! Я только за тебя боялся...

— За меня? — Она сбоку странно смотрит на меня и замедляет шаги. — А я ни капельки не боялась! Мне только платка жалко было.

Больше до самой станции мы не говорим. У станции Лиля, став на цыпочки и обсыпаясь снегом, срывает веточку сосны и сует ее в карман. Потом мы поднимаемся на платформу. Никого нет. У кассы горит одна лампочка, и снег на платформе блестит, как соль. Мы начинаем топать: очень холодно. Гулко щелкает что-то и катится по деревянной платформе, как по льду. Лиля вдруг отходит от меня и прислоняется к перилам. Я стою на краю платфор-

мы, над рельсами, и, вытягивая шею, стараюсь разглядеть огонек электрички.

— Алеша... — зовет меня Лиля. У нее странный голос.

Я подхожу. Ноги мои дрожат, мне делается вдруг страшно.

— Прижмись ко мне, Алеша, — просит Лиля.— Я совсем замерзла.

Я обнимаю и прижимаюсь к ней, и мое лицо почти касается ее лица. Я близко вижу ее глаза. Я впервые так близко вижу ее глаза. На ресницах у нее густой иней, волосы выбились из-под шали, и на них тоже иней. Какие большие у нее глаза и какой испуганный взгляд! Снег скрипит у нас под ногами. Мы стоим неподвижно, но он скрипит. Почему мы молчим? Впрочем, совсем не хочется говорить.

Лиля шевелит губами. Глаза ее делаются совсем черными.

— Что же ты не целуешь меня? — слабо шепчет она. Пар от нашего дыхания смешивается.

Я смотрю на ее губы. Они опять шевелятся и беспомощно приоткрываются. Я нагибаюсь и долго целую их, и весь мир начинает бесшумно кружиться. Они теплые и нежно-шершавые. Во время поцелуя Лиля смотрит на меня, прикрыв пушистые ресницы. Она целуется и смотрит на меня, и теперь я вижу, как она меня любит.

Так мы целуемся в первый раз. Потом она прижимается холодной щекой к моему лицу, и мы стоим не шевелясь. Я смотрю поверх ее плеча в темный зимний лес за платформой. Я чувствую на лице ее теплое детское дыхание и слышу торопливый стук ее сердца, а она, наверное, слышит стук моего сердца. Потом она затаивает дыхание. Я отклоняюсь, нахожу ее губы и опять целую. На этот раз она крепко закрывает глаза.

Вдали слышен низкий гудок, сверкает ослепительная звездочка. Подходит электричка, мчатся мимо вагоны, вздымая снежную пыль. Мы входим в теплый и светлый вагон, со стуком захлопываем за собой дверь и садимся на теплую лавочку. Людей в вагоне мало. Одни читают, шуршат газетами, другие дремлют, покачиваясь вместе с вагоном. Лиля молчит и всю дорогу упорно смотрит в окно, хоть стекла замерзли, на дворе ночь и решительно ничего нельзя увидеть.

5

Наверное, никогда нельзя с точностью указать минуту, когда пришла к тебе любовь. И я никак не могу решить, когда я полюбил Лилю. Может быть, когда я, одинокий, бродил по северу? Или тогда, когда я смотрел на нее вечером в окно и у нее было такое грустное лицо? А может, во время поцелуя на платформе? Или тогда, когда она впервые подала мне руку и нежно сказала свое имя: Лиля? Не знаю. Я только одно знаю, что теперь уже не могу без нее. Вся моя жизнь теперь делится на две части: до нее и при ней. Как бы я жил и что значил без нее? Я даже думать об этом не хочу, как не хочу думать о возможной смерти моих близких.

Зима наша прошла чудесно. Все было наше, все было общее: прошлое и будущее, радость и вся жизнь до последнего дыхания. Какое счастливое время, какие дни, какое головокружение!

Но весной я начинаю кое-что замечать. Нет, я ничего не замечаю, я только чувствую с болью, что наступает что-то новое. Это даже трудно выразить. Просто у нас обнаруживается разница в характерах. Ей не нравятся мои взгляды, она смеется над моими мечтами, смеется жестоко, и мы несколько раз ссоримся. Потом... Потом все катится под гору, все быстрей, все ужаснее. Все чаще Лили не бывает дома, все чаще разговоры наши делаются неестественно веселыми и пустыми. Я чувствую, как уходит она от меня с каждым разом все дальше, все дальше...

Сколько в мире юных девушек! Но ты знаешь одну, только одной ты смотришь в глаза, видишь их блеск, и глубину, и влажность, только ее голос трогает тебя до слез, только ее руки ты боишься даже поцеловать. Она говорит с тобой, слушает тебя, смеется, молчит, и ты видишь, что ты единственный ей нужен, что только тобой она живет и для тебя, что тебя одного она любит, так же как ты ее.

Но вот с ужасом ты замечаешь, что глаза ее, прежде отдававшие тебе свою теплоту, свой блеск, свою жизнь, глаза ее теперь равнодушны, ушли в себя и что вся она ушла от тебя в такую дальнюю даль, где тебе ее уже не достать, откуда не вернуть. Это как смерть. Самые священные твои порывы, затаенные и гордые мысли не для нее, и сам ты со всей

сложностью и красотой своей души не для нее. Ты гонишься за нею, ты напрягаешься, но все мимо, мимо, все не то и не так. Она ускользнула, ушла, она где-то у себя, в своем чудесном неповторимом мире, а тебе нет туда доступа, ты грешник — и рай не для тебя. Какие же отчаяние, злоба, сожаление и горе охватывают тебя! Ты опустошен, обманут, уничтожен и несчастен! Все ушло, и ты стоишь с пустыми руками, и в пору тебе упасть и кричать о своей боли и бессилии. И ты упадешь и закричишь, она взглянет на тебя, в глазах ее появятся испуг, удивление, жалость — все, но того, что тебе надо, не появится, и единственного взгляда ты не получишь, ее любовь, ее жизнь не для тебя. Ты даже можешь стать героем, гением, человеком, которым гордится страна, но единственного взгляда ты никогда не получишь.

И вот уже весна... Много солнца и света, голубое небо, липы на бульварах начинают клейко пахнуть. Все бодро оживленны, все собираются встречать май. И я, как и все, тоже собираюсь. У меня есть сто рублей, которые я скопил, — я богатый человек! И у меня впереди целых три свободных дня. Три дня, которые я проведу с Лилей, — не станет же она и в эти дни уходить в библиотеку готовиться к экзаменам! Нет, я не пойду никуда, никакие компании мне не нужны, я буду эти дни вместе с ней. Мы так давно не были вместе... Но я еще верю, верю и надеюсь на счастье.

Нет, она не может быть со мной. Ей нужно ехать на дачу к больному дяде. Ее дядя болен, и ему скучно, он хочет встретить май в кругу родных, и вот они едут — ее родители и она. Прекрасно! Очень хорошо встретить май на даче. Но мне так хочется побыть с ней... Может быть, второго мая? Второго? Она раздумывает, наморщив лоб, и слегка краснеет. Да, может быть, она вырвется... конечно, она очень хочет! Мы ведь так давно не были вместе! Итак, второго вечером, у телеграфа на улице Горького.

В назначенный час я стою у телеграфа. Как много здесь народу! Над моей головой глобус. Еще сумерки, но он уже светится — голубой, с желтыми материками — и тихонько крутится. Полыхает иллюминация: золотые колосья, голубые и зеленые

 искры. От света иллюминации лица у всех очень

красивые. В кармане у меня сто рублей — я их не истратил вчера: мало ли куда мы можем пойти с Лилей сегодня. В парк или в кино... Я терпеливо жду. Подходят все новые ребята и девушки. Некоторые сразу встречаются и уходят, взявшись за руки. Другие оглядываются, закусывают губы, потом принимают равнодушный вид. Но они нервничают, я знаю, только я спокоен. Конечно, я спокоен.

По улице, прямо посередине, идут толпы людей. Как много девушек и ребят, и все поют, кричат что-то, играют на аккордеонах. На всех домах флаги, лозунги, огни. Поют песни, и я бы мог тоже запеть: ведь у меня хороший голос. У меня бас. Я когда-то мечтал стать певцом.

Вдруг я вижу Лилю. Она пробирается ко мне, поднимается по ступенькам, и на нее все оглядываются — так она красива. Я никогда не видел ее такой красивой. Сердце мое начинает колотиться. Она быстро оглядывает всех, глаза ее перебегают по лицам, ищут кого-то. Они ищут меня.

Я делаю шаг ей навстречу, один только шаг, и вдруг острая боль ударяет меня в сердце, и во рту становится сухо. Она не одна! Рядом с ней стоит парень в берете и смотрит на меня. Он красивый, этот парень, и он держит ее под руку. Да, он держит ее под руку, тогда как я только на второй месяц осмелился взять ее под руку.

— Здравствуй, Алеша! — говорит Лиля. Голос ее немного дрожит, а в глазах смущение. Только небольшое смущение, совсем маленькое. — Ты давно ждешь? Мы, кажется, опоздали...

Она смотрит на большие часы под глобусом и чуть хмурится. Потом поворачивает голову и смотрит на парня. У нее очень нежное лицо, когда она на него смотрит. Смотрела ли она так на меня?

— Познакомьтесь, пожалуйста!

Мы знакомимся. Парень крепко жмет мне руку. В его пожатии уверенность и превосходство.

— Ты знаешь, Алеша, сегодня у нас с тобой ничего не выйдет. Мы идем сейчас в Большой театр... Ты не обижаешься?

— Нет, я не обижаюсь.

— Ты проводишь нас немножко? Тебе ведь все равно сейчас нечего делать.

— Провожу. Мне действительно нечего делать...

Мы вливаемся в поток и вместе с потоком дви-

жемся вниз, к Охотному ряду. Зачем я иду? Что со мной делается? Кругом поют. Играют аккордеоны, на крышах домов гремят репродукторы. Но зачем я иду, куда я иду?

— Ну, как дядя? — спрашиваю я.

— Дядя? Какой дядя?.. Ах, ты про вчерашнее? — Она закусывает губу и быстро взглядывает на парня. — Дядя поправляется... Мы очень хорошо встретили май, так весело было! Танцевали... А ты? Ты хорошо встретил?

— Я? Очень хорошо.

— Ну, я рада!

Мы заворачиваем к Большому театру. Теперь не я держу ее под руку. Ее руку держит этот красивый парень. И она уже не со мной, она с ним. Она сейчас за тысячу верст от меня. Почему у меня першит в горле? И щиплет глаза? Заболел я, что ли? Мы доходим до Большого театра, останавливаемся, молчим... Совершенно не о чем говорить. Я вижу, как парень легонько сжимает ее локоть.

— Ну, мы пойдем. До свидания! — говорит Лиля и улыбается мне. Какая у нее отсутствующая улыбка!

Я пожимаю ее руку. Все-таки у нее прекрасная рука. Они поворачиваются и неторопливо идут под колонны. Он близко наклоняется к ней и с улыбкой говорит ей что-то. А я стою и смотрю ей вслед. Она очень выросла за этот год. Ей уже семнадцать лет. У нее легкая фигура. Где я впервые увидел ее фигуру? Ах, да, в черной дыре ворот, когда я приехал с севера. Тогда ее фигура поразила меня. Потом я любовался ею в Колонном зале и в консерватории. Потом на балу в Кремле... Изумительный зимний бал! А сейчас она уходит и не оглядывается. Раньше она всегда оглядывалась, когда уходила. Иногда она даже возвращалась, внимательно смотрела мне в лицо и спрашивала:

— Ты что-то хочешь мне сказать?

— Нет, ничего, — отвечал я со смехом, счастливый оттого, что она вернулась.

Она быстро оглядывалась по сторонам и говорила:

— Поцелуй меня!

И я целовал ее, пахнущую морозом, на площади или на углу улицы. Она любила эти мгновенные поцелуи на улице.

— Откуда им знать! — говорила она о людях, которые могли увидеть наш поцелуй. — Они ничего не знают! Может, мы брат и сестра. Правда?

Теперь она не оглядывается. Я стою, и мимо меня идут люди, обходят меня, как столб, как вещь. То и дело слышен смех. Идут по двое, и по трое, и целыми группами, совсем нет одиноких. Одинокому невыносимо на праздничной улице. Одинокие, наверное, сидят дома. Я стою и смотрю ей вслед. Вот они уже скрылись в освещенном подъезде. Весь вечер они будут слушать оперу, наслаждаясь своей близостью. Надо мной в фиолетовом небе летит и никак не может улететь крылатая четвёрка коней. А в кармане у меня сто рублей.

6

Прошел год. И я почти позабыл о Лиле. Конечно, я забыл о ней. Вернее, я старался не думать о ней. Зачем думать? Один раз я встретился с ней на улице. Я побледнел, и у меня похолодела спина, но я держался ровно. Я старался не смотреть на нее, я сжал зубы. Ведь я совсем потерял интерес к ее жизни. Я не спрашивал, как она живет, а она не спросила, как живу я. Хотя много-много произошло у меня за это время. Год — это ведь очень много!

Я учусь в институте. Я очень хорошо учусь, никто не отвлекает меня от учебы, никто не зовет гулять. У меня много общественной работы. Я занимаюсь плаванием и уже выполнил норму первого разряда. Наконец-то я овладел кролем. Кроль — самый стремительный стиль. Впрочем, это неважно. При чем тут кроль?

Однажды я получаю от Лили письмо. Опять весна, и у меня очень легко на душе. Я люблю весну. Я сдаю экзамены за первый курс. И вот я получаю письмо от Лили. Она пишет, что вышла замуж. И мне вдруг вспомнилось, как я тонул в детстве. На меня налетел в воде верзила, дурак и начал с гоготом топить меня. Я кусался, пытался вздохнуть, извивался, и только что-то гулко-зеленое было по сторонам, я задыхался, глотал воду и не мог даже кричать... О чем это я? Ах, она вышла замуж... Еще она пишет, что уезжает с мужем на север и

очень просит прийти проводить ее. Она называет меня «милый» и подписывается: «Твоя старая, старая знакомая Лилька».

Я долго сижу и смотрю на обои. У нас красивые обои с замысловатыми рисунками. Я люблю смотреть на эти рисунки. Конечно, я провожу ее, раз она хочет. Почему бы нет? Она не враг мой, она не сделала мне ничего плохого. Я провожу ее, тем более что давно-давно все забыл: мало ли чего не бывает в жизни! Разве все запомнишь, что случилось с тобой год назад?

И я еду на вокзал в тот день и час, которые указала она мне в письме. Это тот же вокзал, с которого и я когда-то уезжал, и запахи те же, и то же томительное предчувствие дальней дороги.

Я увидел ее внезапно и даже вздрогнул. Странно, почему я вздрогнул, — ведь все, все кончено. Она стоит в светлом платье с открытыми руками, и первый загар уже тронул ее руки и лицо. У нее по-прежнему нежные руки. Но лицо изменилось, оно стало лицом женщины. Она уже не девочка, нет, не девочка... С ней стоят родные и муж — тот самый парень. Они все громко, торопливо говорят и смеются, но я замечаю, как Лиля нетерпеливо оглядывается: она ждет меня.

Я подхожу. Она тотчас берет меня под руку.

— Я на одну минуту, — говорит она мужу с нежной улыбкой.

Муж кивает и приветливо смотрит на меня. Да, он меня помнит. Он великодушно протягивает мне руку. Потом мы с Лилей отходим.

— Ну, вот я и дама, и уезжаю, и прощай Москва! — говорит Лиля и грустно смотрит на башни вокзала. — Я рада, что ты приехал. Мне вдруг захотелось повидать тебя. Странно как-то все... Ты очень вырос. Как ты живешь?

— Хорошо, — отвечаю я и пытаюсь улыбнуться. Но улыбка у меня не получается, почему-то деревенеет лицо.

Лиля внимательно смотрит на меня, лоб ее перерезают морщинки. Это у нее всегда, когда она думает.

— Что с тобой? — спрашивает она.

— Ничего. Я просто рад за тебя. Давно вы поженились?

— Всего неделю. Это такое счастье!

— Да, конечно...

Лиля смеется.

— Откуда тебе знать? Но постой, у тебя очень странное лицо!

— Это кажется. Это от солнца. Потом я немного устал, у меня ведь экзамены. Немецкий...

— Проклятый немецкий? — смеется она. — Помнишь, я тебе помогала?

— Да, я помню... — Я раздвигаю губы и улыбаюсь.

— Слушай, Алеша, в чем дело? — тревожно спрашивает Лиля, придвигаясь ко мне.

И я опять близко вижу ее прекрасное лицо, из которого уже ушло что-то. Да, оно переменилось, оно теперь почти чужое мне. Лучше ли оно стало, я не могу решить.

— Ты скрываешь что-то, — с упреком говорит она. — Раньше ты был не такой!

— Нет, нет, ты ошибаешься, — убежденно говорю я. — Просто я не спал ночь.

Лиля смотрит на часы. Потом оглядывается. Муж кивает ей.

— Сейчас! — кричит она ему и снова берет меня за руку. — Ты знаешь, как я счастлива! Порадуйся же за меня. Мы едем на север, на работу... Помнишь, как ты рассказывал мне о севере? Вот... ты рад за меня?

Зачем, зачем она спрашивает у меня об этом! Вдруг она начинает смеяться.

— Ты знаешь, я вспомнила... Помнишь, зимой на платформе мы с тобой поцеловались? Я тебя поцеловала, а ты дрожал так, что платформа скрипела. Ха-ха-ха!.. У тебя был тогда глупый вид.

Лиля смеется. Потом смотрит на меня веселыми серыми глазами. Днем глаза у нее серые. Только вечером они кажутся темными. На щеках у нее дрожат ямочки.

— Какие мы дураки были! — беспечно говорит она и оглядывается на мужа. Во взгляде ее нежность. Когда она поворачивается опять ко мне, я вижу эту не относящуюся ко мне нежность и что-то еще, что-то тайное...

— Да, мы были дураки, — соглашаюсь я.

— Нет, дураки — не так, не то... Мы были просто глупые дети. Правда?

— Да, мы были глупые дети.

Впереди загорается зеленый огонек светофора. Лиля идет к вагону.

— Ну, прощай! — говорит она. — Нет, до свидания! Я тебе напишу, обязательно!

— Хорошо.

Я знаю, что она не напишет. Зачем? И она знает это. Она искоса взглядывает на меня и немного краснеет.

— Я все-таки рада, что ты приехал проводить. И конечно, без цветов! Ты никогда не подарил мне ни одного цветка!

Она оставляет мою руку, берет под руку мужа, и они поднимаются на площадку вагона. Мы остаемся внизу на платформе. Ее родные что-то спрашивают у меня, но я ничего не понимаю. Впереди низко и долго гудит электровоз. Вагоны трогаются. «Подари на прощанье мне билет, на поезд куда-нибудь...» — вспоминаю я. Удивительно мягко трогает электровоз вагоны! Все улыбаются, машут платками, кепками, кричат, идут рядом с вагонами. Играют сразу две или три гармошки в разных местах, в одном вагоне громко и нестройно поют. Наверное, студенты. Лиля уже далеко. Одной рукой она держится за плечо мужа, другой машет нам. Даже издали видно, какие нежные у нее руки. И еще видно, какая грустно-счастливая улыбка.

Поезд уходит. Я закуриваю, засовываю руки в карманы и с потоком провожающих иду к выходу на площадь. Я сжимаю папиросу в зубах и смотрю на серебристые фонарные столбы. Они очень блестят от солнца, даже глазам больно. И я опускаю глаза. Теперь можно признаться: весь год во мне все-таки жила надежда. И вот все кончено. Ну что ж, я рад за Лилю, честное слово, рад! Только почему-то очень болит сердце.

Обычное дело — девушка вышла замуж, это ведь всегда так случается. Девушки выходят замуж, это очень хорошо. Плохо только, что я не могу плакать. Последний раз я плакал пятнадцати лет. Теперь мне двадцатый. И сердце стоит в горле и поднимается все выше, а я не могу плакать.

Я выхожу на площадь, и в глаза мне бросается циферблат часов на Казанском вокзале. Странные фигуры вместо цифр, я никогда не мог в них разобраться. Мне хочется пить, и я подхожу к газировщице. Сначала я хочу с сиропом, но потом разду-

мываю и прошу чистой воды. Неловко пить с сиропом, когда сердце подступает к горлу. Я беру холодный мокрый стакан и набираю в рот воды, но не могу проглотить. Кое-как делаю, наконец, глоток, всего один глоток. Кажется, стало легче.

Потом я спускаюсь в метро. Что-то сделалось с моим лицом; я замечаю, что многие на меня пристально смотрят. Дома я некоторое время думаю о Лиле. Потом снова начинаю рассматривать рисунки на обоях. Если вглядеться в них, а потом отвлечься и подумать о другом, можно увидеть вдруг много любопытного. Можно увидеть джунгли и слонов с задранными хоботами. Или фигуры странных людей в беретах и плащах. Или лица своих знакомых. Только Лилиного лица нет на обоях. Наверное, она сейчас проезжает мимо той платформы, на которой мы поцеловались в первый раз. Только сейчас платформа вся в зелени, и доски ее сухи и горячи от солнца. Посмотрит ли она на эту платформу? Впрочем, зачем ей смотреть? Она смотрит сейчас на своего мужа. Она его любит. Он очень красивый, ее муж.

7

Ничто не вечно в этом мире, даже горе. А жизнь не останавливается. Нет, никогда не останавливается жизнь, властно входит в твою душу, и все твои печали развеиваются, как дым, маленькие человеческие печали, совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир.

Теперь я кончаю институт. Кончилась моя юность, отошла далеко-далеко, навсегда. И это хорошо: я взрослый человек и все могу, и мне не ерошат волосы, как ребенку. Скоро и я поеду на север. Не знаю, почему-то меня все тянет на север. Наверное, потому, что я там охотился и был счастлив когда-то.

Лилю я совсем забыл: ведь столько лет прошло! Было бы очень трудно жить, если бы ничто не забывалось. Но, к счастью, многое забывается. Конечно, она так и не написала мне с севера. Где она, я не знаю, да и не хочу знать. Я о ней совсем не думаю. Жизнь у меня хороша. Правда, не стал я ни поэтом, ни певцом... Ну что ж, не всем быть по-

этами! Спортивные соревнования, конференции, практика, экзамены — все это очень занимает меня, ни одной минуты нет свободной. Кроме того, я научился танцевать, познакомился со многими красивыми и умными девушками, встречаюсь с ними, в некоторых влюбляюсь, и они влюбляются в меня.

Но иногда мне снится Лиля. Она приходит ко мне во сне, и я вновь слышу ее голос, ее нежный смех, трогаю ее руки, говорю с ней — о чем, я не помню. Иногда она печальна и темна, иногда радостна, на щеках ее дрожат ямочки, очень маленькие, совсем незаметные для чужого взгляда, и влажно сияют ее темные глаза. И я тогда вновь оживаю, и тоже смеюсь, и чувствую себя юным и застенчивым, будто мне по-прежнему семнадцать лет, будто я счастлив и люблю впервые в жизни...

Я просыпаюсь утром и долго лежу, закрыв глаза, и совсем не занимаюсь гимнастикой. Потом я еду в институт на лекции, дежурю в профкоме или выступаю на комсомольском собрании. Но мне почему-то тяжело в этот день и хочется побыть одному.

Но это бывает редко. И потом это все сны. Сны, сны... Непрошеные сны! Говорят, если спать на правом боку, то снов не будет. Теперь я буду спать на правом богу.

Ах, как не люблю я снов!

некрасивая

Свадьба была в самом разгаре. Жениха с невестой давно свели в другую избу, прокричали по деревне первые петухи, а гармонист все играл, изба дрожала от дробного топота, ослепительно и жарко горели пять ламп, и на окнах еще висели неугомонные ребята.

Много было выпито и съедено, много пролито слез, много спето и сплясано. Но каждый раз на стол ставились еще водка и закуска, гармониста сменял патефон с фокстротами и танго, топот и присядку — шарканье подошв, и веселье не убывало, все слышнее становилось на улице и еще дальше, в поле и у реки, и теперь во всех окрестных деревнях знали, что в Подворье гуляют.

Всем было весело, только Соне было тяжело и тоскливо на душе. Острый нос ее покраснел от выпитой водки, в голове шумело, сердце больно билось от обиды, оттого, что никто ее не замечает, что всем весело, все в этот вечер влюблены друг в друга, и только в нее никто не влюблен и никто не приглашает танцевать.

Она знала, что некрасива, стыдилась своей худой спины и столько уж раз давала зарок не ходить на вечера, где танцуют и поют, и влюбляются, но каждый раз не выдерживала и шла, все надеясь на какое-то счастье.

Даже раньше, когда она была моложе и училась в институте, в нее никто не влюблялся. Ее ни разу не проводили домой, ни разу не поцеловали. Она окончила институт, поехала работать в деревню, ей дали комнату при школе. Вечерами она проверяла тетради, читала, учила на память стихи о любви, ходила в кино, писала длинные письма подругам и тосковала. За два года почти все подруги ее вышли

замуж, а у нее за это время еще больше поблекло лицо и похудела спина.

И вот ее, словно в насмешку, пригласили на свадьбу, и она пришла. Она жадно смотрела на счастливую невесту, вместе со всеми кричала слабым голосом: «Горько!» — и ей было действительно горько от мысли, что своей свадьбы она никогда не сыграет.

Ее познакомили с ветеринарным фельдшером Николаем, мрачным парнем с резким красивым лицом и черными глазами. Их посадили рядом, и он пробовал сначала ухаживать за ней. Соня пила и ела все, что он предлагал, благодарила взглядом, и ей казалось, что взгляд ее выразителен и полон интимной нежности.

Но Николай почему-то все больше мрачнел, скоро перестал ухаживать за ней, начал заговаривать с кем-то через стол. Потом он совсем ушел от нее, много плясал, вскрикивая, болтая длинными руками, изумленно озирался кругом, подходил к столу, пил водку. А после вышел в сени и больше не вернулся.

Теперь Соня сидела одна в углу, думала о своей жизни, презирала всех этих довольных и счастливых, пьяных, потных, презирала и жалела себя.

Недавно она сшила платье, очень хорошее темно-синее платье. Все хвалили его и говорили, что оно ей к лицу. И вот платье не помогло, и все осталось, как было...

Часа в три ночи Соня, всеми забытая, несчастная, с красными пятнами на щеках, вышла в сени и оттуда — на крыльцо.

Избы стояли черные. Деревня спала, везде было тихо, только из открытых окон избы, где гуляли, неслись в темноту пронзительные звуки гармошки, крики и топот ног. Свет пятнами падал на траву, и трава казалась рыжей.

У Сони задрожал подбородок. Она закусила губу, но это не помогло. Тогда она сошла с крыльца, еле смогла дойти до березы, нежно белеющей в темноте, привалилась к ней плечом и зарыдала. Ей было стыдно рыданий, она боялась, что услышат, и, чтобы не услышали, зажала в зубы душистый платок. Но ее никто не слышал. «Ну, довольно! — говорила себе Соня, крепко закрывая глаза. — Ну, хватит же! Больше не надо! Нужно идти!» И она хотела

идти, откачивалась от березы, а ноги не держали ее, и идти она не могла.

— Что такое? — громко спросил кто-то сзади.

Соня затаила дыхание, быстро вынула изо рта платок, вытерла о плечо лицо, не отпуская березы, стыдливо оглянулась. Это был Николай. Его качало, чтобы не упасть, он схватил ее за плечо. Рука его была перепачкана землей.

— А! — пьяно сказал он. — Это вы? А я... на огороде... был. — Он качнулся и прижался к ней. — На свадьбу, сволочь, пригласил! — с усилием выговорил он. — А! Убью! Теперь все! Литром хотел откупиться... Врешь, гад! Меня не купишь!

Николай заскрипел зубами и матерно выругался.

— Вам плохо? — испуганно спросила Соня. — Хотите воды?

— Кого? Мутит меня...

Он оторвался от Сони и пошел за угол. Соне стало его жалко. Она принесла из сеней ведро воды, стала поливать ему на голову. Он покорно нагибался, фыркал, бубнил что-то невнятное.

Потом с мокрой головой, в рубашке, он сидел на крыльце и курил, а Соня отмывала пиджак.

— Вам легче теперь? — тихо спросила она, боясь, что кто-нибудь выйдет и увидит ее.

— Малость полегчало... Чего это я вас раньше не видел? Я тут всех знаю.

— Я редко хожу на гулянки.

— А! Вы при школе живете?

— При школе.

— Провожу, желаете?

Николай встал, надел пиджак, помотал головой и пошел в сени напиться.

— Вы чего плакали-то? — спросил он, вернувшись. — Обидел кто? — У Сони благодарно забилось сердце. Она опустила голову.

— Нет, никто не обидел...

— А то вы скажите! Если кто тронул, я ему, гаду, ребра поломаю! — Николай взял Соню под руку, они перешли пыльную дорогу, свернули налево, пошли тропинкой мимо плетней и огородов. Роса уже пала, трава была мокрой.

Соне хотелось смеяться. Она была для себя сейчас как чужая. Ей хотелось положить голову Николаю на плечо, но она стыдилась этого желания,

а когда Николай, качнувшись, прижимался к ней, она поспешно отстранялась.

— Послушайте, вы совсем пьяный! — с нежным укором, как старому знакомому, говорила она ему.

— Ну да! — Николай тер себе рукою лицо. — Какой там пьяный.

Они подошли к школе и поднялись на крыльцо. Соня растерялась. Она не знала, что делать: уйти сразу или постоять? Сначала она хотела уйти, но, испугавшись, что Николай обидится, осталась.

Николай почему-то опять опьянел, сипло дышал, держал Соню за руку.

— Ну расскажите же что-нибудь, — попросила она, поднимая к нему бледное в темноте лицо.

— Чего там рассказывать?.. — хрипло сказал он, схватил ее, сжал так, что хрустнули кости, и стал целовать мокрыми губами.

— Пустите! — шептала она, вырываясь. — Пустите!

— Тихо! — говорил он шепотом, толкал ее в темные сени. — Тихо! Чего ты, ну чего ты, дура!

В сенях он прижал ее к стене.

— Коля... Успокойся, милый! Боже мой, что же это?

— Любишь меня? — бормотал Николай. — У, собака!

— Не надо, Коля, не надо! — сказала она вдруг так печально, что Николай выпустил ее.

Отдышавшись, он покашлял немного, закурил, посмотрел при свете спички ей в лицо.

— Ну ладно... — сказал он. — Не сердись! Ты вот что... Ты приходи завтра к риге. Придешь?

— Когда? — спросила шепотом Соня, вся дрожа.

— Часов в семь. Ладно?

— Приду...

— Ага... — Николай несколько раз жадно затянулся, бросил окурок, долго притаптывал его каблуком. — Ну, пока!

Он еще раз поцеловал ее, но уже спокойно, помял ей ладонью лицо, сошел с крыльца и пропал в темноте. Через минуту он запел. Песня была пьяной и фальшивой.

Дома Соня осторожно ходила по комнате, раздевалась, пила холодный чай. Раздевшись, в одной рубашке она подошла к зеркалу, долго с грустью смотрела на свое лицо, острые плечи и ключицы.

«Боже мой, какая я страшная! — подумала она и вздрогнула. — Надо пить рыбий жир! Обязательно рыбий жир!»

Она полезла в стол и прямо из масленки стала есть сливочное масло. Масло было ей противно, но она глотала его ложками и думала о Николае. Потом она потушила свет и легла, но заснуть не могла. В Москве, против ее дома, горел фонарь, росли липы, и тени от них всю ночь трепетали на стеклах. Здесь за окном была глухая тьма.

— Это любовь? — спрашивала вслух Соня и поворачивалась к стене.

Весь следующий день Соня была сама не своя. С утра пошел было дождь. Диктуя ребятам какой-то отрывок, Соня с испугом смотрела в окно на мокрых кур и лужи. Но дождь прошел, небо очистилось, и к вечеру проезжающие мимо школы автомашины оставляли уже за собой хвосты пыли.

После работы Соня села писать подруге. Она писала о том, что вчера один парень провожал ее и сегодня назначил свидание. Письмо получилось большим и веселым. Окончив его, Соня почему-то решила, что влюблена в Николая. Она отнесла письмо на почту, пришла и легла, повернувшись к стене.

Она думала, придет Николай или нет, а если придет, то как будет держать себя и что говорить. Еще со страхом думала она, что ей делать, если он опять станет целовать ее. Эти мысли так расстроили ее, что у нее тряслись руки, когда она стала одеваться.

Она надела вчерашнее темно-синее платье, завила немножко волосы и надушилась. Ладони ее потели.

Когда она шла по деревне, ей казалось, что из всех окон на нее смотрят и что все знают, куда и зачем она идет. Ей было стыдно, она хотела прибавить шагу и не могла.

Только в поле она вздохнула свободнее. Было тепло, дорога слегка пылила, солнце опускалось в багровую дымку. На меже, близ дороги, стоял трактор. Замасленный тракторист ковырялся в моторе. Увидев Соню, он разогнулся, вытер о штаны руки, закурил и задумчиво посмотрел ей вслед.

Сойдя в ложок, на дне которого не высыхала никогда исслеженная коровами грязь, Соня вдруг испугалась, что Николай может прийти раньше и

уйти, не дождавшись ее. Она прибавила шагу, потом побежала.

Она остановилась, когда вдали показалась рига. Никого не было возле риги, и Соня обрадовалась. Она немного передохнула, потом сняла и вытерла травой запыленные туфли. Ей показалось неудобным сидеть со стороны дороги, и она перешла на другую сторону. Там было тепло, от нагревшейся за день стены шел жар.

Пришел мальчишка с удочками, стал рыть червей. Соня, покраснев, опять вышла к дороге. По дороге ехали на телегах из города, посматривали в ее сторону, а мальчишка, как назло, долго не уходил. Соне стало жарко. Наконец мальчишка, накопав червей, ушел. Несколько раз он насмешливо обернулся. «Он догадался! — со стыдом думала Соня. — Хорошо, что он не из моей школы!»

Она опять спряталась за ригу, сорвала ромашку. Лепестки у ромашки были опущены, она была похожа на ракету. Соня стала отрывать лепестки. «Придет, не придет...» Вышло — не придет. Хуже всего было, что Соня не знала, откуда придет Николай. Она вставала, выходила из-за риги, оглядывалась, снова пряталась. Она совсем измучилась, когда показался Николай. Он шел низом от реки, засунув руки в карманы, в накинутом на плечи пиджаке. Подходя, он с напряженным вниманием разглядывал Соню, как человек, что-то забывший и силившийся вспомнить. Лицо его делалось все скучней. Подойдя, он отвел глаза и вяло протянул руку.

— Привет...

— Здравствуйте, — ответила Соня, не смея поднять глаз.

— Давно ждете?

— Нет...

— Гм... Ну, зайдем в холодок.

Они обошли ригу и сели на ворохе соломы лицом к дороге. Солнце заходило, все меркло, тень от риги протянулась через все поле.

— Благополучно вчера дошли? — спросила Соня, быстро взглядывая на Николая и сочувственно, понимающе улыбаясь.

— Нормально... — Николай зевнул и снял пиджак. — Не выспался только.

— Вы вчера были нехороший, — мягко сказала Соня.

— Чего еще! — Николай равнодушно обнял Соню, притянул, хотел поцеловать, но раздумал, подышал только за ворот.

— Скоро стемнеет, — заметила Соня, покорно приникая к Николаю и слыша гулкие удары его сердца.

— Как попозднеет, пойдем в горох, а? — Николай мотнул головой куда-то вправо. — Там шалаш есть. Пойдешь?

— Не надо об этом, Коля, — тихо попросила Соня и вздохнула.

— Эх, — воскликнул вдруг Николай, — спать охота! Ну-ка, дай прилягу...

Он отодвинулся и лег, разбросав ноги в сапогах, положил голову Соне на колени. Полежав немного с закрытыми глазами, он закинул руку и схватил Соню за бок.

— Чего это ты худая такая?

Соня перестала на минуту дышать.

— Конституция такая, — насильно улыбаясь, сказала она.

— Ну, конституция! Наверно, больная чем-нибудь. Это как скотина: заболела — как ни корми, все одни мосляки.

Соне вдруг стало все безразлично, и она несколько раз сглатывала, чтобы избавиться от противного ощущения тошноты.

— Почему вы такой грубый! — вдруг низко сказала она. — Или вы думаете, что со мной все можно?

Она резко отвернулась и стала медленно краснеть.

— Не смейте так говорить со мной! Слышите!

Она закусила нижнюю губу и рукавом крепко вытерла глаза. Потом, по-прежнему напряженно глядя в поле, шевельнула коленями.

— И уходите! Я вам не скотина, снимите голову, слышите! Оставьте меня!

Николай смущенно сел.

— Ну, ну... — забормотал он. — Извиняюсь! Ну вот, знал бы... Не хотел — гад буду! Это по работе — привыкнешь.

— Нет, не по работе, — уже спокойно, грустно сказала Соня и опустила голову. — А потому что...

Она теребила платок, пальцы ее дрожали, лица не было видно.

— Потому, что вы решили: раз я пришла, так чего же со мной стесняться!

Николай крепко поскреб в затылке и ничего не сказал.

— Что это вы ругались вчера? — спросила Соня после долгого молчания.

— Так... — Николай нахмурился. — У меня с ним свои счеты. Он, гад, Зойку у меня отбил, женился. Видала вчера невесту? Гулял я с ней...

— Вас, наверное, многие девушки любят, — сказала Соня.

— А! — Николай сморщился, как от кислого, и опять положил голову ей на колени. — Знаю я их-нюю любовь!

— Зачем вы так, Коля? — быстро сказала Соня. — Нужно верить людям! Вы посмотрите, какие чудесные у нас люди!

Николай поднял голову и сплюнул.

— Вы не верите? — упавшим голосом спросила Соня.

— В чего это?

— В чистоту человека.

Николай засмеялся.

— Ох, и любят же бабы воду мутить! Чистота... — Он поворочался, зевнул и закрыл глаза.

От его большой ленивой фигуры, крепкой шеи, неподвижного, жесткого в наступающих сумерках, красивого лица веяло чугунной силой.

Соня дрожащей рукой стала перебирать волосы Николая, жадно глядела на него, все еще стыдясь и краснея.

— Коля... Вы ведь хороший, я знаю, у вас душа хорошая, — сказала она еле слышно.

— Обожди! — Он поднял голову и прислушался. Потом сел, опираясь рукой о ее колени.

По дороге, тихо разговаривая, шли двое.

— Эй! — крикнул Николай.

— Зачем вы, Коля! — шепнула Соня, пряча лицо.

Шедшие остановились.

— Куда это? — опять крикнул Николай.

— На гулянку. А кто это? Никак Николай!

— Он самый. Где гулянка-то?

— В Сосновке.

На дороге закурили и, посвечивая огоньками, пошли дальше. Николай посмотрел им вслед.

— Погодите! — крикнул он вдруг. — И я с вами!

Он торопливо встал, встряхнул пиджак, накинул на плечи. Потом, кашлянув, протянул руку Соне.

— Ну, пока! Еще когда повидаемся... — Отвернулся и, придерживая пиджак, рысцой стал догонять тех, на дороге.

Совсем стемнело. Сбоку вылупился тонкий месяц, от реки по лугам пополз прозрачный туман. Звуки умирали, один раз только за ригой что-то пробежало: топ-топ-топ...

Соня сидела, привалясь спиной к стене, подняв кверху лицо. Ее трясло. Она стягивала рукой ворот у горла, думала, полегчает, но не легчало. Она пробовала заплакать, но звук, вырвавшийся из груди, был так низок и страшен, что она испугалась, сидела окаменев.

Наконец она встала, держась за стену, постояла немного и пошла домой. Едва отошла она от реки, стало сухо и тепло. Опять шла она мягкой дорогой, но теперь ей светили звезды. Нежно пахло сеном и придорожной пылью. От сияния Млечного Пути тьмы полной не было, по сторонам виднелись то стога сена, то копешки льна, то светлело неубранное поле ржи.

— У-у! — сказала Соня все тем же низким, страшным звуком. — У-у!..

Больше она не могла ничего сказать и ни о чем подумать. Опять спустилась она в сырой ложок, поднялась наверх. Трактор, что давеча чинился у дороги, теперь пахал далеко в поле. Чуть видна была звездочка его фары, слышен был слабый стрекот мотора.

Потом ей стало легче. Она вдруг увидела пронзительную красоту мира, и как, медленно перечеркивая небо, валились звезды, и ночь, и далекие костры, которые, может быть, чудились ей, и добрых людей возле этих костров и почувствовала уже усталую, покойную силу земли. Она подумала о себе, что она все-таки женщина и что, как бы там ни было, у нее есть сердце, есть душа, и что счастлив будет тот, кто это поймет. О! Тупой, тупой дурак — какую силу и прелесть чувствовала она в себе, как легко и яростно стало ей, как решительно зашагала и как, наверное, хороша стала в темноте — одинокая под полыхающими, падающими звездами!

Скоро показалась темная деревня. Многие уже спали, в редких избах горел огонь. Из-под ворот вылезла крупная белая собака. Увидев Соню, собака молча забежала сзади, стала нюхать. «А ну! Попробуй укуси!» — задыхаясь от мстительной отваги, подумала Соня и повернулась к ней лицом. Но собака не укусила, только дунула два раза на ноги и побежала в темноту. Соня пошла дальше, и ей стало совсем легко.

Тедди

История одного медведя

1

Большого бурого медведя звали Тедди. У других зверей тоже были имена, но Тедди никак не мог запомнить их и постоянно путал, и только свою кличку знал твердо, всегда откликался и шел, если его звали, и делал то, что ему говорили.

Жизнь его была однообразной. Работал он в цирке, работал так давно, что и счет потерял дням. Его по привычке держали в клетке, хоть он давно уже смирился и в клетке не было необходимости. Он стал равнодушен ко всему, ничем не интересовался и хотел только, чтобы его оставили в покое. Но он был старым опытным артистом, и в покое его не оставляли.

Вечером его выпускали на ярко освещенный манеж, посередине которого, не торопясь, расхаживал высокий человек с напудренным лицом. На человеке были белые панталоны, мягкие черные сапоги и лиловая куртка с нашитой спереди золотой тесьмой. И панталоны, и куртка, и бледное равнодушное лицо человека всегда производили на Тедди сильное впечатление. Но больше всего медведь боялся его глаз.

Когда-то, в дни своей молодости, Тедди несколько раз поднимал страшный звериный бунт. Он тоскливо ревел, рвал прутья клетки, и никакими самыми жестокими мерами нельзя было его успокоить. Но приходил человек с бледным лицом, становился возле клетки, смотрел на Тедди, и каждый раз под его взглядом медведь покорно стихал и через час уже позволял выводить себя на репетицию.

Теперь Тедди уже не бунтовал и послушно проделывал всевозможные неловкие и ненужные, часто даже неприятные штуки. И человек в белых панталонах уже не грозил ему взглядом, а когда

говорил о медведе, то называл его не иначе, как «старый добрый Тедди», и в голосе его была ласка.

В кожаном наморднике выходил Тедди на манеж, кланялся зрителям, которые встречали его радостным шумом. Ему подавали велосипед, он задирал через седло лапу, отталкивался и, сильно нажимая на педали, крепко вцепившись в руль, ездил кругами по манежу. Громко играла музыка, а зрители смеялись и хлопали в ладоши.

Он умел делать еще несколько забавных штук: быстро перебирая лапами, катался на больших шарах, подымался и балансировал на тонкой металлической планке, дрался в надетых на передние лапы перчатках с другим медведем. Тедди был лишен чувства юмора, вернее, юмор его был другим, звериным, и он не понимал, почему так веселятся все эти люди, когда он с отвращением проделывал свои неудобные и неприятные штуки.

По ночам медведь часто не спал. В коридоре тускло горела маленькая лампочка, громко храпел сторож-старик, от которого всегда вкусно пахло. Звери рычали и повизгивали во сне. От клеток шел тяжелый звериный запах. В углах было темно. По полу бегали большие наглые крысы, вставали на задние лапы, и от них тянулись тогда длинные тени.

Подумав и поворчав некоторое время, Тедди начинал заниматься своим туалетом. Он долго и равномерно вылизывал лапы и живот, а когда лапы и живот становились совершенно мокрыми и липкими, принимался за бока и спину. Но спину лизать было неловко, он скоро уставал и предавался тогда печальным размышлениям.

Вспоминал он детство свое и мать, красивую медведицу с мягкими лапами и длинным горячим языком. Но детства Тедди почти не помнил, помнил только небольшой ручей с желтыми песчаными берегами: песок был мелкий и горячий. Помнил еще кисло-сладкий запах муравьев, которых ему с тех пор не доводилось попробовать.

Вспоминал он также вкусные обеды, которыми его иногда кормили в цирке. Один раз заболел небольшой ишачок, всю ночь кряхтел в стойле, а утром

затих. Пришли хмурые люди и вынесли куда-то мертвого ишака. А вечером Тедди дали не обычный суп-овсянку, а целый таз вареного пахучего мяса, и в этот день был у него праздник.

Думал он и еще о многом, какие-то образы посещали его, злость и горечь наполняли грудь, хотелось реветь, куда-то пойти и делать что-то свое, звериное, и громко вздыхал он всю ночь, а на другой день бывал особенно вялым и хмурым и неохотно выходил на репетицию.

2

Однажды цирк поехал куда-то далеко по железной дороге. Поехал и Тедди. Он ездил так много на своем веку, что уже ничему не удивлялся и не любил только запах бензина, которым пахли автомашины.

Все происходило так же, как и всегда. На станции клетки со зверями закатывали в вагоны, кричали, ругались, что-то приколачивали, вообще производили много шума. Наконец двери захлопнули, и скоро все равномерно задрожало и закачалось, и сильно захотелось спать. Дрожало и качалось два дня, потом стихло. Когда двери открыли и стали выгружать клетки из вагонов и грузить на автомашины, все кругом было другое и пахло иначе, но Тедди не удивился этому.

Решено было накормить зверей, прежде чем везти их дальше. Пришел служитель, вычистил клетки, потом принес еду. Сунув в клетку Тедди немного вареной картошки, хлеб и тазик с овсянкой, служитель отвлекся чем-то и ушел, позабыв запереть клетку.

Медведь, не обращая внимания на открытую дверцу, жадно ел картошку и овсянку и даже слегка похрюкивал — так проголодался. Съев обед и облизываясь, он по привычке стал подталкивать посуду к дверце и тут только заметил, что та не закрыта. Он сильно удивился, высунул голову наружу, посмотрел туда-сюда, зевнул, подался назад и улегся, закрыв глазки. Но через минуту он встал и опять высунулся. Понюхал воздух, поглядел, будто что-то припоминая, подумал, еще высунулся и спрыгнул с машины на землю. На земле он с наслаждением

потянулся и стал с любопытством обходить машину.

К машине в это время подходил шофер. Он держал кепку под мышкой и что-то жевал. Ветер дул от него, Тедди почуял запах колбасы и пошел навстречу. Увидев медведя, шофер перестал жевать и замер. Тедди поднялся на задние лапы и ласково заворчал. Тогда шофер быстро повернулся, уронил кепку и бросился со всех ног к низкому длинному дому с какой-то вывеской над дверью.

— Помогите! Пропадаю! — в ужасе закричал он.

Тедди опустился и на всякий случай подался в сторону. Он даже повернул назад, чтобы залезть обратно в привычную клетку, но тут из дома высыпали люди и закричали на медведя дикими голосами. Тедди обернулся в испуге, ища среди всех этих людей знакомое лицо, но знакомых не было. Тедди стало страшно, и он побежал. Он промчался мимо коновязи. Лошади, увидев его, шарахнулись, заржали. Тедди тоже рявкнул и наддал ходу.

Он пробежал огородом, перемахнул через плетень и помчался полем к далекому лесу. Бежал он быстро, прижав уши, фыркая, испытывая острое, незнакомое удовольствие. Добежав до первых кустов и запыхавшись, он остановился и с испугом посмотрел назад: станции не было видно, не было ни людей, ни машин, только голое поле и темнеющие вдали крыши.

Медведь затосковал, ему захотелось попасть опять в цирк, жить в темном коридоре, слушать по ночам храп вкусно пахнувшего сторожа. Назад идти он боялся и тихонько ворчал, приподнимаясь на задние лапы и раскачиваясь.

Потом он обернулся, посмотрел на лес, несколько раз фыркнул, чтобы прочистить нос, и понюхал. Пахло сладко смолой, грибами, и еще было много будоражащих запахов. Тедди пошел к лесу. Он медленно шел кустами и каждый раз, выйдя на чистое место, оглядывался в надежде увидеть служителя или человека в белых панталонах, которые ласково сказали бы ему: «Тедди!» Но никто не показывался, никто не звал его, было тихо, а из леса все более явственно доносился могучий зов. И Тедди со смешанным чувством страха и любопытства вошел в лес.

3

Тедди не повезло. Он попал в часть леса, обжитую людьми. Здесь расположен был леспромхоз, большие площади были вырублены, то и дело бросались в глаза неприятные в лесу предметы: линия узкоколейки, обрывки тросов, масленые тряпки, изъезженные дороги, гулкие бревенчатые гати. Птиц и зверей почти не было в этом месте, а по ночам были слышны враждебные лесу и тишине звуки: шум моторов, металлические удары, тонкие паровозные гудки.

Тедди было дико и непривычно в лесу, и он поначалу только и думал, как бы встретиться с людьми. Но в то же время что-то мешало ему идти навстречу звукам машин. Все его раздражало, он не ел, почти не спал и сильно отощал. Несколько раз он принимался выделывать свои на всю жизнь заученные фокусы в надежде, что кто-нибудь выйдет к нему и накормит.

Он делал стойку на передних лапах, дрыгал задними в воздухе, будто перекатывал в них шар, и так обходил поляну. Потом он кувыркался через голову, плясал, «умирал» и, оживая, очень довольный собой, оглядывался по сторонам, ожидая подачки. Но никто не радовался, не хвалил его, не появлялся волшебный суп-овсянка, и в маленьких глазках медведя появлялось тоскливое изумление. В конце концов, доведенный до отчаяния непонятностью леса, он пришел бы к людям, но тут произошло событие, которое только утвердило в нем страх перед человеком.

Однажды утром, весь мокрый от росы, Тедди угрюмо брел по дну оврага, выкапывал какие-то травки и ел их. Подняв голову, он внезапно встретился взглядом с человеком, который стоял наверху. Тедди удивился и стал подниматься на задние лапы. Он даже хрюкнул от радости. Но человек не обрадовался и не сказал ничего похожего на «Тедди», как ожидал медведь, — человек побледнел, быстро сорвал с плеча ружье, поднял его, сверкнул огонь, ударил резкий гром, что-то больно хлестнуло Тедди по ушам, он рявкнул, повалился на спину и замахал лапами. Медведь ревел от боли, обиды и удивления, а человек, сделав свое злое дело, бросился бежать, и даже сквозь свой рев Тедди слышал, как

быстро топотали его ноги и как все трещало на его пути.

Еще через минуту Тедди пришел в дикую ярость и бросился напролом за человеком, но тот успел куда-то спрятаться или убежать, и Тедди так и не нашел его. С этого момента он стал бояться людей и еще усиленней начал искать глухих мест.

Но для того чтобы уйти в глушь, в настоящий лес, медведю надо было переплыть реку, а он этого не знал, и положение его становилось все отчаяннее. Несколько раз он выходил к реке, глядел на плывущие по воде бревна, тосковал и снова уходил в лес.

4

Так прошло два дня и две ночи. На третью ночь Тедди вышел опять к реке и остановился пораженный: к берегу был причален большой плот с избушкой на середине. Светила яркая луна, на берегу стояли белые бараки с черными окнами, вокруг не было ни души, и ни звука не было слышно, только между бревнами плота сонно журчала вода. Тедди привстал на задние лапы и повел носом. С плота от избушки невыносимо вкусно пахло ржаным хлебом и картошкой. Тедди облизнулся и закачался на задних лапах. Качаясь, он напряженно размышлял.

Идти туда, откуда пахло, он боялся, так как знал, что там люди, ненавидящие его и ненавистные, в свою очередь, ему. Болевшие уши не давали ему забыть об этом. Но соблазн был так велик, что медведь, походив по берегу и попробовав лапой воду, остановился как раз напротив избушки. Ах, как замечательно пахло!

Плот был подогнан к берегу не впритык, на берег были переброшены в одном месте сходни, но Тедди в нетерпении не обратил на них внимания, сунулся в воду и через мгновение уже взбирался на плот. Неуверенно ступая по бревнам, медведь подошел к избушке и обошел ее кругом. Изнутри доносился громкий храп. Тедди вспомнил циркового сторожа и приободрился. Он заглянул через окно внутрь, но ничего не увидел. Тогда он решительно отворил дверь и, протиснувшись в избушку, сразу

 сглотнул сладкую слюну — так вкусно пахло здесь

портянками, хлебом и картошкой. Хлеб и картошка были на столе. Тедди подошел к столу, свалил с чугунка теплую запотевшую тарелку, опрокинул чугунок и зарычал, сейчас же начиная, торопясь и давясь, глотать хлеб.

— Эй! — окликнул вдруг его человек с нар, перестав храпеть. — Кто это? Ты, Федя?

Медведь присел от испуга, но потом разъярился, рявкнул и ударил лапой по столу. Чугунок и тарелка упали на пол. Тотчас что-то никак не похожее на человека свалилось с нар, на карачках юркнуло в дверь и побежало по плоту к берегу.

Тедди понял, что дело плохо, но продолжал торопливо есть, чавкая, рыча, роняя на пол слюну, зная, что совершает преступление против человека.

Через минуту, когда медведь доедал уже последний хлеб, на берегу послышался сильный шум. Нужно было уходить, но он еще не наелся, еще схватил с полу несколько картошек и потом не сразу попал в дверь. Когда же он вытиснулся из двери, то увидел близко много людей. Заметив медведя, люди разом закричали, как тогда на станции, а Тедди растерянно остановился: путь к берегу был ему отрезан.

Он сунулся было наискосок, надеясь проскочить краем плота, но наперерез ему блеснул длинный огонь и бахнул выстрел. Медведь испугался и завернул назад, вокруг избушки. Люди бежали за ним, окружая его полукольцом и прижимая к краю плота. Опять бахнуло сзади, ширкнуло по бревнам и отскочившей корой стегануло медведя по животу. Он рявкнул, прыгнул вперед и плюхнулся в воду, подняв столб серебристых в лунном свете брызг. Он никогда в жизни не плавал, окунулся с головой и, вынырнув, не знал сперва, что делать, но лапы его сами собой задвигались, он зашлепал ими что есть силы, вытягивая нос кверху, к звездам. Вода мягко сносила его на низ, люди остались на плоту и долго еще кричали, а медведь все сильнее двигал лапами, чихал, пыхтел и поднимал нос кверху.

Проплыв около получаса по теплой серебристой воде, он увидел вблизи лес — сплошной и черный. Это был уже не тот лес, из которого медведь недавно вышел. Это был лес без просек и вырубок и без человеческого жилья.

Почуяв дно под собою, Тедди тяжело выбрался на берег и остановился. Вода текла с его шубы

ручьями. Оглянувшись, он увидел далеко наверху слабые огоньки и что-то еле белеющее в темноте и понял, что там остались люди, и бараки, и плот, и еще понял, что на том берегу было опасно и шумно, а здесь тихо и хорошо. Вспомнив выстрелы и оставшуюся в избушке на полу картошку, он поворчал немного, потом встряхнулся несколько раз и полез по крутому обрыву навстречу огромным неподвижным соснам и елям.

5

Это был громадный лес, тянувшийся на десятки верст вверх и вниз по реке. Мало того, он уходил на восток до Уральского хребта и на север — до самой тундры. Лес взбирался на холмы, расступался иногда озерами или полями, на которых виднелись редкие деревни с двухэтажными избами. Это была глухая сторона, мало посещаемая людьми, и здесь-то и было настоящее раздолье для всякого зверя и птицы.

Много тут было волков и лисиц, белок и зайцев, водились тут лоси и рыси с загадочным взглядом желтых глаз. Здесь попадались совершенно глухие места, где и пройти-то было невозможно, где свалившиеся деревья так и оставались лежать годами, догнивая и оседая постепенно к земле.

Случались здесь пожары, возникавшие от неизвестных причин, как бы сами собой. Огонь бушевал тогда на огромных пространствах, пожирая лес и траву, и тысячами гибли в нем звери. Огонь проходил косяками и затихал постепенно, тоже как бы сам собой, оставляя после себя черные уголья, и пепел, и редкие обгорелые стволы.

Скоро на гари начинала расти буйная красная жесткая трава, потом появлялись черника и брусника на кочках и молодые березки и сосенки. По краям показывались заросли шиповника и малины, и гарь уже не казалась диким и страшным для зверя местом, а становилась неисчерпаемой кладовой, в которой кормились сумрачные глухари, робкие рябчики, тетерева и зайцы. Лоси тоже приходили сюда и оставляли глубокие ямки следов в мягком беловатом мху.

 Жизнь кипела в лесу, не омраченная прише-

ствием человека. Правда, и здесь шла вечная борьба, здесь царил закон клыка и когтя, и как много костей и перьев догнивало по укромным местам этого прекрасного края! Но опасная борьба здесь не была вовсе безнадежной, как с человеком.

Редко-редко раздавался в лесах этих выстрел, а когда раздавался, то долго и звонко раскатывался по холмам, вылетал на реку, отдавался от другого берега и возвращался уже послабевшим и протяжным. Белки роняли тогда шишки и взлетали на верхушку дерева, чтобы оглянуться с безмерным любопытством; зайцы на лежках вставали столбиками; лоси, наставив уши, минуту слушали и беззвучно передвигались на другое место; рыси, дремлющие в чащобах, приоткрывали дремучие желтые глаза и нервно потряхивали кисточками на ушах; и только волки, лучше всех знакомые с человеком, бросали все, серыми тенями взбегали на ближний бугор и долго нюхали, стараясь и боясь одновременно поймать с ветерком ненавистный запах человека.

6

Всю ночь шел Тедди на север, держась берега реки, как моряк держится компаса. Углубляться в лес он боялся, лес был полон неизвестности, тогда как река была знакома, она уже выручила его раз, и он ей доверял. Со всех сторон подступали к нему звуки и запахи, в которых он должен был разобраться. Некоторые из них были ему хорошо знакомы. Два раза его путь пересекал след рыси, и он сразу вспомнил рысь из цирка, хоть та пахла резче: звери в неволе всегда пахнут сильнее. Потом он вспугнул рябчиков, которые ночевали на низком суку большой елки, и сам сначала испугался, но быстро успокоился, поняв, что это всего-навсего птицы. Следы лисицы он тоже сразу узнал.

Но в конце концов обилие новых впечатлений, заставлявших все время держаться настороже, так утомило медведя, что он выбрал сухое место в небольшом ложке, защищенном со всех сторон порослью елочек, лег и задремал до утра.

Странно, но этот большой зверь был совершенно

беспомощным теперь в лесу. За долгие годы он отвык от леса и все перезабыл из того немногого, что успел узнать в детстве. Все инстинкты, которыми его наделила природа, уснули, и он терялся от самых незначительных причин, требующих какого-нибудь действия. Ему все время хотелось есть, желудок, привыкший к обильной, сытной пище, был теперь пуст и страдал. Но служителя, который ежедневно кормил его в цирке, здесь не было, приходилось самому искать еду, а он не знал, как это делается, не знал, что можно есть.

Пожалуй, никто так не чувствует и не понимает, как дикие звери, что значит мать. Мать учит детеныша прятаться, драться, убегать, она объясняет ему, кто враг и кто друг. Она знает, где есть черника и муравьи, земляника, вкусные сочные коренья, мышиные норы, рыбы и лягушки. Она знает, где есть свежая вода, глухие места и солнечные поляны с мягкой высокой травой. Ей ведомы тайны запахов и перекочевок. И еще она знает, что ни один зверь в лесу не доживает до глубокой старости, каждого постигает страшная беда, и нужно быть очень ловким, смелым и осторожным, чтобы как можно дольше сохранить себя и оставить после себя потомство.

Если бы рос Тедди не в зоопарке, а потом в цирке, среди людей; если бы учителем жизни была для него медведица, свирепая ко всему, но бесконечно добрая к нему, маленькому медвежонку, — он сейчас был бы могучим зверем и знал все, что нужно и возможно знать дикому зверю. Но Тедди учился жизни у человека в белых панталонах, и неукротимый звериный дух его был задавлен еще с детства. Он успел узнать много вещей, которые недоступны и страшны жителю леса. В городе он был, несомненно, опытнее, умнее любого своего сородича, но что стоили все его знания в мире, куда он теперь попал! В лесу он превратился опять в беспомощного, жалкого детеныша, ничего не знающего, боящегося всего на свете. Вся разница была в том только, что он был теперь не крошечным медвежонком, а крупным медведем с желтыми клыками и вытертым клеткой задом и что не было теперь с ним доброй и умной матери, которая могла бы его защитить и многому научить.

7

Тедди разбудили птицы. Маленькие, они едва слышно перепархивали в мокрых от росы ветвях. Далеко на востоке за холмами вставало солнце. Между соснами висел прозрачный туман, сверкала роса, воздух был свеж и чист, и Тедди, выйдя из своего ночного пристанища, заковылял дальше на север. У него от непривычки к лесным скитаниям уже второй день побаливали лапы, но он упрямо шел вперед, так как что-то еще не нравилось ему тут. Он не думал ни о чем, стремясь на север, как не думают птицы, сбиваясь в стаи перед отлетом. Инстинкт, коренившийся в нем, вел его в небывалую страну, где должно быть много солнца, много пищи, чистой воды и тишины.

В полдень медведь переходил солнечную поляну, когда ноздрей его коснулся необыкновенный запах, всколыхнувший в душе его целый рой воспоминаний. Но где же источник этого милого, сладкого запаха? Тедди повернул на восток, прошел немного — запах исчез! Он вернулся, обеспокоенный, взволнованный, назад — опять маняще запахло! Тогда Тедди стал кружить, и ему понадобилось порядочное время, чтобы отыскать муравейник. Запах, который он поймал, был запахом муравьев, и он сразу его узнал, хотя не слышал столько лет.

Какая прелесть эти муравьи! Есть ли что-нибудь вкуснее их! Жирные, кислые, щекочущие, вызывающие сразу жажду и аппетит и тут же утоляющие их — есть их можно бесконечно!

Тедди сунул нос в муравейник и даже хрюкнул от наслаждения — так крепок был вблизи этот чудесный запах. Еще глубже зарылся он носом и зачавкал, прижмурившись, высовывая и убирая мокрый язык. Крупные рыжие муравьи мгновенно злым покровом облепили его морду, полезли в уши, но Тедди только мотал головой, поджимал хвост и еще усиленней чавкал. Наконец ему стало невмоготу, и он сел на задние лапы, чтобы перевести дух. В ту же минуту он вспомнил что-то давно забытое и стал разрывать муравейник лапой. Сейчас же муравьи облепили лапу, и ему оставалось только слизывать их. Это было несравненно удобнее — муравьи больше не лезли в нос и уши, в пасть не попадала земля

и хвоя, и Тедди отошел только тогда, когда от муравейника не осталось ничего.

Разорив муравейник, Тедди двинулся дальше, перевалил через широкий холм, поросший сухим еловым лесом с голыми вершинами, прошел оврагом, наткнулся на малинник и не вышел уже из него до самого вечера.

Поначалу Тедди пугали взлеты рябчиков и глухарей, плеск рыбы в маленьких озерах, шум леса, треск проходящих мимо лосей. Его пугали незнакомые странные запахи, резкие и чуть слышные. Но он, побеждая страх, без конца исследовал все звуки и запахи, чтобы, встретив их в другой раз, уже идти им навстречу, или уходить, или вообще не обращать внимания.

В его теперешней жизни было одно счастливое обстоятельство, о котором он сначала не догадывался: ему не нужно было никого бояться, кроме человека. Ему не страшны были ни волки, ни рыси, ни крошечные куницы — все те ужасные существа, от которых плохо приходится мелкому зверю и птице. Его никто не трогал, и не нужно было ему ни прятаться, ни убегать, чувствуя за собой легкий и страшный топот погони. Наоборот, его все боялись, так как здесь, в лесу, он, сам того не подозревая, был самым крупным и опасным зверем.

Понял он это значительно позже, когда однажды наткнулся на труп павшего лосенка, который терзали два крупных волка. Увидев волков, медведь растерянно остановился. Волки заворчали злобно и бессильно и сейчас же отошли, уступив место медведю. И все время, пока Тедди наслаждался лосенком, волки кружили рядом, но не осмеливались подойти. Радостное сознание своего могущества пробудилось тогда в нем, и, даже наевшись до отвала, он несколько раз возвращался и каждый раз с удовольствием видел, как при его появлении отскакивали от падали волки.

8

Останавливаясь в одних местах на день, в других — на два, Тедди все дальше продвигался на север. Сосны становились выше и толще; малины, земляники и брусники было больше, деревень —

меньше. Безбрежная дикая красота, нетронутая глушь и тишина простирались вокруг, и, казалось бы, что еще нужно! Но от забытого почти детства у Тедди остались воспоминания настолько неясно-прекрасные, что ему все было не так и не то, — он стремился в какую-то свою страну, в какой-то свой, медвежий рай.

Найдя особенно хорошее, с его точки зрения, место, Тедди начинал свой обход. Он выдергивал старые, трухлявые пни, разорял мышиные и беличьи гнезда, переворачивал заросшие сухим белым мхом камни, искал слизняков и червей.

За две недели Тедди многому научился. Он стал спать всегда головой в ту сторону, откуда пришел; он узнал, что, помимо ягод и кореньев, очень вкусны грибы. Теперь Тедди не жевал без разбора все, что попадет, как в первые дни; он узнал, что самые сочные коренья растут в сырых местах; он стал пить только чистую, проточную воду и научился пользоваться ветром; чутье его стало лучше, и Тедди уже мог ощущать очень тонкие или старые запахи; и он узнал еще на горьком опыте, что не все в лесу съедобно, что есть ягоды и грибы, которых лучше не трогать.

Он окреп, стал меньше уставать, и подошвы лап, так болевшие в первые дни, теперь загрубели, а когти, которые подрезали в цирке, отросли. Ходить он стал тихо, почти неслышно. Только увлекаясь, начинал ломать все, что попадалось на пути, и тогда треск шел по всему лесу.

Сперва Тедди спал больше ночью, как привык в цирке. Но потом заметил, что ночью жизнь в лесу куда более интересна, чем днем. Следы бродивших ночью куниц, зайцев, лисиц были свежее, что-то шевелилось в траве, возилось в кустах, кто-то перебегал по оврагам и полянам, странные крики рождались в тишине... Кроме того, ночью исчезали все мухи и слепни, которые так досаждали Тедди днем. И он все чаще стал бродить ночью, а днем спать в тайных местах.

9

Однажды Тедди набрел на небольшое овсяное поле в стороне от селений, в лесу, возле старой, заброшенной дороги. Он сразу понял, что это

не просто так растет, а как-то связано с человеком.

Тедди прошел краем поляны. Овсяные метелки слабо щекотали его, и это было приятно. Обойдя поле и не найдя ничего интересного для себя, он ушел, но спустя короткое время вернулся, вошел уже в самый овес, лег там, в этом мягком и светлом под луной островке, и стал хватать метелки пастью. Так он узнал вкус овса, который чем-то напоминал ему почти позабытый суп-овсянку. Сначала с жадностью он ел все подряд — и овес и стебли, потом стал жевать и сосать только метелки и с рассветом ушел, вытоптав в овсе большую плешину.

Ему очень понравился овес, и через день он опять пришел и пировал всю ночь. Он бы пришел еще и на следующую ночь, но отвлекся, попав на небольшое болотце, распугав десятка три лягушек, которых и ловил очень долго, весь перемазался и целое утро потом очищался.

Тедди не знал, что в это утро проезжали по старой дороге люди в телеге, долго осматривали поле, ругались и уехали, а к вечеру снова приехали с топорами и досками, некоторое время, стараясь не стучать громко, мастерили что-то на старой и, видимо, очень удобной для них сосне.

— Как на заказ сделана! — то и дело повторял кто-нибудь из них, и хмурая жестокая улыбка появлялась на их лицах.

Потом люди отошли в сторону, покурили, роняя искры в траву, достали ружья из телеги, и двое полезли на сосну, а третий укатил обратно. Под телегой бренчало ведро, уехавший запел песню, и песня и бренчание ведра долго еще слышались оставшимся.

Луна успела взойти над лесом, когда проснулся Тедди. Он долго молча лежал в совершенной тишине, поворачивая только голову и внюхиваясь. Потом встал, зевнул, потянулся и, вспомнив об овсе, направился к полю своим неторопливым, раскачивающимся шагом. Иногда он останавливался, привлеченный каким-нибудь запахом, совал нос в траву, выдирал сладкий корешок и чавкал — есть тихо он не умел.

Он вышел уже почти к самому полю и мог даже разглядеть сквозь частый осинник белеющую полосу овса с темным пятном посередине — местом, где
 он пировал две ночи. Ему нужно было продвинуться

каких-нибудь десять-пятнадцать шагов, как вдруг он остановился.

Нет, он ничего не услышал и не почуял, но точно какая-то тень мелькнула ему, слабый намек на что-то. Инстинкт предостерег его: что-то здесь изменилось за время, пока его не было.

Тедди повернул направо, обходя лесом поле, не теряя из виду слабо сиявшей полоски овса. Шерсть на хребте у него поднялась дыбом, но он не зарычал по своему обыкновению: что-то говорило ему, что лучше не рычать. Поле было пустынно и все кругом неподвижно. Едва слышный ветерок пришел откуда-то и почти не качнул травы, так он был слаб, но запах овса усилился, и нос Тедди стал сразу еще более мокрым и холодным.

Но Тедди не облизнулся, не раскрыл пасти, он молча проглотил слюну и вышел на светлую дорогу, которую пересекали резкие черные тени от деревьев. Улегшаяся было шерсть на загривке тотчас поднялась: в нос ему ударил слабый, но острый запах дегтя, лошади, табаку и людей. Он остановился и долго нюхал. Наконец он понял, что были люди на лошади, постояли здесь, покурили и уехали. Несколько смелее он прошел еще вдоль дороги, опять перешел ее и очутился теперь с другой стороны поля.

Он уже твердо знал, что люди, бывшие здесь вечером, уехали, но — странно! — чувство опасности не покидало его, и шерсть на загривке не опускалась. Он хотел уйти совсем от места, которое внушало ему такой страх — ибо все неизвестное страшно, — и повернул было в лес, но потом вернулся, сделав небольшой крюк.

У Тедди не было матери, и никто не мог его научить, что нужно немедленно уходить от непонятного. Поэтому, вернувшись, он долго стоял в тени елок, и запах, вкусный, нежный запах овса, заглушая чувство страха, тянул его к себе, убаюкивал, лишал осторожности.

Медведь мало-помалу совсем вышел из тени и потянулся уже к метелкам, но в этот миг что-то щелкнуло звонко и шевельнулось где-то вверху и в стороне. Не успел Тедди ни отпрыгнуть, ни поднять голову, как сверкнула огромная вспышка, грохнул с раскатом страшный в ночной тишине выстрел, что-то жгучее ударило медведя по передней левой лапе, подшибло ее, и Тедди упал.

Еще когда щелкнуло, Тедди уже понял, что попался, что это самый опасный враг его — человек, что нужно бежать, и поэтому, как ни разъярен он был в этот миг, вскочив, бросился в спасительный сумрачный лес. Он бросился и побежал так быстро, как только мог, но, к удивлению своему, на втором прыжке снова упал, а вслед ему сверху, с корявой сосны, прогремели еще два выстрела, пронзительно прожужжало и хрястнуло совсем рядом и даже как бы впереди.

Но не выстрелы и хряск испугали его теперь, а то, что он не мог бежать и упал. Он опять вскочил и прыгнул прочь от овсяного поля, и опять что-то непонятное и страшное случилось с ним, и он сунулся мордой в землю. Тут только понял Тедди, что передней лапы его как бы не существует, она онемела, не двигалась, и на нее нельзя было становиться. Тогда он перенес тяжесть тела на другую лапу и побежал все быстрее, быстрее, с ужасным треском, не разбирая дороги, фыркая от ужаса, колыхаясь на ходу, оступаясь, припадая на грудь, — прочь отсюда!

Он долго бежал, и все ему казалось, что сзади трещит и нагоняет его, и он прибавлял ходу, выбиваясь из сил, и, наконец, когда совсем отчаялся бежать, остановился, и зарычал, и обернулся, чтобы встретить врага. Он прорычал и присел, прижав уши, поджав теперь уже нестерпимо болевшую лапу. Глаза его горели, бока вздымались, вся шерсть на хребте и боках торчала от страха и ярости. За шумом своего дыхания он не слыхал ничего и, чтобы послушать, перестал дышать. Ничего не услыхав и не поверив тишине, подумав, что враг затаился, Тедди опять прорычал, повернулся и стал уходить, все время оглядываясь.

Но никто за ним не гнался, лес притих, испуганный его ревом, и не было слышно ни звука. На ходу Тедди стал лизать лапу. Теплая кровь возбуждала его, боль немного утихла, и он все усердней лизал, находя в этом какое-то странное удовольствие.

И это спасло его. Дождавшись рассвета, охотники с ружьями наготове пошли по кровяному следу и разгадали все: как он мчался, ломая кусты, взрывая когтями землю и брызгая кровью на траву. Они

 догадались также, что он сидел, оборотясь к ним, —

здесь было особенно много крови, трава примялась и слиплась. Но потом следы стали легче, кровь попадалась реже и скоро совсем пропала, и охотники, потеряв след, облазив все ближние овраги, вернулись к себе в деревню ни с чем.

10

А Тедди в это время лежал далеко, в сухом острове мрачного леса, и страдал. Лапа его распухла и болела, и целый день он не мог тронуться с места.

Пришла ночь, но боль в лапе не давала ему заснуть. Кроме того, какая-то новая тревога овладела им, но он ничего не мог поделать и только усиленно внюхивался, стараясь угадать причину этой тревоги. Лес внезапно притих, все затаилось, не слыхать было ни малейшего звука, и эта мертвая тишина все сильнее угнетала и настораживала медведя.

По лесу пронеслось что-то тревожное, и стало душно. Сначала редко, потом все чаще и чаще, опоясывая полгоризонта, заполыхали зарницы. Они вспыхивали беззвучно и таинственно и не видны были из густоты леса, только верхушки сосен освещались бледным призрачным светом. Потом потихоньку очень далеко стал порыкивать гром. Тедди отвечал ему угрюмым ворчанием и беспокойно ворочался под своей елью. Оттого, что кругом стояла такая зловещая тишина и что издали все явственнее, почти беспрерывно доносились громовые раскаты, ему все больше хотелось спрятаться куда-нибудь и притаиться. Но спрятаться было негде, и он только крепче прижимался к дереву.

Гроза чрезвычайно быстро надвинулась, звезды в просветах деревьев задернуло чернотой, тьму разрезали белые молнии, ударяя куда-то в соседние холмы, что-то лопалось и грохотало резко и страшно: «Тах! Агррррбах!» — будто кашляло.

Упал с облаков верхний ветер, вершины сосен и елей ответили ему шипеньем, а внизу было тихо, и ничто не шевелилось. Ветер промчался, и почти сразу же вслед за ним пошел дождь. Это не был обыкновенный дождь, который робко шуршит по листьям и который был знаком Тедди, — этот дождь обрушился на лес сразу, наполнил его гулом падающей воды, и, кроме этого гула, уже не было слышно ни-

чего, только гром часто покрывал все торжествующим ревом.

К утру гроза прошла, и тогда весь лес, пронизанный солнцем, загорелся. Сверкающие капли падали с верхних веток на нижние, оттуда на траву, и все капли выпивала земля, а в лесу все утро стоял живой шорох.

Бедный, бедный Тедди! Измученный болью, страхом перед грозой и людьми, неспавший, мокрый и несчастный, он сидел под старой елью и не мог радоваться солнцу, не мог из-за боли даже подумать о том, чтобы пойти куда-то и поискать себе пищи. Так он лежал, беспомощный, одинокий, день и другую ночь и еще день, пока, наконец, рана не стала немного заживать и свирепый голод не выгнал его из укромного места.

Кое-как ковыляя на трех лапах, хмурый и осторожный, он бродил по холмам, и все кусты, сухие ветки, корни или просто высокая жесткая трава, цеплявшиеся за больную лапу, приводили его в ярость. Но прошло еще несколько дней — медведь начал уже осторожно ступать на нее, и постепенно мрачные мысли покинули его, и он опять повеселел и приободрился.

Но ему пришлось еще раз встретиться с людьми. Он шел своей неторопливой иноходью близ берега реки. Была теплая ночь, и попадалось особенно много малины, но Тедди был раздражен: перед этим он гонялся за одуревшим со сна тетеревом. Тетерев бестолково хлопал крыльями, совался под кусты, ударялся о деревья, падал, и Тедди несколько раз чуть не схватил его, но тетерев все-таки взлетел на березу, и Тедди не смог достать его. Теперь он был зол.

Спустившись в овраг, медведь напился из ручья, поднялся на другую сторону и вдруг почуял запах дыма и услышал человеческие голоса. Потихоньку он пошел на дым и скоро вышел к поляне, на которой ярко горел костер, стояли две палатки и паслись стреноженные лошади. Это была научная экспедиция, но Тедди, конечно, не знал этого и в величайшем изумлении присел, чтобы получше все рассмотреть. Около костра сидели и двигались люди. Они громко разговаривали, смеялись, и от них на деревьях шевелились большие тени.

 Тедди прошел краем поляны, потом подошел

ближе к палаткам и вдруг неожиданно для себя пришел в ярость и зарычал. Тотчас испуганно захрапели лошади и сбились в кучу, а из-за палаток выскочила собака, большими прыжками помчалась к Тедди, но, не добежав шагов десяти, остановилась с разбегу и залаяла злобно и трусливо.

Тедди немного отошел и попытался подойти к палаткам с другой стороны, но опять ему навстречу кинулась собака. Люди у костра вскочили, двое бросились в палатку и выбежали оттуда с ружьями. Как только Тедди заметил красноватые отблески на стволах ружей, он повернулся и бросился наутек. Собака бежала за ним, не отставая, в восторге от победы и от погони. Промчавшись опушкой, Тедди завернул к болоту, потом разъярился и оборотился к собаке. Собака сейчас же замолчала и понеслась во весь дух к палаткам. Тедди хотел пойти и разорить лагерь, но вспомнил о ружьях, подался к реке и занялся поисками пищи.

Уже около двухсот километров прошел медведь к северу, нигде подолгу не задерживаясь. Теперь он не был беспомощным, как в первые дни. Запахи открылись ему, и все реже он удивлялся чему-нибудь, все лучше осваивался со всей массой предметов и явлений, окружавших его.

Так он узнал, что нужно во всех случаях доверять сойкам и сорокам, хоть и считаются они самыми пустыми птицами. Он научился угадывать причину того или иного крика желны, а если замечал издали, что, сидя на верхушке дерева, ворона чистит клюв, а чуть пониже ее, опустив хвост, сидят неподвижные сороки и смотрят вниз, — он немедленно направлялся туда, даже не справляясь с чутьем, так как знал, что там, где есть сытые вороны, всегда найдется чем поживиться. Он не особенно хорошо лазил по деревьям, но, если встречал удобную разлапистую сосну, никогда не пропускал случая взобраться и оглядеть внимательно окрестности с верхушки дерева.

Узнав за короткий срок столько, сколько не узнать ему было за всю жизнь в городе, став сильным и осторожным, он превратился, как это могло показаться со стороны, в настоящего дикого зверя. Но это было не совсем так.

Раз утром, подойдя к ручью напиться, Тедди остановился, как громом пораженный: возле ручья

пахло медведем! Это был старый запах; быть может, дня два прошло с тех пор, как другой побывал здесь. Но этот слабый запах таил в себе такую угрозу, что Тедди, позабыв о жажде, долго осматривался, и шерсть на хребте у него никак не могла опуститься. Выходило, что не он один царствовал в лесах, был другой, и теперь этого другого следовало опасаться. С этого дня для Тедди не стало покоя.

Все чаще начал он натыкаться на разоренные муравейники, обсосанную и поломанную малину, на объеденные брусничные кочки. Когда же, издали поймав запах падали, Тедди приходил на место, то оказывалось, что другой уже побывал здесь и от падали оставил действительно только запах. Теперь в лесу всюду пахло чужим медведем, и запах этот приводил Тедди в бешенство. Злоба его, накапливаясь, стала такой острой и постоянной, что для него скоро сделалось ясно: двоим в этом краю не ужиться, одному нужно уйти. Если бы тут было плохо, Тедди, не задумываясь, ушел бы. Но здесь было так хорошо, так много пищи, что Тедди решил прогнать врага и стал искать встречи с ним. Иногда он встречал свежие следы, чаще натыкался на старые, но увидеть самого медведя никак не удавалось.

Встреча их произошла неожиданно. Тедди выбирал утром место, где бы залечь на весь день, и переходил крошечную полянку между сосен, поросшую сухим белым мхом, когда в нос ему ударил внезапно противный близкий медвежий запах. Подняв голову, Тедди посмотрел по направлению запаха и увидел, наконец, своего врага. Ах, как он покажет сейчас этому наглецу! Как он расправится с ним! Враг его скрылся на мгновение за соснами и вышел на поляну...

Это был такой зверь-громадина, что Тедди замер, как кролик. Только секунду назад, озлобленный, жаждущий схватки, он был диким зверем. Но что значила его дикость по сравнению с дикостью врага! Это был настоящий зверь, косматый, бородатый, с железными когтями, горой мускулов и таким свирепым взглядом, что Тедди, тоже крупный зверь, оцепенел от ужаса.

Медведь стоял, низко опустив голову, и казался от этого горбатым. Он стоял молча и в упор смотрел на Тедди. И еще не было произнесено ни звука, не

 было сделано ни движения, а Тедди уже понял, что

именно он должен покинуть навсегда этот прекрасный край. Разве мог он хотя бы помыслить о соперничестве с этой громадиной!

И то, что понял Тедди, в ту же секунду понял и медведь. Мало того, он понял также, что и Тедди это понял. Нет, он не бросился на Тедди, чтобы убить его, он только негромко зарычал. И рев его был на целую октаву ниже самого низкого рева Тедди. Человеку звериный рев всегда кажется одинаковым, его ухо не способно различить тончайших оттенков в рычании. Тедди же сразу понял, чего хочет медведь. Его рев, негромкий, даже несколько презрительный, означал короткое: «Пошел вон!» Ослушаться этого приказа значило для Тедди упасть через минуту на белый сухой мох с переломленной шеей и разорванной грудью.

И Тедди не издал ни звука в ответ. Он повернулся и быстро пошел прочь. Уже почти скрывшись в лесу, он последний раз оглянулся. Медведь стоял все так же неподвижно и казался горбатым стогом на фоне частых сосновых стволов.

Тедди ушел навсегда из этого обильного края рыжих муравьев и красной брусники, ушел, чтобы не встречаться на дороге бородатому властелину. Он оказался слабейшим в борьбе за жизнь и проиграл, причем с полным основанием мог считать, что хорошо отделался.

11

Листья совсем почти облетели с берез и осин, лежали на земле толстым шуршащим ковром, птицы сбивались в стаи, малина кончилась, пошли обильные грибы и начались первые утренние заморозки, когда Тедди, перевалив через множество холмов и сбившись вправо от большой реки, вдоль ее притока, вышел как-то утром на широкую поляну.

Внизу бежал ручей, тихонько гудели огромные сосны, доцветали последние ромашки, жадно глядящие на бессильное солнце. Берег ручья во многих местах состоял из мягкого золотистого песка со следами пурхавшихся в нем тетеревов. Мелодично и бесконечно динькала вода, и Тедди, остановившийся на поляне, понял вдруг, что нашел землю обетованную и наконец-то пришел в страну своего детства.

Больше его никуда не манило, никуда не хотелось идти, путешествие его было окончено.

Нет, нет, это не была его родина! Но здесь все было точно так, как было давным-давно, когда Тедди еще не имел имени, а был просто маленьким глупым медвежонком, когда он объедался муравьями и земляникой и мать полоскала его в ручье, держа за шиворот, а потом длинным розовым языком крепко растирала его надувшийся живот. То были прекрасные, невыразимо счастливые дни, и сейчас Тедди как бы вновь вернулся туда... Но это было, конечно, не так. Нет, детство затерялось где-то в смутной дымке времени, не вернется, не придет, не вспыхнет солнечным блеском и зеленой травой. Стать бы ему опять маленьким, найти бы ему свою мать, поплакать бы под ее мягким теплым боком! Как жаль, что это невозможно...

Передвигаясь днем и ночью, Тедди постепенно обходил этот край, отмечая для себя границы своих владений. Он исследовал ручьи, болота, овраги, потные луга, опушки и глухие места. Он встречал в изобилии следы волков, лосей, белок, выдры, зайцев. К одним он относился равнодушно, другие раздражали его, и он принимался копать и разбрасывать землю или обдирать кору, чтобы заявить свое право на землю, и лес, и даже на самый воздух.

Глухари и тетерева, взметая сухие листья, с крепким звуком взлетали у него из-под носа, но теперь ничто не удивляло его, и он принимал все как должное и давно знакомое. Он не внюхивался больше с беспокойством и любопытством в след, оставленный каким-нибудь животным. Он просто мимоходом отмечал для себя: «Вот здесь прошли лоси. Их было три», или: «Пробегала лиса. Она очень торопилась и несла в зубах куропатку».

Шуба его приняла оттенок ореха, отросла и стала пушистой и блестящей. Лапа больше не болела, и он теперь пускал ее в ход, когда нужно было вывернуть пенек или перевернуть упавшее тяжелое дерево. Он очень много ходил, подгоняемый страшным аппетитом. Но здесь всего было вдоволь, и он часто испытывал громадное удовольствие, чувствуя себя, как никогда, свободным и сильным.

Великая вещь свобода! Она похожа на солнце, на огромное звездное небо. Она похожа на теплый ровный ветер или на быстро бегущую звонкую воду.

Не нужно никого бояться, не нужно делать того, что не хочется делать!

Можно встать когда хочешь и идти куда глаза глядят!

Можно остановиться и долго провожать взглядом пролетающий над рекой караван гусей; можно подняться на холм, открытый всем ветрам; там слышны все запахи — выбери для себя любой, иди туда, куда он зовет тебя!

Можно забраться в чащу, где так много сухих деревьев, дуплистых и изъеденных червем, и, наслаждаясь своей могучей свободной силой, валить эти деревья — сухие, мертвые, они будут падать с таким жалким треском!

12

Пришел ноябрь — месяц крепких заморозков, и начался осенний гон лосей. Бродя по холмам, Тедди с раздражением прислушивался к их реву. Несколько раз он видел издали лося-великана с большими рогами. Тот, потеряв всякую осторожность, ходил по мелколесью, взбирался на сухие гривы, храпел и почти безостановочно трубил. Медведю все меньше нравилось это шумное соседство. Тедди, зверь осторожный, иногда забывался и шумел, но постороннего шума терпеть не мог и скоро возненавидел лося, как когда-то возненавидел медведя.

Однажды он наткнулся на свежие следы лосей и тотчас понял, что это давешний великан с лосихами. В этот день Тедди был особенно зол, желание прогнать нахала сразу охватило его, с яростью разбросал он лосиный помет и быстро пустился по следу. Поднявшись на гриву, он потерял след, опять спустился, сделал большой полукруг и снова почуял лосей. Скоро он увидел их. Они кормились в реденьком осиннике, дотягиваясь бархатными губами до самых нежных веток.

Тедди рявкнул и полез к ним. Лосихи шарахнулись и помчались вниз громадными прыжками, а лось-самец неожиданно захрапел и двинулся навстречу медведю. Конечно, в другое время он, не задумываясь, последовал бы за лосихами. Теперь же, после многих побед, весь во власти любовной горячки, он смело пошел навстречу врагу, и они

сошлись на поляне. Тедди сердито заревел. Лось ответил храпом с придыханиями. Вся кожа его дрожала от жажды боя, глаза налились кровью, ноздри трепетали, и легкий парок от дыхания сносило ветерком. Он был в самом расцвете сил, с огромными лопастями рогов, мощной шеей и легким вислым задом.

Тедди, не ожидавший такой встречи, опешил. Он не испугался, он только приостановился, раздумывая, как бы удобнее броситься.

Но лось, по-своему истолковавший эту заминку, вдруг нагнул голову, всхрапнул и кинулся на медведя. Тедди не успел отскочить, и удар сбил его с ног. Тотчас лось поднялся на дыбы, и тут, может быть, и закончилась бы жизнь Тедди, попади ему лось по голове. Но лось не попал в голову, как метил, а попал по плечу. Крепка медвежья кость, выдержала, не сломалась, но где уж теперь драться, только бы живым уйти!

Увидев, что не попал, как хотел, лось опять вскинулся, но Тедди откатился, и лось на этот раз вовсе промахнулся. Тогда лось нагнул голову и ринулся, как в первый раз. Тедди увильнул и отскочил за куст, а лось не мог сразу остановиться. Когда же он повернул за медведем, тот, хромая, что было сил улепетывал вниз.

Победа, небывалая победа досталась красавцу лосю, но ему теперь мало было этого, ему хотелось уничтожить врага или прогнать его далеко. И он помчался следом, легко догнал и еще несколько раз успел ударить на ходу. Потом, будто что-то вспомнив, вдруг остановился и, фыркая, вернулся назад, к лосихам. А несчастный Тедди, весь избитый, забрался в самый густейший бурелом и долго стонал и сопел, переживая позор своего поражения. Недавно его прогнал бородатый медведь, теперь выживает лось... Хуже всего было то, что ему теперь нужно было опасаться вообще всех лосей: раз его побил один лось, значит, так же могли с ним поступить и другие. Жизнь его с этого дня стала несносной. Как назло, следы лосей попадались ему все время. Шел ли он за брусникой, или к муравейнику, или к ручью напиться — встретив следы, он тотчас сворачивал и уходил.

Но безвыходное положение продолжалось недолго. В нем вдруг проснулись все его дикие предки и

свирепо требовали, чтобы он нашел врага и убил его. Он стал кружить по лесу, выслеживая лося, яростно драл когтями землю и деревья, заявляя о своем владычестве, устраивал засады, в которых на долгие часы замирал совершенно неподвижно. Один раз, найдя много свежих лосиных следов у ручья, он залег в кусты и стал ждать.

Он лежал, приникнув к земле, и смотрел между веток на тропу. Всюду толстым слоем лежали сырые желтые листья. Деревья были голые, и густые темные елки особенно явственно выступали в поредевшем полупрозрачном лесу. Утром хватил заморозок, но теперь оттаяло. День был хмурый, холодный.

Во второй половине дня наверху послышались легкий хруст и пофыркивание. Тедди поднял голову и потянул воздух: пахнуло лосями. Уши его прижались, шерсть на загривке поднялась. Он прижался к земле и подобрал под живот задние лапы. Раза два лоси останавливались. Что они делали — прислушивались или срывали ветки какие-нибудь, — этого Тедди не знал, он терпеливо лежал. Наконец из-за кустов показались рога, а потом и сам лось. За ним шли три лосихи. Они остановились, внимательно посмотрели вниз, прядая ушами, потом стали спускаться к водопою: впереди — лось, за ним — лосихи.

Все-таки лось зачуял медведя и сразу стал как вкопанный. Тедди выскочил из засады с глухим ревом. Лось всхрапнул и бросился на медведя. Тот успел отскочить и цапнуть лапой лося за бок. Удар когтистой лапы был, казалось, легким, мимолетным, но кожа на боку была сразу сорвана и показалась кровь. Почуяв запах крови, Тедди озверел. Впервые в жизни захотелось ему рвать живое мясо, услышать предсмертный храп жертвы. Лось между тем повернулся и опять бросился. Медведь был тяжел, но ударом мощных рогов лось отбросил его, как котенка. Тедди покатился, как и в прошлый раз, но теперь на шее лося закровенилась новая рана. Тедди вскочил и издал свой самый великий рев, всколыхнувший все его тело, и прыгнул на лося, норовя наброситься сбоку, так как понял, что рога — такое оружие, против которого он бессилен.

Они продолжали биться, вырывая жухлую мокрую траву и землю, ломая все вокруг себя, но лось явно слабел. Кровь брызгала у него из многих ран,

и на холоде он весь дымился. Наконец Тедди удалось прыгнуть на него сбоку. Он вцепился в мощный загривок, одновременно задними лапами раздирая лосю бок. Затем, держась левой лапой и зубами за загривок и рыча сквозь стиснутые зубы, Тедди с силой ударил правой лося по шее и еще потянул вниз, разрывая позвонки, и лось повалился. Медведь разодрал ему грудь, но и с разорванной грудью и сломанной шеей лось еще пытался подняться и сбросить медведя — так он был силен! Урча и капляя, глотал Тедди кровь мертвого уже врага и не скоро опомнился.

Потом медведь, поминутно рыча, ушел в лес, но вернулся и попытался утащить лося. Тащить было тяжело и неловко, тогда он стал заваливать лося валежником. Закидав кое-как мертвого врага и изрыв вокруг землю, он ушел окончательно. Его никто не учил этому, и прежде он никогда не делал этого, но теперь он знал, что так надо.

Через два дня, уже забыв про лося, Тедди случайно проходил мимо, когда ветер донес до него сладковатый запах. Он тотчас вспомнил все, пришел и наелся.

Еще раньше у лося побывали волки — Тедди узнал это по следам, оставленным ими, и поэтому никуда не ушел, а уснул поблизости.

Целую неделю он приходил к лосю и спал тут же, чувствуя, что теперь он властелин всего, что вокруг, и что его территория так же неприкосновенна, как территория бородатого медведя.

13

Но прошло какое-то время, и в последний раз, как застарелая рана, Тедди охватила тоска по человеку. Сила, еще более могучая, чем инстинкт, погнала его вдруг из леса. И он точно так же, как недавно искал уединения и свободы, теперь стал искать встречи с человеком.

Четыре дня шел он к юго-востоку, пока, наконец, не вышел на открытое место. Перед ним был огромный пологий холм. На холме ярко зеленела озимь, а около опушки, где остановился Тедди, лежал тракт, часто катили автомашины или медленно проезжали на телеге.

Тедди стоял на опушке, приподнявшись на задних лапах, и раскачивался в тоске по человеку. Но ему не просто был нужен человек, а только могучий человек в белых панталонах. Ему нужно было, чтобы тот подошел и почесал ему за ухом и сказал ласково: «Тедди!» — и положил своей крепкой рукой кусок сахару ему в пасть.

И так долго стоял медведь, совсем не прежний Тедди, как бы вновь постигая великий, таинственный смысл жизни и одновременно навсегда уже прощаясь с прошлым. Он не вышел на дорогу к людям и не выкинул ни одной из тех уморительных штук, которым научился в цирке. Он безмолвно тосковал. Потом как будто повернулось что-то в нем, будто свалилась с него последняя тяжесть, последняя нить, связывающая его с людьми, порвалась, и он ушел обратно в лес. Через четыре дня он был снова у себя.

Становилось холоднее с каждым днем. Тедди теперь спал много и ходил редко. По утрам маленькие озера и старицы затягивались звонким ледком. Голод, всегдашний руководитель Тедди, отступил вдруг на задний план, что-то другое все сильнее беспокоило его. В цирке Тедди не давали спать зимой — он должен был выступать. Но здесь он подчинялся лесным законам, законам природы. Он хотел спать. Он все ходил, словно примериваясь, но все казалось ему то неудобно, то открыто.

Однажды ночью выпал снег, и утром было бело, далекие холмы просвечивали, как сквозь дымку, и Тедди еще сильнее захотелось спать. Даже собственные следы на снегу не удивили его.

Раз он устроился под елкой на сухих листьях и проспал три дня, но потом проснулся и снова побрел куда-то, с тоской поглядывая на оживленных, черных на белом снегу ворон.

Наконец он нашел то, что было ему нужно. Это была глубокая яма, засыпанная палым листом и хвоей. Сверху она заросла кустами; кроме того, на нее как раз повалилась спиленная ель. Ель когда-то спилил человек, отпилил себе верхушку, а комель оставил. Хвоя с лап осыпалась в яму, но лапы и без того были так густы, что, когда Тедди забрался под них, он почти не увидел неба. Но ему все было нехорошо. Он опять вылез, стал таскать и наваливать сушняку сверху и только к вечеру залез

внутрь. Там он ворочался долго, никак не мог лечь, чтобы было удобно, наконец, улегся, и ему показалось, что хорошо, и он начал вылизываться.

Понемногу темнело, шел неслышный снег, и, когда совсем стемнело и снег на вершинах сосен потерял свои последние краски, Тедди уснул.

Что снилось ему?

Снился ли цирк и долгая жизнь артиста, разделенная как бы надвое темнотой коридора и ослепительным светом манежа? Снились ли переезды, вагоны, стук колес, запахи угля и бензина, люди, смеющиеся и яростно кричащие, и человек в белых панталонах?

Или снилась новая свободная жизнь, сладкие муравьи, звенящие холодные ручьи, страшная гроза, выстрелы, медведь, прогнавший его, битва с лосем?

Снилось ли ему детство? Прилетали ли к нему в берлогу нежные, зовущие, мудрые запахи леса?

Кто знает!

Он не проснулся ни на другой день, ни на третий... Снег все сыпал, и с каждым днем пушистей становились кусты, непролазней тропы, белее сосны и ели, и только березы оставались голые, и на них подолгу засиживались вечерами тетерева. Ударили лютые морозы, и пошла гулять по лесам настоящая зима!

А сон Тедди становился все глубже, дыхание было все реже, пар уже не клубился над ямой, и скоро заваленную снегом берлогу можно было угадать только случайно, по небольшой отдушине-жерлу и желтоватому инею на сучьях.

арктур — гончий пес

Памяти М. М. Пришвина

1

История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришел весной откуда-то и стал жить. Он никому не надоедал, никому не навязывался и никому не подчинялся — он был свободен.

Говорили, что его бросили проезжавшие весной цыгане. Странные люди цыгане! Ранней весной они трогаются в путь. Одни едут на поездах, другие — на пароходах или плотах, третьи плетутся по дорогам в телегах, неприязненно посматривая на проносящиеся мимо автомашины. Люди с южной кровью, они забираются в самые глухие северные углы. Внезапно становятся табором под городом, несколько дней слоняются по базару, щупают вещи, торгуются, ходят по домам, гадают, ругаются, смеются — смуглые, красивые, с серьгами в ушах, в ярких одеждах. Но вот уходят они из города, исчезают так же внезапно, как и появились, и уже никогда не увидеть их здесь. Придут другие, но этих не будет. Мир широк, а они не любят приходить в места, где уже раз побывали.

Итак, многие были убеждены, что его бросили весной цыгане.

Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Он стоял, черный, среди бело-голубого крошева, один неподвижный среди общего движения. А наверху летели лебеди и кричали: «клинк-кланк!»

Люди всегда с волнением ждут лебедей. И когда они прилетают, когда на рассвете поднимаются с разливов со своим великим весенним кличем «клинк-кланк!» — люди провожают их глазами, кровь начинает звенеть у них в сердце, и они знают тогда, что пришла весна.

Шурша и глухо лопаясь, шел по реке лед, кричали лебеди, а он стоял на льдине, поджав хвост,

настороженный, неуверенный, внюхиваясь и вслушиваясь в то, что делалось кругом. Когда льдина подошла к берегу, он заволновался, неловко прыгнул, попал в воду, но быстро выбрался на берег и, отряхнувшись, скрылся среди штабелей леса.

Так или иначе, но, появившись весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручьев и запахом коры, он остался жить в городе.

О его прошлом можно только догадываться. Наверное, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе. Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, со вздувшимся животом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело в тайне. Ее звали, она не откликалась и ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно совершиться то, что важнее всего на свете, важнее даже охоты и людей, — ее властелинов и богов.

Он родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью и положен поближе к теплому животу, еще напряженному от родовых схваток. И пока он лежал, привыкая дышать, у него все прибавлялись братья и сестры. Они шевелились, кряхтели и пробовали скулить — такие же, как и он, дымчатые щенки с голыми животами и короткими дрожащими хвостиками. Скоро все кончилось, все нашли по соску и затихли, — раздавалось только сопенье, чмоканье и тяжелое дыхание матери. Так началась их жизнь.

В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть света. Он был слеп, бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки. Для него настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту. Но он не знал того, что слеп, ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему.

Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному, ненужному людям щенку. Он остался жить и претерпел великие мытарства, кото-

рые раньше времени закалили и ожесточили его тело и душу.

У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нем, как о своем друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым, — мать, выкормив его, скоро потеряла к нему, как и к его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, часто болел, рылся на свалках возле столовых, получал пинки и ушаты грязной воды наравне с другими такими же бездомными и голодными собаками.

Он не мог быстро бегать, ноги, его крепкие ноги, в сущности, не были ему нужны. Все время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жестокому. Когда он дрался с другими собаками — а дрался он множество раз на своем веку, — он не видел своих врагов, он кусал и бросался на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов и часто бросался и кусал впустую.

Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении, — ведь мать, даже и собака, всегда знает своих детей по именам. Для людей он не имел имени... Неизвестно также, остался бы он жить в городе, ушел бы или сдох где-нибудь в овраге, молясь в тоске своему собачьему богу. Но в судьбу его вмешался человек, и все переменилось.

2

В то лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкоскулые карбасы, с запачканными черной смолой бортами. У берега стояла пристань, пахнувшая рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой. На пристани этой редко кто сходил, разве только пригородные колхозники в базарный день да унылые командировочные в серых плащах, приезжавшие из области на лесозавод.

Вокруг города по низким пологим холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые: лес для сплава рубили в верховьях реки. В лесах попадались большие луговины и глухие озера с огромными старыми

соснами по берегам. Сосны все время тихонько шумели. Когда же с Ледовитого океана задувал прохладный влажный ветер, нагоняя тучи, сосны грозно гудели и роняли шишки, которые стукались о землю.

Я снял комнату на окраине, на верху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятый, молчаливый человек. Раньше он жил с большой семьей. Но двух сыновей его убили на фронте, жена умерла, дочь уехала в Москву, доктор жил теперь один и лечил детей. Была у него одна странность: он любил петь. Тончайшим фальцетом он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Внизу у него были три комнаты, но он редко заходил туда, обедал и спал на террасе, а в комнатах было сумрачно, пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Окно моей комнаты выходило в одичавший сад, заросший смородиной, малиной, лопухом и крапивой вдоль забора. По утрам за окном возились воробьи, тучами налетали дрозды клевать смородину, доктор не гонял их и ягоду не собирал. На забор иногда взлетали соседские куры с петухом. Петух громогласно пел, вытягивая кверху шею, дрожал хвостом и с любопытством смотрел в сад. Наконец он не выдерживал, слетал вниз, за ним слетали куры и поспешно начинали рыться возле смородиновых кустов. Еще в сад забредали коты и, затаясь возле лопухов, следили за воробьями.

Я жил в городе уже недели две, но все никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуарами, с прораставшей между досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам.

Это был необычный город. Почти все лето стояли в нем белые ночи. Набережная и улицы его были негромки и задумчивы. По ночам возле домов раздавался отчетливый дробный стук — это шли редкие рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюбленных всю ночь слышались спящим. Казалось, что у домов чуткие стены и что город, притаившись, вслушивается в шаги своих обитателей.

Ночью наш сад пах смородиной и росой, с террасы доносился тихий храп доктора. А на реке бубнил мотором катер и пел гнусавым голосом: ду-дуу...

Однажды в доме появился еще один обитатель.

Вот как это произошло. Возвращаясь как-то с дежурства, доктор увидел слепого пса. С обрывком веревки на шее он сидел, забившись между бревен, и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взялся за веревку и потащил слепого к себе домой.

Дома доктор вымыл его теплой водой с мылом и накормил. По привычке пес вздрагивал и поджимался во время еды. Ел он жадно, спешил и давился. Лоб и уши его были покрыты побелевшими рубцами.

— Ну, теперь ступай! — сказал доктор, когда пес наелся, и подтолкнул его с террасы.

Пес уперся и задрожал.

— Гм... — произнес доктор и сел в качалку.

Наступал вечер, небо потемнело, но не гасло совсем. Загорелись самые крупные звезды. Гончий пес улегся на террасе и задремал. Он был худ, ребра выпирали, спина была острой, и лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои мертвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом снова клал морду на лапы и закрывал глаза.

А доктор растерянно рассматривал его, ерзал в качалке и придумывал ему имя. Как его назвать? Или лучше избавиться от него, пока не поздно? На что ему собака! Доктор задумчиво поднял глаза: низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда.

— Арктур... — пробормотал доктор.

Пес шевельнул ушами и открыл глаза.

— Арктур! — снова сказал доктор с забившимся сердцем.

Пес поднял голову и неуверенно замотал хвостом.

— Арктур! Иди сюда, Арктур! — уже уверенно, властно и радостно позвал доктор.

Пес встал, подошел и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову. Так для слепого пса исчезло навсегда никем не произнесенное имя, которым назвала его мать, и появилось новое имя, данное ему человеком.

Собаки бывают разные, как и люди. Есть соба-

ки нищие, побирушки, есть свободные и угрюмые бродяги, есть глупо-восторженные брехуны. Есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к любому, кто свистнет им. Извивающиеся, виляющие хвостом, рабски умильные, они бросаются с паническим визгом прочь, если ударить их или даже просто замахнуться.

Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стоиков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично, быть может, больше жизни. Но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться до конца.

У хозяина бывало минутами плохое настроение, иногда он был равнодушным, часто от него раздражающе пахло одеколоном. Но чаще всего он был добр, и тогда Арктур изнывал от любви, шерсть его становилась пушистой, а тело кололо как бы иголками. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Но он сдерживался. Уши его распускались, хвост останавливался, тело обмякало и замирало, только громко и часто колотилось сердце. Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, гладить и смеяться прерывистым воркующим смехом, что это было за наслаждение! Звуки голоса хозяина были тогда протяжными и короткими, булькающими и шепчущими, они были сразу похожи на звон воды и на шелест деревьев и ни на что не похожи. Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды, а Арктуру казалось, что все это уже было с ним, было так давно, что он никак не мог вспомнить, где же и когда. Скорее всего такое же ощущение счастья было у него, когда он слепым щенком сосал свою мать.

3

В скором времени я получил возможность поближе познакомиться с жизнью Арктура и узнал много любопытного.

Мне кажется теперь, что он как-то ощущал свою неполноценность. С виду он был совсем взрослой собакой с крепкими ногами, черной спиной и рыжими

подпалинами на животе и на морде. Он был силен и велик для своего возраста, но во всех движениях его сквозили неуверенность и напряженность. И еще морде его и всему телу была свойственна сконфуженная вопросительность. Он прекрасно знал, что все живые существа, окружающие его, свободнее и стремительнее, чем он. Они быстро и уверенно бегали, легко и твердо ходили, не спотыкаясь и не натыкаясь ни на что. Шаги их по звуку отличались от его шагов. Сам он двигался всегда осторожно, медленно и несколько боком. Часто многочисленные предметы преграждали ему путь. Между тем куры, голуби, собаки и воробьи, кошки и люди и многие другие животные смело взбегали по лестницам, перепрыгивали канавы, сворачивали в переулки, улетали, исчезали в таких местах, о которых он и понятия не имел. Его же уделом были неуверенность и настороженность. Я никогда не видел его идущим или бегущим свободно, спокойно и быстро. Разве только по широкой дороге, по лугу да по террасе нашего дома... Но если животные и люди были еще понятны ему и он, наверное, как-то отождествлял себя с ними, то автомашины, тракторы, мотоциклы и велосипеды были ему совсем непонятны и страшны. Пароходы и катера возбуждали в нем огромное любопытство на первых порах. И, лишь поняв, что ему никогда не разгадать этой тайны, он перестал обращать на них внимание. Точно так же никогда не интересовался он самолетами.

Но если не мог он ничего увидеть, зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил все запахи города и прекрасно ориентировался в нем. Не было случая, чтобы он заблудился и не нашел дорогу домой. Каждая вещь пахла! Запахов было множество, и все они звучали, все они громко заявляли о себе. Каждый предмет пах по-своему — одни неприятно, другие безлично, третьи сладостно. Стоило Арктуру поднять голову и понюхать в ту сторону, откуда тянул ветер, он сразу же ощущал свалки и помойки, дома каменные и деревянные, заборы и сараи, людей, лошадей и птиц так же ясно, как будто видел все это.

Был на берегу реки, за складами, большой серый камень, почти вросший в землю, который Арктур особенно любил обнюхивать. Камень сам по себе пах неинтересно, но в его трещинах и порах надолго

задерживались самые удивительные и неожиданные запахи. Они держались подолгу, иной раз неделями, их мог выдуть только сильный ветер. Каждый раз, пробегая мимо этого камня, Арктур сворачивал к нему и долго занимался обследованием. Он фыркал, приходил в возбуждение, уходил и снова возвращался, чтобы выяснить для себя дополнительную подробность.

И еще он слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи за многие километры вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил: он скрипел, шуршал, потрескивал, вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке. Шевелился толстый слой бревен в запани около лесозавода. Тихо поскрипывали уключины — кто-то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам. Это была жизнь, вовсе неведомая и не слышная нам, но знакомая и понятная ему.

И еще была у него особенность: он никогда не визжал и не скулил, напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему.

Однажды я шел по дороге из города. Вечерело. Было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Вдали по дороге поднималась пыль, слышалось мычание, тонкие протяжные крики, хлопанье кнутов: с лугов гнали стадо.

Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному, напряженному и неуверенному бегу я сразу узнал Арктура. Раньше он никогда не выбирался за пределы города. «Куда это он бежит?» — подумал было я и заметил вдруг в приблизившемся уже стаде необычайное волнение.

Коровы не любят собак. Страх и ненависть к волкам-собакам стали у коров врожденными. И вот, увидев бегущую навстречу темную собаку,

первые ряды сразу остановились. Сейчас же вперед протиснулся приземистый палевый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, пригнул к земле рога и заревел, икая, дергая кожей, выкатывая кровяные белки.

— Гришка! — закричал кто-то сзади. — Бежи скорей вперед, коровы ста-али!

Арктур, ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Испугавшись, я позвал его. С разбегу он пробежал еще несколько шагов и круто осел, поворачиваясь ко мне. В ту же секунду бык захрипел, с необычайной быстротой бросился на Арктура и поддел его рогами. Черный силуэт собаки мелькнул на фоне зари и шлепнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, хрипя и со стуком сшибаясь рогами. Задние напирали вперед, все смешалось, пыль поднялась столбом. С напряжением и болью ожидал я услышать предсмертный визг, но не услышал ни звука.

Тем временем подбежали пастухи, захлопали кнутами, закричали на разные голоса, дорога расчистилась, и я увидел Арктура. Он валялся в пыли и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороге. Потом он зашевелился, поднялся и, шатаясь, заковылял к обочине. Старший пастух заметил его.

— Ах, ссобака! — злорадно закричал он, выругался и очень сильно и ловко стегнул Арктура кнутом. Арктур не взвизгнул, он только вздрогнул, повернул на мгновенье к пастуху слепые глаза, добрался до канавы, оступился и упал.

Бык стоял поперек дороги, взрывал землю и ревел. Пастух стегнул его так же сильно и ловко, после чего бык сразу успокоился. Успокоились и коровы, и стадо не спеша, поднимая пахнущую молоком пыль и оставляя на дороге лепехи, тронулось дальше.

Я подошел к Арктуру. Он был грязен и тяжело дышал, вывалив язык, — ребра ходили под кожей. На боках его были какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отдавленная, дрожала. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним, он не отозвался. Все его существо выражало боль, недоумение и обиду.

Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил.

4

И все-таки Арктур так и остался бы домашним псом и, может быть, разжирел бы потом и обленился, если бы не счастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни возвышенный и героический смысл.

Случилось это так. Я пошел утром в лес посмотреть на прощальные вспышки лета, за которыми, я уже знал, начнется скорое увядание. За мною увязался Арктур. Несколько раз я прогонял его. Он садился в отдалении, немного пережидал и снова бежал за мной. Скоро мне надоело его непонятное упорство, и я перестал обращать на него внимание.

Лес ошеломил Арктура. В городе все ему было знакомо. Там были деревянные тротуары, широкие мостовые, доски на берегу реки, гладкие тропинки. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему все незнакомые предметы: высокая жестковатая уже трава, колючие кусты, гнилые пни, поваленные деревья, упругие молодые елочки, шуршащие опавшие листья. Со всех сторон его что-то трогало, кололо, задевало, будто сговорились прогнать из леса. И потом — запахи, запахи! Сколько их, незнакомых, страшных, слабых и сильных, значения которых он не знал! И Арктур, натыкаясь на все эти пахучие, шелестящие, потрескивающие, колючие предметы, вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был растерян и напуган.

— Ах, Арктур! — тихонько говорил я ему. — Бедный ты пес! Не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце, не знаешь, какие зеленые по утрам деревья и кусты и как сильно блестит роса на траве; не знаешь, что вокруг нас полно цветов: белых, желтых, голубых и красных, и что среди седых елей и желтеющей листвы так нежно краснеют гроздья рябины и ягоды шиповника. Если бы ты видел по ночам луну и звезды, ты, может быть, с удовольствием полаял бы на них. Откуда тебе знать, что

лошади, и собаки, и кошки — все разных цветов, что заборы бывают коричневыми, и зелеными, и просто серыми и как сильно блестят стекла окон при закате, каким огненным морем разливается тогда река! Если бы ты был нормальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник. Ты слушал бы тогда по утрам могучую песнь рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обыкновенные люди. Ты гнал бы тогда зверя, захлебываясь лаем, не помня себя, и этим неистовым бегом по горячему следу ты служил бы своему владыке-охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя. Ах, Арктур, бедный ты пес!

Так потихоньку разговаривая с ним, чтобы ему было не так страшно, я все дальше заходил в лес. Арктур мало-помалу оправлялся и начинал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он, какой восторг охватывал его! Теперь, увлеченный своим важным делом, он уже не прижимался ко мне. Изредка только он останавливался, взглядывая в мою сторону мертвыми белыми глазами, прислушивался, желая удостовериться, правильно ли он поступает, иду ли я за ним. Потом опять принимался кружить по лесу.

Скоро мы вышли на луг и пошли мелочами. Страшное волнение охватило Арктура. Кусая траву, спотыкаясь на кочках, он мелькал среди кустов. Он громко дышал, лез напролом, не обращая больше внимания ни на меня, ни на колючие ветки. Наконец он не выдержал, зажмурился, с треском сунулся в кусты, пропал там, завозился, зафукал... «Кого-то причуял!» — подумал я и остановился.

— Гам! — звонко и неуверенно раздалось в кустах. — Гам, гам!

— Арктур! — в беспокойстве позвал я.

Но в этот момент что-то случилось, Арктур завизжал, завыл и с шумом ринулся в глубь кустов. Вой его быстро перешел в азартный лай, и по вздрагивающим верхушкам кустов мне было видно, как он там продирается. Испугавшись за него, я бросился наперехват, громко окликая его. Но мой крик, видимо, придавал ему только азарта. Спотыкаясь, застревая в густоте, задыхаясь, перебежал я одну поляну, потом другую, спустился в лощину, выбежал на чистое место и сразу увидел Арктура. Он выкатился из кустов и мчался прямо на меня.

Он был неузнаваем, бежал смешно, высоко подпрыгивая, не так, как бегают обыкновенно собаки, но гнал уверенно, азартно, лаял беспрестанно, захлебываясь, срываясь на тонкий щенячий голос.

— Арктур! — крикнул я.

Он сбился с хода, я успел подскочить и схватить его за ошейник. Он рвался, рычал, чуть не укусил меня, глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило успокоить и отвлечь его. Он был сильно помят и поцарапан, держал левое ухо к земле: видимо, он все-таки ударился где-то несколько раз, но так велика была его страсть, так он был возбужден, что и не почувствовал этих ушибов.

5

С этого дня жизнь его пошла другим чередом. С утра он пропадал в лесу, убегал туда один и возвращался иногда к вечеру, иногда на следующий день, каждый раз совершенно измученный, избитый, с налившимися кровью глазами. Он сильно вырос за это время, грудь раздалась, голос окреп, лапы стали сухими и мощными, как стальные пружины.

Как он гонял там один, как не разбивался, этого я не мог понять. Он, наверное, чувствовал все-таки, что в его одиноких охотах чего-то не хватает. Может быть, он ждал одобрения, поддержки со стороны человека, которые так необходимы каждой гончей собаке.

Я ни разу не видел его вернувшимся из лесу сытым. Бег его, бег слепой, неловкой собаки, конечно же, был медлительным и неуверенным. Лес был ему молчаливым врагом, лес бил его, стегал по морде, по глазам, лес бросался ему под ноги, лес останавливал его. Нет, никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы! Только запах, дикий, вечно волнующий, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах, доставался ему, только один след среди тысячи других вел его все вперед и вперед.

Как находил он дорогу домой, очнувшись от бешеного бега, от великих грез? Какое чувство пространства и топографии, какой великий инстинкт нужен был ему, чтобы, очнувшись совершенно обессиленным, разбитым, задохнувшимся, сорвавшим

голос где-нибудь за много километров в глухом лесу с шорохом трав и запахом сырых оврагов, добраться до дому!

Каждой гончей собаке необходимо одобрение человека. Собака гонит зверя и забывает все, но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там, впереди, охваченный такой же страстью, перебегает по лазам ее хозяин-охотник и что, когда придет пора, его выстрел решит все. В такие минуты голос хозяина дичает и заражает собаку. Он тоже лазит по кустам, бегает, хрипло порскает, помогает собаке распутать след. А когда все кончено, хозяин бросает собаке пазанки, смотрит на нее дикими, хмельными, счастливыми глазами, кричит с восторгом: «Но, ты! Мил-лая!» — и треплет за уши.

Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Любовь к хозяину боролась в нем с охотничьей страстью. Несколько раз я видел, как ранним утром Арктур вылезал из-под террасы, где любил спать, побегав по саду, садился под окном доктора и принимался ждать его пробуждения. Так делал он всегда раньше, и если доктор, проснувшись в хорошем настроении, выглядывал в окно и звал: «Арктур!» — что тогда выделывал этот пес! Торжественно он подходил к самому окну, задирал вверх голову с подергивающимся горлом и покачивался, переступая с лапы на лапу. Потом он проникал в дом, там начиналась какая-то возня, слышались счастливые звуки, арии доктора и топот по комнатам.

Он и теперь ждал пробуждения доктора. Но теперь что-то другое сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почесывался, поглядывал вверх, вставал, опять садился и принимался тихонько скулить. Потом начинал бегать возле террасы, делая все большие круги, опять садился под окном, даже коротко взлаивал от нетерпения и, насторожив уши, наклоняя попеременно голову то на одну, то на другую сторону, долго прислушивался. Наконец он вставал, нервно потягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя я видел его далеко в поле, трусящим своей ровной, несколько напряженной и неуверенной рысью. Направлялся он к лесу.

6

Как-то раз я шел с ружьем по высокому берегу узкого озера. Утки в тот год необычайно разжирели, их было много, в низинах часто попадались бекасы, и охота была легкой и радостной.

Выбрав пень поудобней, я присел отдохнуть, и, когда стих набежавший перед тем легкий ветерок и наступил миг чистейшей задумчивой тишины, я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол, и этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в борах, разносился по всему лесу, настраивая все на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться, и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай доносился с противоположного берега озера, из глуши сосновых лесов, был чист, слаб и далек, иногда пропадал совсем, но потом опять упорно возобновлялся, немного уже ближе и громче.

Я сидел на пне, поворачивая голову, посматривал кругом на желтые, засквозившие уже березы, на поседевший мох и далеко видные на нем багряные листья осины, слушал серебряный лай, и мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева на близкой сухой гриве, и березы, и тесные зеленые елки, и озеро внизу и вздрагивает сотканная пауками паутина. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое, и я понял вдруг, что это гонит Арктур.

Так вот когда пришлось мне услышать его! Слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лают несколько собак. Один раз Арктур, видимо, окололся и замолчал. Долгие минуты длилось это молчание, лес сразу стал пустым и мертвым. Я как бы видел, как кружит пес, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может, он ударился о дерево? Может быть, он лежит сейчас с разбитой грудью, не в силах подняться, окровавленный и тоскующий?

Но гон возобновился с новой силой, уже значительно ближе к озеру. Озеро это так расположено, что все тропы, все лазы ведут к нему, ни один не пройдет мимо. Много интересного видел я возле этого озера. Теперь я тоже приготовился и ждал. Скоро на небольшую, бурую от конского щавеля

луговину на другой стороне выскочила лиса. Она была грязно-серой, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась, с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, вслушиваясь в приближавшийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговиной, пошла на опушку, нырнула в овраг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину вылетел и Арктур. Он шел немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос и, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Следом за лисой он слетел в овраг, сунулся в мелколесье, завизжал и завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол.

Как в странном театре, промелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь, исчезли, и я опять остался один с тишиной и далеким лаем собаки.

7

Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. Его видели на далекой реке Лосьве, в полях за лесными холмами, на самых глухих лесных дорогах. О нем говорили в деревнях, на пристанях и перевозе, о нем спорили за кружкой пива сплавщики и рабочие лесозавода.

К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам, они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Арктура, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости, паратости и других охотничьих статях. Они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось пощупать мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и настороженный, что никто не осмеливался протянуть к нему руку. А доктор, краснея и сердясь, в десятый раз уверял, что собака непродажная, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорченные, и на смену им приходили другие.

Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся, татарская

бородка сквозила, на голове был мятый треух, на ногах — сбитые охотничьи сапоги. Увидев меня, старик заморгал, стащил шапку с головы, поскреб голову и посмотрел на небо.

— Погоды-то ныне, погоды... — неопределенно начал он и, крякнув, умолк. Я догадался и спросил:

— Не за собачкой ли пришли?

— Да и как же! — оживился он и надел шапку. — Ведь это что, к примеру, получается? На что доктору собака? Ни к чему она ему, а мне — вот как нужна собачка! Скоро охоты и все такое... У меня, слышь, у самого есть гончак, да плох: дурак, след не держит и голосу никакого. А ведь это что! Сляпой-то, а? Ведь это уму непостижимо, как выганивает! Царская собака, вот те крест святой!

Он повздыхал, высморкался и ушел в дом, а через пять минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал. Потом нахмурился.

— Что ж, отказали вам? — спросил я, заранее зная ответ.

— И не говори! — огорченно воскликнул он. — Ну что ты скажешь! Я с малолетства охотник — во, вишь, глаз потерял? — и сыновья у меня тоже, и все такое. Нам, слышь, для дела собачка нужна, для де-ела! Нет, не дает... Пятьдесят рублей сулил — цена-то какова, а? — и не подходь, не дает! Чуть не заревил, а? Это мне ревить надо! Охоты подходят, собаки нет!

Он растерянно оглядел сад, забор, и вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. Он сразу стал спокойнее.

— Она где же помещается у вас? — как бы невзначай поинтересовался он и замигал глазом.

— Уж не украсть ли собачку хотите? — спросил я.

Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливо глянул на меня.

— Прости господи! — сказал он и засмеялся. — Ведь так с вами и до греха дойдешь. А ты думал! Ну на что ему собака? Скажи ты вот!

Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня.

— А голос-то, го-олос! Понимаешь ты голос? Чистый ключ, я тебе говорю!

Потом вернулся, подошел ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома.

— Погоди, собачка-то моя будет. На что ему собака? Человек он умственный, не охотник... Продаст он мне ее, святой крест, продаст. До покрова-то далеко, чего-нибудь придумаем. А ты говоришь... Эх!

Едва старик ушел, в сад быстро вышел доктор.

— Что он тут вам говорил? — волновался он. — Ах, какой противный старикашка! Какой у него глаз, вы заметили? Прямо разбойничий! И откуда он узнал о собаке?

Доктор нервно потирал руки, шея у него покраснела, седая прядка свалилась на лоб. Арктур, услыхав голос хозяина, выполз из-под террасы и, прихрамывая, подошел к нам.

— Арктур! — сказал доктор. — Ты ведь мне никогда не изменишь?

Арктур закрыл глаза и ткнулся носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Голову его тянуло книзу, он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Арктура за уши. Он не знал, что гончий пес уже изменил ему, изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес.

8

Как было бы хорошо, если бы все прекрасные истории имели счастливый конец! И разве не заслуживает герой, хотя бы только гончий пес, долгой радостной жизни? Никто на земле не рождается бесцельно, и гончий пес рождается, чтобы гнать зверя-врага, гнать за то, что тот не пришел к человеку и не стал ему другом, как пришла когда-то собака, а остался на все времена диким. Слепой пес — не слепой человек, ему никто не поможет, он одинок в темноте, он бессилен и обречен самой природой, всегда жестокой к слабым, и если он все-таки страстно служит своему главному предназначению, если он живет, что может быть лучше, выше этого! Но такой жизнью Арктуру мало пришлось пожить...

Август подошел к концу, погода испортилась, и я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он

ушел в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни еще через день.

Когда друг, который жил с тобой, которого видел каждый день и к которому часто даже невнимательно относился, когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания.

И я вспомнил все дни, проведенные с Арктуром вместе, его неуверенность, смущение, его неловкий, несколько боком, бег, его голос, привычки, милые пустяки, его влюбленность в хозяина, даже запах его, запах чистой здоровой собаки... Я вспоминал все это и жалел, что это был не мой пес, что не я дал ему имя, что не меня он любил и не к моему дому возвращался в темноте, очнувшись от погони за много верст.

Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока, наконец, не нашли. Но старик клялся и божился, что Арктура в глаза не видал, и вызвался искать его вместе с нами.

Весть о пропаже Арктура мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают его и любят и что все готовы помочь доктору в поисках. Все были заняты самыми разноречивыми толками и слухами. Кто-то видел собаку, похожую на Арктура, другой слыхал в лесу его лай...

Ребята, те, которых доктор лечил, и те, которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки, стреляли и по десять раз в день наведывались к доктору узнать, не пришел ли, не нашелся ли чудесный гончий пес.

Я не искал Арктура. Мне как-то не верилось, чтобы он мог заблудиться, для этого у него было слишком хорошее чутье. И он слишком любил своего хозяина, чтобы пристать к какому-нибудь охотнику. Он, конечно, погиб... Но как, где? — этого я не знал. Мало ли где можно найти свою смерть!

А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскучнел и вечерами долго не спал. В доме без Арктура стало пусто и тихо, коты уже никого не боялись и свободно разгуливали в саду, камень возле реки никто не обнюхивал больше. Бесполезный, он уныло торчал над землей и чернел от дождей, запахи его никому не были нужны.

В день отъезда моего мы долго говорили с доктором о разных разностях. Об Арктуре мы старались не вспоминать. Один раз только пожалел, что смолоду не стал охотником.

9

Года через два я опять попал в те места и снова поселился у доктора. Он по-прежнему жил один. Никто не стучал когтями по полу, не фукал носом и не молотил хвостом по плетеной мебели. Дом молчал, и в комнатах так же пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Но была весна, и пустой дом не производил тягостного впечатления. В саду лопались почки, орали воробьи, в роще городского сада с гомоном устраивались грачи, доктор распевал фальцетом свои арии. По утрам над городом стоял синий пар, река разлилась куда хватал глаз, на разливах отдыхали лебеди и утром поднимались со своим вечным «клинк-кланк», гнусаво сигналили яркие катера и протяжно гудели упорные буксиры. Было весело!

На другой день по приезде я пошел на тягу. В лесу стоял золотистый туман, кругом капало, звенело, булькало. Земля оголилась, сильно и резко пахла, и сколько было других запахов — осиновой коры, гниющего дерева, сырого листа, — всех их перебил сильный и резкий запах земли.

Был прекрасный вечер с огненным морем заката, и вальдшнепы летели густо. Я убил четырех и еле отыскал их на темном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло и высыпали первые звезды, я тихо пошел домой по знакомой неезженой дороге, обходя широкие разливы, в которых отражались небо, и голые березы, и звезды.

Обходя один из таких разливов по небольшой гривке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега, но, подойдя ближе, увидел лежавшие вразброс немногие кости собаки. Сердце мое глухо застучало, я стал всматриваться, увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой... Да, это были останки Арктура.

Разобравшись внимательно во всем, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У нестарой еще, но сухой елки был отдельный нижний сук. Он,

как и все дерево, высыхал, осыпался и обламывался, пока, наконец, не превратился в голую острую палку. На эту палку и наткнулся Арктур, когда мчался по горячему пахучему следу, и не помнил уже, не знал ничего, кроме этого зовущего все вперед, все вперед следа.

В полной темноте я пошел дальше, вышел на опушку, а оттуда, чавкая ногами по мокрой земле, и на дорогу, но мыслью все возвращался туда, на маленькую гривку с сухой обломанной елью.

У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имен не встретишь среди охотничьих собак! Есть тут Дианы и Антеи, Фебы и Нероны, Венеры и Ромулы... Но, наверное, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнущей голубой звезды!

Юрий Казаков и его рассказы

1

Еще десять лет назад имя Юрия Казакова было известно немногим. Его первые рассказы появились в печати в 1956 году, первая книга, «Манька», издана в Архангельске двумя годами позже. Литературный дебют Казакова совпал с полосой глубоких перемен, укрепивших в советской литературе то общественное и эстетическое качество, которое свойственно ей сегодня. Это обстоятельство решающим образом повлияло на весь склад его прозы. Рассказы Казакова заключают в себе откровенно полемический заряд против литературной идеализации жизни, упрощения человека, облегченного истолкования действительных сложностей и противоречий современного бытия. Это качество не является исключительным достоянием одного только Юрия Казакова. В той или иной мере оно характерно для творчества самых разных писателей — всех, кто активно поддержал общее стремление к критическому пересмотру отживших канонов и представлений, мешающих нашему искусству двигаться вперед.

Такие прозаики, как Ю. Казаков, В. Шукшин, П. Проскурин, В. Белов, В. Богомолов, В. Максимов, В. Конецкий, В. Аксенов, Г. Владимов и др., хотя и выступили с первыми книгами в разные годы, в общем принадлежат (при всей своей разнородности) к единой писательской генерации.

В решении общих проблем, возникших перед советской литературой последнего десятилетия, Юрий Казаков пошел своим путем. Сборники его рассказов «На полустанке» (1959), «По дороге» (1961), «Легкая жизнь» (1963), «Запах хлеба» (1965) вполне отчетливо обозначили общее направление этого пути. Писатель нового поколения, Юрий Казаков, может быть, наиболее откровенно из всех своих сверстников выразил потребность вернуть нашей прозе те ее качества, которые в прошлом уже были утверждены русскими классиками как национальное достояние родной литературы.

От «Записок охотника» Тургенева через весь девятнадцатый век к двадцатому идет большая традиция русского рассказа, в которой были свои могучие ветви, свои эпохи, связанные с именами Лескова и Глеба Успенского, Чехова и Короленко, Горького и Бунина. Национальный тип русского рассказа вырабатывался усилиями многих оригинальных и самобытных художников.

В своей недавней статье «О Бунине» А. Твардовский дал блистательную характеристику своеобразного жанра, созданного крупнейшими русскими рассказчиками.

«Бесспорная и непреходящая художническая заслуга И. А. Бунина, — пишет Твардовский, — прежде всего в развитии им и доведении до высокого совершенства чисто русского и получившего всемирное признание жанра рассказа или небольшой повести той свободной и необычайно емкой композиции, которая избегает строгой оконтуренности сюжетом, возникает как бы непосредственно из наблюденного художником жизненного явления или характера и чаще всего не имеет «замкнутой» концовки, ставящей точку за полным разрешением поднятого вопроса или проблемы. Возникнув из живой жизни, конечно, преображенной и обобщенной творческой мыслью художника, эти произведения русской прозы в своих концовках стремятся как бы сомкнуться с той же действительностью, откуда вышли, и раствориться в ней, оставляя читателю широкий простор для мысленного продолжения их, для додумывания, «доследования» затронутых в них человеческих судеб, идей и вопросов. Может быть, зарождение этого жанра прослеживается и из большей глубины по времени, но ближайшим классическим образцом его являются, конечно, «Записки охотника».

За большой художественной традицией всегда стоит целый национальный мир, своеобразный и неповторимый. Традиция рассказа, созданная русской классикой, имеет своими корнями столь глубокие свойства нации, ее язык, характер, тип мышления, что всякое дальнейшее развитие этого жанра в нашей прозе возможно лишь на прочной национальной основе, постоянно расширяющейся вместе с новым историческим опытом.

Нередко можно слышать мнение, что в прозе современных молодых писателей (в отличие от мастеров старшего поколения) во многом утрачены характерные признаки национального своеобразия. Это мнение едва ли справедливо. Оно не учитывает наиболее значительных

явлений русской прозы последнего десятилетия, возвышающихся над модой дня. Произведения Юрия Казакова, несомненно, относятся к их числу. В первых же его рассказах видна школа, которую он проходил в общении с русской классикой — от Тургенева до Пришвина. Эта школа чувствуется в благородной красоте и живописности русского языка, точности стилистического приема, развитом чувстве художественной меры, особенно важном для рассказчика.

Вполне очевидная связь рассказов Юрия Казакова с мотивами и стилистикой старых мастеров послужила поводом для многочисленных упреков в «традиционализме», подражательности и даже «слепом эпигонстве». Слов нет, чрезмерная податливость чужому стилю, стихийное, безотчетное усвоение поэтических формул, уже раскрытых и разработанных предшественниками, осложняет формирование собственного, самобытного отношения к жизни. Но традиционность отнюдь не всегда равнозначна эпигонству. В искусстве нередко через традиционные формы возвращается утраченное. В этом случае можно говорить о новизне особого рода, новизне *восстановления* ценностей, исторически не исчерпавших себя.

Известная традиционность прозы Юрия Казакова, как и некоторых других вполне сегодняшних по своему духу писателей, идет именно отсюда. Кстати, литературные связи Казакова гораздо более современны, чем это принято считать. Кроме Пришвина и Бунина, вообще сохраняющих немалое влияние (пусть избирательное) на русскую прозу наших дней, Юрий Казаков многим обязан Андрею Платонову, Константину Паустовскому, северному художнику слова С. Писахову, о котором он отзывался в печати с большой любовью.

Когда умер Хемингуэй, в кратком отклике, посвященном памяти великого американца, Юрий Казаков писал: «Мы гордились им так, будто он был наш, русский писатель. Мысль о том, что Хемингуэй живет, охотится, плавает, пишет по тысяче прекрасных слов в день, радовала нас, как радует мысль о существовании где-то близкого, родного человека».

За широтой литературных интересов и увлечений Казакова, свидетельствующих об активном усвоении опыта очень разных мастеров, видна и определенная избирательность, тяготение к пластичной, эмоционально насыщенной прозе, вооруженной не только силой мысли, но и остротой всех пяти чувств, посредством которых художник воспринимает мир.

Национальные традиции русской прозы были и остаются для Казакова основным и незамутненным источником. Русская классика подготовила его к встрече с собственными героями. Правда о русском человеке, его характере, устойчивых чертах быта и психологии, его землях и водах, на которых он издревле поселился и жил, — вся полнота жизни предков, открытая предшественниками и старшими современниками, не осталась для Казакова чисто исторической, музейной правдой. Ее продолжение, отзвуки, новые повороты он находит и среди людей нашего века, в современном быту, знакомом ему не из вторых или третьих рук, не по книгам и статьям, а по собственным достаточно пристальным наблюдениям. Поэтому даже в тех случаях, когда в рассказах Казакова явственно ощущается вариация на какую-либо из старых классических тем, в самом их решении, психологических подробностях, бытовых деталях столь же явственно видны современный человек, нынешнее время, остающиеся реальными и сегодня жизненные коллизии.

Отвечая на анкету журнала «Вопросы литературы», Юрий Казаков заметил: «Опыт мой, вероятно, тот же, что и у большинства моих сверстников. В детстве и юности — война, жизнь мрачная и голодная, затем учеба, работа и опять учеба... Словом, опыт не особенно разнообразен. Но я склонен отдавать предпочтение биографии внутренней. Для писателя она особенно важна. Человек с богатой внутренней биографией может возвыситься до выражения эпохи в своем творчестве, прожив в то же время жизнь, бедную внешними событиями...

До сих пор я не выделял себе какую-нибудь проблему особенно. Мне кажется, что каждый писатель, имеющий смелость причислять себя к настоящей литературе, занят всю жизнь одним и тем же кругом проблем. Счастье и его природа, страдания и преодоление их, нравственный долг перед народом, любовь, осмысление самого себя, отношение к труду, живучесть грязных инстинктов — вот некоторые из проблем, которые меня занимают. Эти же проблемы, по-разному поставленные, я постоянно встречаю в произведениях всех наших наиболее талантливых прозаиков и поэтов».

Все написанное Казаковым свидетельствует о незаурядности его внутреннего опыта, высокой степени искренности, отличном знании некоторых сфер жизни, требовавших выхода из собственной, биографически хорошо знакомой городской среды.

2

Уже по первым рассказам — «Поморка», «Старики», «Дом под кручей», «Никишкины тайны», «Манька», «Арктур — гончий пес» — чувствовалось, что Казакова многое связывает с русским Севером, его людьми, бытом, языком, что писателю особенно близка своеобразная северная природа.

Герой рассказа «Голубое и зеленое», семнадцатилетний московский школьник, впервые в своей жизни попадает на Север. После многолюдья огромного города его поразили там простор, тишина, возможность полного уединения. Он склонен к созерцанию, задумчивости; ему доступна не только лирика тонких и сложных душевных движений, но и лирика природы, которую он глубоко, по-своему чувствует и любит. Именно Север укрепил в нем задатки пытливого наблюдателя.

«Мало ли что можно делать в лесу! Можно сесть на берегу озера и сидеть неподвижно. Прилетят утки, с шипением опустятся совсем рядом. Сначала они будут сидеть, прямо вытянув шеи, потом начнут нырять, плескаться, сплываться и расплываться. Я слежу за ними одними глазами, не поворачивая головы. Потом выйдет солнце из-за туч, прорвется через листья над моей головой и запустит золотые дрожащие пальцы глубоко в воду. Тогда становятся видными длинные ржавые стебли кувшинок. Возле стеблей показываются большие рыбы. Они застывают в солнечном луче, не шевеля ни одним плавником, будто греются или спят. И мне очень странно следить за ними. Глядя на них, сам цепенеешь и воспринимаешь все, как сквозь сон».

Штрихи северного пейзажа в «Голубом и зеленом» играют роль контрастного фона, оттеняющего основной, чисто «московский» колорит рассказа. На переднем плане здесь узкий городской двор, стиснутый между многоэтажными домами, окна квартир, светящиеся разными цветовыми пятнами, ощущения человека, подхваченного потоками уличной толпы. Вся жизнь героя, его первая любовь, первые радости и первые разочарования прошли здесь. Рассказ написан в форме лирического монолога от первого лица. Это рассказ о «голубой юности», которая уже отошла далеко-далеко, навсегда. Но самой формой повествования прошлое передвинуто в настоящее и поэтому пережито вновь со всей непосредственностью первого чувства. В минуту откровенности герой рассказа признается:

«Не знаю, почему-то меня все тянет на Север. Наверное, потому, что я там охотился и был счастлив».

Это признание мог бы повторить и сам Казаков. Правда, в его первых рассказах о Севере живые, непосредственные наблюдения еще стеснены литературностью восприятия. Своеобразный северный быт, особый язык, неожиданные характеры остаются нередко чем-то экзотическим, воспринятым со стороны.

В рассказе «Поморка» Казаков написал об одинокой девяностолетней старухе Марфе, прожившей долгую, суровую, заполненную бесконечными трудами жизнь. Самое время в этом характере, казалось бы, замерло, остановилось. С бесконечным, врожденным трудолюбием продолжает Марфа делать то, что делала всегда в семье, к чему была предназначена от роду. Характер Марфы изучен, описан с точки зрения наблюдателя пытливого, зоркого, но удаленного на внушительную дистанцию от своего объекта. Рассказчик внешними приемами пытается преодолеть этот психологический барьер. Лирическая рамка рассказа лишь подчеркивает статичность его центральной фигуры. Хотя портретный набросок Марфы по-своему пластичен, рассказ остался неразвитым, усеченным. Он лишен того внутреннего движения, которое поворачивает характер неожиданными сторонами, делает его объемным, трехмерным.

В другом рассказе из поморского быта, «Никишкины тайны», Юрий Казаков держится вполне объективной манеры повествования. Это рассказ о необычном мальчике-поморе, в сознании которого причудливо переплетаются вполне реальные, бытовые, и сказочные, фантастические, представления.

«Никишку в деревне любят все. Какой-то он не такой, как все, тихий, ласковый, а ребята в деревне все «чуйки», настырные, насмешники. Лет ему восемь, на голове вихор белый, лицо бледное, в веснушках, уши большие, вялые, тонкие, а глаза разные: левый пожелтей, правый побирюзовей. Глянет — и вот младенец несмышленый, а другой раз глянет — вроде старик мудрый. Тих, задумчив Никишка, ребят сторонится, не играет, любит разговоры слушать, сам говорит редко и то вопросами: «А это что? А это почто?» — с отцом только разговорчив да с матерью».

Быт поморской деревни, окружающая природа, море, ловля семги в ловушки — разнообразные впечатления целого дня уложены в восприятие восьмилетнего мальчика. Стремясь предельно сгустить особенности этого восприятия, Казаков переходит на сказовую, стилизованную интонацию,

довольно чуждую в общем его повествовательной манере. В «Поморке» рассказчик чрезмерно лиричен, в «Никишкиных тайнах», напротив, автор как бы вовсе отказывается от себя, от собственной речевой интонации, уступая напору местных диалектных речений и оставаясь во власти сказовой литературной традиции.

Навязчивая ощутимость литературного приема и в одном и в другом случае имеет общую основу. Казакову не сразу дался поразивший его уклад северной жизни.

В его первых рассказах заметны выработанные традиционные стилистические ходы, от которых он шел в разработке северной темы. Однако уже в рассказе «Манька» Юрий Казаков вполне овладел и новым бытовым материалом и формой повествования — безупречно точной, естественно выражающей тончайшие оттенки и переливы заключенного в ней содержания.

Странный характер семнадцатилетней героини рассказа поистине счастливо угадан писателем. Юрий Казаков вообще испытывает тяготение к натурам необычным, выпадающим из общей меры, живущим своей особой внутренней жизнью.

«Дикость какая-то, необычность есть и в Маньке. Дремучесть, затаенность чувствуются в ее молчании, в неопределенной улыбке, в опущенных зеленоватых глазах. Когда года четыре назад хоронили ее мать, Манька, скучная, равнодушная, упорно смотревшая себе под ноги, вдруг поднимала ресницы и разглядывала провожавших такими лениво-дерзкими, странными глазами, что мужики только смущенно откашливались, а бабы переставали выть и бледнели — пугались».

Манька — круглая сирота, работает письмоносцем в рыбацком поселке, носит почту за много километров на отдаленные рыбацкие тони. Сама ее работа располагает к уединению, сосредоточенности. Целыми днями с сумкой или туго набитым пестерем за спиной предоставлена она самой себе. Едва заметные лесные тропинки, по которым Манька носит почту, наверное, совсем бы заглохли, заросли, если бы она не топтала их. Есть у Маньки и свои радости, когда ее весело встречают заскучавшие рыбаки, когда они потчуют ее ухой из семги, заботятся о ней, внимательно слушают новости, которые она приносит из деревни.

«Худая, высокая, голенастая — ходит Манька легко и скоро, почти не уставая. Выгорают за лето ее волосы, краснеют, а потом темнеют ноги и руки, истончается,

худеет лицо, и еще зеленей, пронзительней становятся глаза.

Дует в лицо ей ровный морской ветер, несет удивительно крепкий запах водорослей, от которого сладко ломит в груди. По берегам темных речушек, заваленных буреломом, журчащих и желто пенящихся, зацветают к августу пышные алые цветы. Рвет тогда их Манька, навязывает из них тяжелые букеты. Или, отдыхая в тени серых, изуродованных северными зимними ветрами елок, украшает себя ромашками, можжевельником с темно-сизыми ягодами, воображает себя невестой».

Казаков входит в судьбу своей героини с исчерпывающим знанием всех обстоятельств ее жизни, с полным и точным ощущением среды, быта, языка, сформировавших характер именно так, а не иначе. Эта локальная конкретность, живописная щедрость в подробностях при всей краткости и экономии изобразительных средств становится устойчивой особенностью его стиля.

Но при всем том Казаков никогда не ограничивается задачами внешнего бытописания. Казакова-рассказчика всего более привлекают проблемы психологические, исследование внутренних основ человеческой жизни. И в «Маньке» его занимает тревожная пора созревания человека, ломкая молодость чувства, томление юной, еще не знакомой со страстью души. Тайная любовь Маньки к буйному и сильному Перфилию, ее стыдные сны, после которых она просыпалась с пылающим лицом и замирающим сердцем, ее сладкие мечты и горькие, надсадные страдания — все это передано в рассказе с поразительной силой. Казакову удалось дать своего рода аналитическую запись внутреннего чувства, которое всего откровеннее высказалось в народных плачах и лирических песнях о девичьей доле.

Отношения Маньки с Перфилием складываются драматично, неожиданно для обоих. Нечаянная встреча на пустынной рыбацкой тоне, общая опасность, пережитая во время шторма, не только сближают их, но и ставят в конфликтное отношение друг к другу. В Маньке разом просыпаются независимая сила характера, строптивая неподатливость вольной диковатой натуры. В рассказе «Манька» сполна проявился редкий дар Казакова вживаться в чужую жизнь, входить в нее изнутри, постигая до тонкости поразивший его характер.

Во многих рассказах Казакова передано счастливое состояние внутренней свободы, которое испытывают близкие ему герои, сливаясь с прекрасной, любимой ими природой. Счастье же писатель видит в естественном проявлении сил,

заложенных в каждом живом существе, в верности каждого своему дару, своему назначению.

В рассказах о животных — «Тедди» и «Арктур — гончий пес» — выражены некоторые общие мотивы, характерные для философии жизни, во многом воспринятой Казаковым от классики, а кое в чем выработанной, своей. В рассказе «Тедди» описана история побега старого дрессированного медведя из цирка, его возвращение в лес к естественной природной жизни. В лесу к Тедди медленно возвращаются задавленные с детства инстинкты, восстанавливаются природные свойства, знание тех лесных законов, которые вновь делают беспомощного ручного зверя существом свободным и сильным, готовым к яростной борьбе за свое существование.

Здесь примечательно самое направление сюжета — победа естественного, врожденного над условным, приобретенным. Ю. Казаков как бы бросает вызов привычной иерархии этих понятий.

Положение прирученного зверя неестественно, оно противоречит его природе, его предназначению, и Казакову важна именно эта сторона дела. Поэтому все воспоминания Тедди о цирковой жизни окрашены негативно, как что-то малопривлекательное, вынужденное, с чем он смирился, но чего никогда не мог бы полюбить. И напротив, жизнь в лесу при всех лишениях и опасностях, которые Тедди пришлось испытать с первых шагов, открывается перед ним как нечто заманчивое, полное великолепных радостей. Замысел «Тедди» заставляет вспомнить прекрасные рассказы Сетон-Томпсона о животных, имевшие, по всей видимости, для Казакова значение художественного образца.

Более близкая национальная традиция ощущается в рассказе «Арктур — гончий пес», посвященном памяти Михаила Пришвина. Основная тема рассказа — торжество природных стихийных сил жизни над противостоящими им обстоятельствами, неукротимость внутренних задатков, заставляющих даже слепого гончего пса быть до конца верным своему предназначению. Эта тема развернута Казаковым вполне оригинально, с увлечением и пафосом.

Редкостная, героическая история жизни и смерти слепого Арктура заключена рассказчиком в рамку совершенно локальных наблюдений из жизни маленького северного городка. Драматический эпизод искусно преломлен через призму лирического повествования, объективное содержание и авторская инструментовка сюжета гармонично слились в одно целое.

В рассказах Казакова общая мысль почти никогда не

формулируется прямо, в виде твердого и однозначного логического тезиса. Она как бы пульсирует во внутреннем движении рассказа, проявляясь и в настойчивом повторении некоторых сюжетных мотивов, и в противостоянии определенных характеров, и в самой тональности повествования.

3

Поездки на Север, знакомство со среднерусской деревней, близость к родной природе укрепили в Казакове подлинное художественное чувство, уже не книжное, как на первых порах, а непосредственное, возникающее из прямого общения с действительностью.

Мир, открывшийся Казакову за пределами городских стен, поразил его и своими поэтичными, светлыми и своими темными, восходящими к косной древности сторонами.

Глубокие контрасты обнаружил Казаков в послевоенной деревне. На каждом шагу он убеждался в том, как мало похожа реальная деревенская жизнь на ту безмятежную идиллию, которая в течение ряда лет создавалась слащавой бесконфликтной прозой. Современной литературе предстояло покончить с бесконфликтностью, и она это сделала, вернувшись к традиции правдивого реалистического изучения действительности. Писатели старшего поколения, такие, как В. Овечкин, Г. Троепольский, С. Залыгин, Е. Дорош, исследовали преимущественно социально-экономические отношения, сложившиеся в деревне со времен коллективизации, рассказывали о ее нелегких судьбах после опустошительной четырехлетней войны. Этот план анализа стал господствующим в современной очерковой прозе. Юрий Казаков подошел к изображению деревенской жизни с другой стороны. Его по большей части занимали те нравственные и психологические проблемы, с которыми он столкнулся в новой для себя среде. Во многих получивших широкую известность рассказах («На полустанке», «Запах хлеба», «Трали-вали», «Некрасивая» и др.) Казаков рассматривал деревню глазами городского человека, открывшего неведомый для себя мир. Полная перемена впечатлений создавала особую резкость ви́дения.

Всего лишь несколько страниц занимает рассказ Казакова «На полустанке». Люди, обстановка очерчены здесь предельно скупо и лаконично, и в то же время все, что произошло за несколько минут на заброшенной северной станции, передано автором с необыкновенной отчетливостью. На полустанке прощаются парень и девушка. Парень уез-

жает, девушка остается. Короткая кульминация этой деревенской драмы и составляет содержание рассказа. Из немногословного диалога перед приходом поезда выясняется, что в жизни парня неожиданно для него самого все вдруг «повернулось». На областных соревнованиях штангистов он «ахнул» норму мастера спорта. Его, видно, много хвалили за «нутряную» силу, сулили в будущем легкую и привольную городскую жизнь. В погоне за этой жизнью он и бросает без сожаления своих близких. Что ему теперь колхоз, родной дом («пускай матери с сестрой достается, не жалко») и даже эта девчонка, которой так неловко и трудно взглянуть перед отъездом в глаза! Еще меньше подробностей узнаем мы о девушке. Она осталась безымянной в рассказе. Только припухшие глаза, темные и тоскующие, бледное, усталое лицо, в котором уже нет ни желания, ни надежды, выдают, что пришлось ей пережить перед отъездом парня. Своей последней фразой, брошенной с подножки тронувшегося поезда («Слышь... Не приеду я больше! И к матери моей не ходи — теперь все!»), парень раскрывается до конца. Надо очень мало дорожить своим сложившимся бытом и очень немного иметь за душой, чтобы *так* рвать с прошлым, с родными и близкими людьми.

Глубокие внутренние последствия такого разрыва обнажены в рассказе «Запах хлеба». Героиня рассказа Дуся лет пятнадцать не видела мать свою, «из деревни уехала и того больше и никогда почти не вспоминала ничего из своей прошлой жизни». И даже когда пришла из деревни в Москву телеграмма о смерти матери, Дусю это по-настоящему не ушибло, не взволновало.

«— Не поеду я! Куда ехать, — говорит она мужу. — Там теперь холодина... Да и барахло, какое есть, родня растащила уж небось. Там у нас родни хватает. Нет, не поеду!»

Человека при бездуховной жизни почти ничто не связывает с другими людьми, кроме материального интереса, а в данном случае и материальный интерес был так невелик, что у Дуси не возникло даже желания побывать на родине. А когда через несколько месяцев, получив письмо от племянника, Дуся все же собралась и поехала, она явилась в деревню как совершенно чужой и вполне равнодушный к своему прошлому человек. Все ее прежние отношения — дружеские, соседские, родственные, — по существу, распались. Дуся почти никого не узнает в родной деревне (времени-то сколько прошло!), а ее признают многие. Деревня долго помнит тех, кто когда-то от нее уехал...

Рассказ Казакова написан о том, как под корой эгоизма — нутряного, кондового — в героине на какую-то минуту просыпается человеческое. Первый толчок этого человеческого чувства она испытала, переступив порог своего опустевшего деревенского дома.

«Дом отсырел и имел нежилой вид, но пахло хлебом, родным с детства запахом, и у Дуси забилось сердце».

Чувство человеческое непроизвольно, импульсивно, оно пробуждается под воздействием глубоких подсознательных толчков. И на погосте, увидав могилку матери с покосившимся деревянным крестом, Дуся вдруг испытала прилив такой черной тоски, «будто нож всадили ей под грудь, туда, где сердце». Не умом, а всем существом своим испытала она горе сиротства. Взрослая женщина ощутила себя как бы ребенком, и ее первоначальное чувство к матери, далекое, как запах хлеба, ударило ей в душу изо всей силы. Вырвавшись из-под толстой и жесткой коры бездушия, чувство это иссякает так же внезапно и быстро, как и приходит. После неожиданного потрясения Дуся возвращается в свое обычное, самодовольное состояние духа.

«На другой день, совсем собравшись уезжать в Москву, она пила напоследок с сестрой чай, была весела и рассказывала, какая прекрасная у них квартира в Москве и какие удобства».

Оборвалась последняя нить, связывающая героиню с родной средой, а вместе с тем что-то окончательно затвердело в ее черством сердце...

Казакова глубоко поражает цепкость ветхого в быту, в представлениях, в человеческих душах. Он казнит в своих рассказах жестокость, бездушие, нравственную тупость и другие уродства, искажающие жизнь людей.

Авторское сочувствие к героине рассказа «Некрасивая» соединяется с резким осуждением грубости окружающего ее быта. Писатель зорок на все, что должно быть изгнано из жизни, но еще коренится в ней. И при всех обстоятельствах он стремится *понять* человека.

Герой рассказа «Трали-вали» бакенщик Егор еще очень молод, но уже пьяница. Любимая присказка Егора «трали-вали» означает разное, но в основном сводится к утверждению бездумно-равнодушного взгляда на жизнь. Что ни происходит — все трын-трава...

«Относится он ко всему с равнодушием, с насмешкой, ленив необыкновенно, денег у него бывает много, и достаются они ему легко. Моста поблизости нет, и Егор перевозит всех, беря за перевоз по рублю, а в раздражении и по

два. Работа бакенщика, легкая, стариковская, развратила, избаловала его окончательно».

Однако соль рассказа «Трали-вали» отнюдь не в демонстрации дурных качеств непутевого, отбившегося от рук парня. Автора останавливает в герое незаурядность его возможностей, самобытная талантливость, прорывающаяся в раздольных русских песнях, которые Егор поет изумительно. Песни эти возносят его высоко над дрязгами быта, как возносили когда-то персонажей тургеневских «Певцов», с которыми герой Казакова отдаленно перекликается. Редкий певческий талант Егора как бы переворачивает первоначальные оценки его характера и одновременно усиливает их, ибо талант этот пропадает зазря от лени, от праздности, от какой-то душевной инертности. Парадокс существования Егора в разрыве между стихийной одаренностью и нравственной неразвитостью натуры. Этот парадокс Казаков обнаружил в жизни, и его тревожит самая возможность такого рода несоответствий в наше время.

Уезжает весной из деревни Илья Снегирев, кочующий с одной стройки на другую («По дороге»). Из Сибири он вернулся осенью домой в злом разочаровании. Не понравилась ему там барачная жизнь, гнус в тайге, а теперь снова разонравилась деревня. Не впервые весна срывает его с места. Одна только мать, как всегда, провожает заскучавшего сына в дорогу.

«Господи! — думает она. — Не нужен им дом родной! Ездют, ездют, вся земля поднялась — время какое ноне настало!..»

У Казакова-рассказчика есть свое понимание времени. Он остро чувствует неравномерность его реального течения в разных сферах сегодняшней жизни. Столкновение нового со старым, их сложные переплетения требуют пристального анализа. Можно искать черты нового в «ветхом человеке», и литература делала это, пока новое было редкостью, пока оно оставалось исторически слабым. Время повернуло ту же проблему другой стороной. Литература учится различать качества «ветхого человека» в людях современной формации, под какой бы внешностью эти качества ни скрывались. Притаившийся «ветхий человек» представляет наибольшую общественную опасность. И чтобы изжить его окончательно, чтобы изгнать его из последних уголков человеческого сознания, он должен быть прежде всего разгадан. Вместе с другими советскими писателями Юрий Казаков участвует в воспитании нового человека, свободного от косных традиций и грязных инстинктов прошлого.

4

Свой «Северный дневник», как и примыкающие к нему очерки («На мурманской банке», «Калевала»), Казаков написал иначе, с другой повествовательной позиции, чем многочисленные рассказы, хотя он всюду остается самим собой, остается художником тонко развитой наблюдательности, мастером точного и четкого словесного рисунка, необычайно выразительного по своему живописному колориту. Насколько в рассказах Казаков сдержан в изъявлении своего авторского «я», настолько же он откровенен и открыт в своих очерках. Характерное признание сделано в «Калевале»:

«В поездках со мной постоянно бывает — то ничего, и все как-то мимо, и дорога отвратительная, и люди попадают все пьяные, дураки, и чувствуешь, как то, из-за чего проехал все эти тысячи километров, не дается, уходит, и кажется уже, что и вообще-то ничего нет, зря ехал.

А то вдруг все является, все складывается как нельзя лучше, без всяких твоих усилий и именно так, как ты хотел. Радость тогда, сперва неуверенная, а потом все более полная, охватывает тебя, и жизнь прекрасна, и люди хороши, и писать о них хочется до смерти — вон они какие, вон они как работают, вон они все сильные, большие — лучше тебя!»

Это доподлинный голос автора, непосредственно общающегося с читателем. То же самое в «Северном дневнике» — наиболее значительном из его очерков. Ю. Казаков дал здесь волю своим авторским впечатлениям, личным размышлениям и чувствам.

В очерке Ю. Казакова, как это и свойственно дневнику, нет замкнутых твердых линий, ограничивающих звенья сюжета, нет предустановленного масштаба изображения тех или иных эпизодов. Об одном, пусть даже весьма важном, автор говорит походя, в нескольких строках, о другом — очень подробно, развернуто, картинно. Истинная мера, реальный внутренний масштаб всего определяются в «Северном дневнике» не столько самими предметами и событиями, сколько силой их лирических отражений, отзвуками, которые они вызвали в чуткой и отзывчивой на каждое свежее впечатление душе автора.

Сквозь все описания, размышления, отступления в прошлое, экономические выкладки, картинки быта, случайные диалоги и вставные сцены в очерке Ю. Казакова угадывается развитие нескольких ведущих, концепционных идей,

очень характерных для основного направления и пафоса всего его творчества.

В жизни Севера Ю. Казакова поражает глубокий контраст современной промышленной цивилизации, так мощно заявляющей о себе на каждом шагу в Архангельске, и рядом с ней существование бытовых традиций, уходящих в глубокую древность, овеянных вековой стариной, сохраняющих многое от той первобытной патриархальности, которая еще так заметна в жизни рыбаков-поморов и уж совсем явственна в бытовом укладе ненцев, посещением которых завершается маршрут, очерченный в «Северном дневнике».

«Что-то здесь присутствует, какая-то сила в этих домах и людях, в этой природе, которая делает Север ни на что не похожим, — древность ли живет здесь и властвует над всяким приезжим, или века, которые здесь как бы и не текли, новгородская ли жизнь, которая у нас давно прожита и забыта, а здесь отдается еще, как эхо, или белые ночи и море, раскинувшееся за холмами?»

Все, вместе взятое, что делает Север «ни на что не похожим» и тем не менее глубоко и незримо связанным с коренными основаниями русской исторической жизни, — все это влечет Ю. Казакова необычайно, вызывает в нем неистощимую художническую пытливость.

Наблюдая крепкий и ладный труд поморов, слушая рассказы рыбаков об их нелегкой, исполненной риска и опасностей профессии, автор временами сам испытывает приступы острой тоски по грубой «изначальной» работе, которая здесь является еще основой основ человеческого существования и при всей своей внешней бесхитростности полна глубокого, вечного смысла и поэзии.

Зарисовки встреченных по пути моряков, рыбаков, колхозников из поморских деревень, ненцев-оленеводов проникнуты у Ю. Казакова искренней привязанностью к простым людям, бесконечным уважением к их труду, признанием внутренней значительности всего того, что делается их руками. Обостренное внимание к людям из народной среды побуждает писателя бережно и любовно сохранять в своем очерке все неповторимые местные оттенки, диалектные особенности языка, самый строй быстрой и узорчатой северорусской речи.

Едва ли не лучшие страницы «Северного дневника» составляют лирические картины природы — то развернутые и выписанные во всех оттенках, то бегло набросанные несколькими выразительными штрихами. В лирической прозе «Северного дневника» еще более укрепилось и созрело свой-

ственное Ю. Казакову огромное чувство природы, его способность улавливать невидимые для другого взгляда переливы цвета и света, отмечать тончайшие живописные подробности окружающего мира. В отличие от рассказов, где природа, занимая столь же важное место, живет объективно, как естественный фон и необходимый компонент сюжета, в северном очерке Ю. Казакова природа непосредственно включена в мир авторского восприятия, осознана и преломлена лирически, являясь предметом внутреннего, субъективного переживания. Не только в людях, но и в природе Севера Ю. Казаков стремится открыть нечто неведомое, новое, что еще не удавалось выразить никому из писавших до него об этих местах. Наше привычное, обиходное представление о северном климате разбивается сразу же описанием противоестественно жаркого июля на Белом море, заставляющего вспомнить о тропиках, о южных морях. Но вот несколько ярких уточняющих подробностей, и вместе с автором мы чувствуем, что за обманчивой истомой душного штиля не исчезает что-то грозное, напоминающее о себе с затаенной мощью.

«Чистые, блестят все снасти, а ветер свежеет, ветер говорит, напоминает нам о неотступном Севере — зной, марево, дымка от пожарищ остались на берегу. Море по цвету такое же, как все моря в мире, только еще нежней, еще слабей, и оно здесь всегда прохладно, потому что тут проходит Полярный круг, потому что тут вместилище всего свиреного и ледяного».

Явления природы, как и исторические формы человеческого быта, Ю. Казаков осознает в глубоких контрастах, в колебаниях и борении противоположных сил. Картины покойного летнего моря сменяются заметками из дневника двухлетней давности, повествующими о свирепом шторме в тех же местах, когда природа воочию показала свой дикий и необузданный северный нрав.

Во всех пейзажных зарисовках, включенных в «Северный дневник», будь то описание заката или восхода солнца на море, призрачной белой ночи или фантастического северного сияния, особой повадки северных рек, текущих во время морского прилива вспять и становящихся наполовину солеными, — во всем неизменно угадывается особая внутренняя норма, которой держится писатель. Норма эта возникла из глубокого постижения родной среднерусской природы, и ее мера, как своеобразный скрытый критерий, стоит за всеми северными пейзажами Ю. Казакова. Поэтому-то так явственно вслед за автором мы чувствуем все особенное, неповторимое, что заключено в природе Севера

и непривычно нам. Эта контрастная линия разграничения средней России и Севера для Ю. Казакова очень важна. Он всюду улавливает ее и не забывает соответствующим образом оттенить. Не случайно крайней точкой его маршрута и логической вершиной очерка является поход в тундру, посещение ненецких чумов. Тут проходит крайняя замыкающая черта. Тут тоже Север, но уже другой. Тут совсем особый национальный быт, особый природный мир, требующий специального художественного исследования.

Ю. Казаков и не скрывает избранной им меры, напротив, так же откровенно, как и в других случаях, он обнажает перед читателем дневника свой художественный прием. Последние пейзажные краски очерка призваны предметнее показать разницу между привычным, родным, знакомым и тем неповторимым, что открылось автору на Севере.

«Начав свои записки в июле, на сейнере, при выходе из Мезени, заканчиваю я их осенью на Оке.

Я живу в доме на высоком холме. Леса кругом горят осенними пожарами. По утрам пойма Оки наливается голубым туманом, и ничего тогда не видно сверху, только верхушки холмов стоят над туманной рекой красными и рыжими островами.

Листопады особенно сильны по утрам, после ночных заморозков, и, когда я спускаюсь вниз к роднику, а потом медленно иду лесом домой, в ведрах моих плавают листья, которые попадают туда на косом полете, стукаясь сперва о мои руки.

Иногда дали мутнеют и пропадают — начинает идти мельчайший дождь, и каждый лист одевается водяной пленкой. Тогда лес становится еще багряней и сочней, еще гуще по тонам, как на старой картине, покрытой лаком».

В «Северном дневнике» Юрий Казаков, по его собственному признанию, не исчерпал всех своих впечатлений, многое пропустил, о многом не написал. Может быть, поэтому он недавно взялся за вторую часть своей очерковой книги. В некоторых рассказах («На острове», «Ночлег», «Проклятый север» и др.) Казаков продолжил разработку северных впечатлений уже от лица героев. Работа над лирическим дневником обогатила его как прозаика, открыла перед ним новые перспективы.

5

В рассказах Юрия Казакова по-своему ставится проблема человеческого счастья — большая, освященная традици-

ей проблема русской литературы, над решением которой бились многие поколения прозаиков и поэтов. Сказать на эту тему что-либо новое, значительное особенно трудно, хотя каждому поколению так или иначе приходится заново решать те же вечные вопросы о любви, о страдании, о смысле жизни и смерти. В нашей новеллистике к этим темам обращались известнейшие рассказчики — К. Паустовский, А. Платонов, Ю. Нагибин, С. Антонов и многие другие. В подходе Казакова к этим вопросам с достаточной отчетливостью проявился психологический опыт послевоенного молодого поколения, на долю которого выпали свои сложности, исторические и общественные.

В противоположность умозрительному, рационалистическому началу Казакова привлекает в человеке начало эмоциональное. Глубина и достоверность чувства, его первородность остаются для него основным мерилом характера. Человек наедине с природой, с самим собой, в общении с другим, близким, любимым человеком — вот излюбленные ситуации большинства его рассказов. Собранные вместе, они составляют свободную лирическую повесть, своего рода исповедь одной души в разных лицах.

Начало этой исповеди восходит к раннему и самому молодому по чувству рассказу «Голубое и зеленое», где Казаков впервые определил своеобразно уединенный мир своего героя.

Казаков отдал дань хемингуэевской теме «мужчин без женщин» (так назывался один из сборников Хемингуэя). Его героям хорошо знакомо особое мужское счастье охотника, рыболова, путешественника, счастье освобождения от пут обыденного и однообразного. Именно об этом написан рассказ «Вон бежит собака!». В салоне большого междугороднего автобуса оказываются рядом мужчина и женщина. Только им двоим не спится ночью во всем автобусе.

«Московский механик Крымов не спал потому, что давно не выезжал из Москвы и теперь был счастлив. А счастлив он был оттого, что ехал на три дня ловить рыбу в свое, особое, тайное место, оттого, что внизу, в багажнике, среди многих чужих чемоданов и сумок, в крепком яблочном запахе, в совершенной темноте лежали его рюкзак и спиннинг, оттого, наконец, что на рассвете он должен был выйти на повороте шоссе и пойти мокрым лугом к реке, где ждало его недолгое горячечное счастье рыбака».

Крымов в полной мере насладился тем счастьем, в предвкушении которого он не мог уснуть, и даже не заинтересовался, как обычно, своей привлекательной спутницей, проявившей к нему явное внимание. Вообще-то в его отно-

шений к женщинам проскальзывают пошлые замашки «дорожной легкости», которые отнюдь не красят героя. Но сейчас Крымову не до того. Он как-то не попадает в тон, рассеянно отвлекается от обычного ритуала дорожного флирта, в общем хорошо ему знакомого. Его влечет в данную минуту нечто совсем иное, чем соседка по автобусу. Добравшись до своего потаенного места, Крымов с самозабвением ловит рыбу, варит на костре кофе, вдыхает горько-сладкие лесные запахи, спит в палатке. Он радуется одиночеству и испытывает счастье. И только на исходе последнего дня Крымов вдруг вспоминает случайную спутницу, ее состояние, свою бесчувственность, поспешность, и его охватывают раскаяние, горькая досада, что он пренебрег одним счастьем ради другого.

Героям Казакова редко удается соединить разрозненные доли счастья в одно целое, хотя они и стремятся к этому. О внутренних трудностях, ими испытанных, говорят рассказы о любви — «Осень в дубовых лесах», «Адам и Ева», «Двое в декабре». Это очень несходные по форме и настроению рассказы. Однако в каждом из них с разных сторон разрабатывается некая общая психологическая проблема: в чем суть истинного счастья, почему так часто оно неустойчиво, зыбко, где кончается поэзия и начинается проза человеческих отношений. Ответы на эти вопросы не лежат на поверхности, они скрыты в глубине сложных, полярно поставленных человеческих характеров.

Рассказ «Осень в дубовых лесах» ведется от первого лица, от лица героя. Вся непростая история отношений между ним и ею воссоздана лирически, просвечена сквозь сознание и память человека, с нетерпением и тревогой ожидающего приезда любимой девушки. Она едет к нему на Оку издалека, с Белого моря, где они впервые познакомились. Для нее Север — родина; там она родилась в поморской рыбацкой семье, там выросла среди простых, грубоватых по нраву, открытых и сильных людей. Им было хорошо друг с другом на Севере, однако он так и не смог остаться в ее жизни, заманчивой, прекрасной, но, наверное, все-таки слишком элементарной и в конечном счете чужой для него. Еще более неестественно, отчужденно почувствовала себя она в Москве, куда приехала для того, чтобы встретиться с ним. Воспоминание о последней бесприютной ночи перед отъездом, проведенной в тщетных поисках своего угла, осталось в памяти героя как воспоминание о чем-то бесконечно прозаическом, тяжком и стыдном. И всюду, где они были вместе, на Севере и в Москве, она была готова к самоотверженности, к невзгодам

характеры «Адама и Евы» освещены объективно, от «третьего лица»; сама форма рассказа дала возможность автору не только войти во внутренний мир своего героя, но и возвыситься до нравственного суда над ним.

Юрием Казаковым написано пока не так много. Но почти все, им созданное, отмечено печатью высокой взыскательности и таланта. Это позволяет надеяться, что впереди у писателя еще большой и увлекательный путь.

А. Нинов

Содержание

Казаков Юрий Павлович

ДВОЕ В ДЕКАБРЕ. Рассказы, М., «Молодая гвардия», 1966.
272 с. Р2

Редактор *З. Коновалова*
Художник *Д. Громан*
Худож. редактор *Н. Печникова*
Техн. редактор *Л. Климова*

А 15069. Подп. к печ. 19/VII 1966 г. Бум. 84×108¹/₃₂. Печ л. 8,5(14.28)+1 вкл. Уч.-изд. л. 14,3. Тираж 100.000 экз. Заказ 556. Цена 62 коп. Т. П. 1965 г., № 132.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия», Москва, А-30, Сущевская, 21.

62 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ